

На поле славы. Генрик Сенкевич

Историческая повесть из времен короля Яна Собеского
Перевод Э. В. Пушинской

I

Зима с 1682 на 1683 год была такая холодная, что даже старожилы не помнили ничего подобного. Осенью шли постоянные дожди, а в середине ноября ударил первый мороз, который сковал реки и деревья покрыл точно стеклянной скорлупой. В лесах изморозь облепила сосны и начала ломать ветки. В первых числах декабря, после усилившихся морозов, птицы начали слетаться по деревьям и городкам, и даже лесной зверь выползал из чащи и приближался к человеческим жилищам. Однако накануне дня святого Дамазия небо начало затягиваться тучами, а затем снег валил десять дней подряд. Он покрыл землю толстым полуторааршинным слоем, позасыпал лесные дороги и плетни и даже окна в избах. Люди разгребали лопатами снежные заносы, чтобы из дома пробраться в конюшню или на скотный двор. Когда же, наконец, снег перестал, снова ударил трескучий мороз, от которого деревья стреляли в лесу, словно ружья.

В то время мужики, когда им нужно было ехать в лес за дровами, ездили для безопасности не иначе как гуртом, да и то стараясь, чтобы ночь не застала их вдали от деревни. После захода солнца ни один из них не решался выйти на собственный двор без вил или топора, а собаки до самого утра лаяли коротким, испуганным лаем на волков.

Однако в такую-то ночь и в страшный мороз по лесной дороге подвигалась огромная карета на санях, запряженная четверкой лошадей и окруженная всадниками. Впереди ехал на коренастой лошаденке передовой с кафарком, то есть с железной площадкой, прикрепленной к длинному шесту, в которой пылала смоляная лучина – не для освещения дороги, потому что было светло от луны, но для острастки волков. На козлах сидел кучер, на пристяжной – фореитор, а по бокам кареты подпрыгивали на худых клячонках два работника, вооруженные кистенями.

Вся эта процессия подвигалась очень медленно по причине непроторенной дороги и снежных заносов, которые то тут, то там, и в особенности на поворотах, точно гигантские валы возвышались посреди дороги.

Эта медленность выводила из терпения и в то же время беспокоила пана Гедеона Понговского, который, рассчитывая на количество и прекрасное вооружение своих слуг, решил пуститься в путь несмотря на то, что в Радоме его предупреждали об опасности, тем более что до Белчонки нужно было ехать через Козенецкую пушу.

Эти огромные леса начинались когда-то еще задолго до Едлинки и простирались далеко за Козенины до самой Вислы, в сторону, лежащую на другом берегу Стежницы и на север до Рычилова.

Пану Гедеону казалось, что, выехав перед полуднем из Радома, он как ни в чем не бывало к заходу солнца уже будет дома. Между тем в нескольких местах приходилось раскапывать засыпанную дорогу, на что уходило несколько часов, так что Едлинку они проехали уже почти вечером. Там их предупреждали еще раз, что лучше остаться переночевать, но так как у кузнеца нашлась лучина, которой можно было освещать себе путь, то пан Понговский приказал ехать дальше.

И вот ночь застала их в лесу.

Трудно было ехать быстрее из-за все увеличивавшихся снежных засыпей, и пан Гедеон начинал все сильнее беспокоиться. В конце концов он принялся проклинать свое путешествие, но по-латыни, чтобы не испугать свою родственницу, пани Винницкую, и свою приемную дочь, панну Сенинскую, которые ехали вместе с ним.

Панна Сенинская была молода и беззаботна, и потому не очень боялась. Наоборот, отодвинув кожаную занавеску у окна кареты и приказав ехавшему рядом работнику не заслонять собой вида, она весело смотрела на сугробы и стволы сосен, покрытые длинными полосами снега, по которым ползали красные огоньки лучины, образуя вместе с зеленоватым светом луны приятное для глаз развлечение. Потом, сложив губки воронкой, она начала дуть, и ее забавляло то, что дыхание было видно и стало розоватым от огня.

Но трусливая и почти столетняя пани Винницкая начала ворчать:

– И зачем было выезжать из Радома или, по крайней мере, не заночевать в Едльне, где нас предупреждали об опасности? И все из-за чьего-то упрямства. До Белчончки еще далеко, и дорога идет все время лесом... Волки, наверное, нападут на нас... Разве только архангел Рафаил, покровитель путешественников, смилуется над заблудившимися, чего они, к несчастью, совсем недостойны...

Услышав это, пан Понговский окончательно вышел из себя.

Только этого недоставало, чтобы еще заблудиться.

Но ведь дорога идет прямо, как стрела, а что касается волков, то они, может быть, нападут, а может быть, и нет. Людей у них достаточно, а кроме того, волк неохотно нападает на солдата не только потому, что боится его больше, чем обыкновенного смертного, но и прямо под влиянием какого-то пристрастия и как умное,мышленное животное.

Волк прекрасно понимает, что ни мещанин, ни мужик ничего не дадут ему даром, и только солдат позволяет ему иногда пожить, так как не напрасно люди называют войну волчьей жатвой. Однако, размышляя так и слегка льстя самолюбию волков, пан Понговский вовсе не был уверен в их благосклонности. Поэтому ему пришло в голову, не приказать ли одному из людей слезть с лошади и сесть возле барышни. В таком случае он сам защищал бы одну дверку кареты, а тот – другую, не говоря уже о том, что оставленная лошадь бросилась бы, вероятно, вперед или назад и могла бы отвлечь за собой волков.

Но пану Гедеону казалось, что для этого еще есть время впереди. Пока что он положил на переднем сиденье, возле панны Сенинской, два пистолета и нож, чтобы иметь их под рукой. Так как у него не было левой руки, то он мог пользоваться только правой.

Они спокойно проехали несколько верст.

Дорога начала расширяться.

Понговский, прекрасно знавший эту дорогу, облегченно вздохнул и сказал:

– Недалеко уже Маликова поляна.

Он надеялся, что на открытом месте во всяком случае безопаснее, чем в лесу.

Но в эту самую минуту ехавший впереди с кафарком человек внезапно повернул лошадь, подскочил к карете и начал что-то быстро говорить вознице и челяди, которые отрывисто отвечали ему, как обычно говорят в минуту опасности, когда нельзя терять времени.

– Что там такое? – спросил пан Понговский.

– Что-то слышно на поляне.

– Волки?!

– Какой-то шум! Бог знает что!

Пан Понговский уже собирался приказать едущему с кафарком человеку поехать вперед, посмотреть, что там происходит, но подумал, что в таких случаях лучше не оставаться без огня и держаться всем вместе, а кроме того, что на светлой поляне обороняться легче, чем среди леса, и потому приказал ехать дальше.

Но через минуту передовой снова появился у окна кареты.

– Кабаны, – проговорил он.

– Кабаны?

– Слышно громкое хрюканье с правой стороны дороги.

– Ну, так слава Богу!

– Но, может быть, на них напали волки?

– Тогда тоже слава Богу! Проедем мимо без задержки. Ну, трогай. Действительно, предположение передового оказалось правильным. Выехав на поляну, они увидели на расстоянии двух или трех выстрелов из лука, направо от дороги, сбившееся в кучу стадо кабанов, которых окружало подвижное кольцо волков. Страшное хрюканье, в котором слышалась не тревога, а бешенство, становилось все сильнее. Когда карета приблизилась к середине поляны, челядь, посматривая с лошадей, заметила, что волки не осмеливаются еще броситься на стадо, а только наступают на него все сильнее.

Кабаны образовали круг, в середине которого стояли кабанихи, а по краям самые сильные вепри, образуя как бы движущуюся крепость, грозную, сверкающую белыми клыками, непобедимую и бесстрашную.

А между кольцом волков и этой стеной клыков и тупых рыл виднелся белоснежный круг, освещенный, как и вся поляна, ярким светом луны.

Только иногда какой-нибудь волк подскакивал к стаду, но сейчас же пятился назад, словно испуганный щелканием клыков и еще более грозным хрюканьем.

Если бы волки уже вступили в борьбу со стадом, они были бы совершенно поглощены ею, и карета могла бы проехать незатронутой; но раз этого еще не было, то оставалось опасение, что они откажутся от этой атаки и попробуют другую.

Действительно, вскоре некоторые из волков начали отделяться от стаи и направляться к карете. За ними последовали и другие. Но вид вооруженных людей испугал их.

Одни из них начали собираться позади процессии, другие отступали на несколько шагов, тогда как третьи с бешеной быстротой обегали вокруг кареты, точно желая таким образом разжечь самих себя.

Челядь хотела уже стрелять, но пан Понговский запретил им, опасаясь, чтобы выстрелы не привлекли всю стаю.

Между тем, хотя и привыкшие к волкам, лошади начали тереться друг о друга и, громко храпя, поворачивать набок головы, а затем произошел еще более неприятный случай, который во сто крат увеличил опасность.

Дело в том, что молодая лошаденка, на которой сидел передовой с кафарком, внезапно взвилась на дыбы, а потом метнулась в сторону.

Работник, понимая, что если он упадет, то будет сейчас же разорван волками, ухватился поспешно за седло, но в тот же момент выронил из рук шест с кафарком, который и погрузился глубоко в снег.

Лучина заискрилась, потом погасла, и только лунный свет заливал теперь поляну.

Возница, родом русин из-под поморянского замка, начал молиться, работники-мазуры – проклинать.

Ободренные темнотой, волки начали наступать смелее, а со стороны первой схватки прибегали все новые. Некоторые подступали совсем близко, щелкая зубами и оцетинившись. Зрачки их сверкали кровавым и зеленым светом.

Наступил страшный момент.

– Стрелять? – спросил один из работников.

– Пугать криком! – отвечал пан Понговский.

Сейчас же раздались пронзительные: «Ату его! Ату!» Лошади приободрились, а волки, на которых человеческий голос производит большое впечатление, отступили на несколько шагов.

Но тут произошло нечто еще более поразительное.

Лесное эхо повторило вдруг позади кареты крики челяди, но еще громче и сильнее; при этом слышались как бы взрывы дикого хохота, а еще через минуту по обеим сторонам кареты зачернела группа всадников и во всю лошадиную прыть подскочила к стаду кабанов и окружающим их волкам.

В одно мгновение как те, так и другие покинули поле битвы и, словно разогнанные вихрем, рассеялись по всей поляне. Раздались выстрелы, крики и опять те же странные взрывы смеха. Работники пана Понговского тоже помчались за всадниками, так что возле кареты остались возница и фореитор, сидевший на пристяжной.

Сидевшие в карете были так сильно изумлены, что некоторое время ни один из них не смел открыть рта.

– И слово превратилось в дело! – воскликнула, наконец, пани Винницкая. – Это, видно, с неба пришла к нам помощь.

– Слава богу, откуда бы она ни была, – отвечал пан Понговский. – А наше дело было совсем плохо.

А панна Сенинская, желая тоже вставить свое словечко, добавила:

– Бог послал нам этих молодых рыцарей.

Из чего она могла заключить, что это были рыцари, да к тому же еще и молодые, трудно было угадать, так как всадники, словно вихрь, промчались мимо саней. Но никто не спросил ее об этом, так как старшие были слишком потрясены случившимся.

Между тем на поляне еще некоторое время раздавались отголоски погони, а недалеко от кареты сидел на задних лапах волк и выл таким страшным голосом, что у всех мурашки пробегали по коже: у него был, по-видимому, переломлен хребет ударом кистеня.

Форейтор спрыгнул на землю и пошел добить его, потому что лошади начали так бросаться, что надломили дышло.

Но вскоре группа всадников снова зачернела на снежной поляне.

Они ехали в беспорядке в каком-то тумане. Хотя ночь была ясная и светлая, но усталые лошади дымились на морозе, словно трубы каминов.

Всадники приближались со смехом и песнями, а когда они были уже близко, один из них подскочил к карете и спросил звучным веселым голосом:

– Кто едет?

– Понговский из Белчончки. Кому я обязан своим спасением?

– Циприанович из Едлинки.

– Букоемские.

– От души благодарю вас! Вовремя послал вас Господь! Благодарю вас!

– Благодарю вас! – повторил молодой женский голосок.

– Слава Богу, что вовремя! – отвечал Циприанович, приподнимая меховую шапку.

– Откуда же вы узнали о нас?

– Нам никто не говорил о вас, но так как волки сбились в кучу, мы и поехали спасать людей, между которыми оказался такой знаменитый человек, как вы. Тем сильнее наша радость и тем больше заслуга наша перед Богом! – вежливо отвечал Циприанович.

А один из панов Букоемских прибавил:

– Не считая шкур.

– Истинно рыцарское это дело, – отвечал пан Гедеон, – и прекрасный поступок, за который дай Бог поскорее отблагодарить вас. Я думаю, что теперь у волков отпала охота на человеческое мясо, и мы благополучно доедем до дому.

– Ну, этого нельзя сказать наверняка. Волки могут снова собраться и напасть.

– С этим уже ничего не поделаешь. Авось не поддадимся!

– Почему же ничего не поделаешь, ведь мы можем проводить вас до дому. Может быть, нам удастся и еще кого-нибудь спасти по дороге.

– Я не смел просить вас об этом, но если уж вы так любезны, то пусть будет по-вашему. Мои дамы тоже будут меньше бояться.

– Я и так не боюсь, но от всей души благодарна вам! – отозвалась панна Сенинская.

Пан Понговский дал приказ, и все двинулись в путь. Но едва они проехали несколько шагов, как треснувшее дышло окончательно сломалось, и карета остановилась.

Появилась новая задержка.

У работников, правда, оказались веревки, и они немедленно начали связывать поломанное место, но при такой торопливой работе дышло могло снова сломаться после нескольких верст езды.

Молодой Циприанович задумался, потом, приподняв шапку, произнес:

– До Едлинки вдвое ближе, чем до Белчончки. Окажите же честь нашему дому и заезжайте переночевать к нам. Не знаю, что еще может встретить нас на большой дороге. Как бы не оказалось всех нас слишком мало против этих зверей, которые наверняка сбегутся на дорогу из всей пуши. Карету мы уж как-нибудь дотащим, а чем будет ближе, тем легче. Откровенно говоря, честь будет нам не по заслугам, но так как это будет *dura necessitat*[1], то мы ничего не возомним о себе...

Пан Понговский не сразу ответил на эти слова, ибо он почувствовал в них упрек.

Он вспомнил, что когда старый Циприанович два года тому назад приехал к нему в Белчончку с визитом, он принял его, правда, вежливо, но не без гордости, и визита ему совсем не отдал, по той причине, что это был *homo novus*[2] – из недавнего дворянского рода, второго поколения, – и по происхождению армянин, дед которого еще торговал в Каменце шелковыми товарами.

Сын этого шелковщика, Яков, служил уже под знаменем великого Ходкевича в артиллерии и под Хотинном оказал такие услуги, что по протекции Станислава Любомирского был награжден дворянством и пожизненным владением королевским имением, Едлинкой. Это пожизненное владение перешло затем в залог его наследнику, Серафиму, за одолжение, сделанное после шведской интервенции казне Речи Посполитой.

Молодой человек, оказавший такую важную помощь путешественникам, был именно сыном Серафима.

Пан Понговский почувствовал упрек тем сильнее, что молодой Циприанович произнес слова: «Ничего не возомним о себе», несколько гордо и с умышленным ударением.

Но именно эта манера понравилась старому шляхтичу, а так как ему было трудно отказать своему спасителю, а до Белчончки дорога была действительно далека и опасна, то он, не колеблясь уже больше, сказал:

– Если бы не вы, волки, быть может, давно уже грызлись бы теперь из-за наших костей. Так позвольте уж мне отплатить вам по доброй воле... Едемте!

Циприанович приказал перевязать карету.

Дышло было сломано, словно его кто перерубил топором. Работники привязали веревки одними концами к полозьям, а другими к хомутам и бодро тронулись в путь, сопровождаемые веселыми возгласами всадников и песнями панов Букоемских.

До Едлинки, бывшей скорее лесным поселком, чем усадьбой, было недалеко. Вскоре перед глазами путешественников открылась громадная, в несколько верст, поляна, или, вернее, окруженное со всех сторон сосновым бором поле, а на нем десятка полтора домов, засыпанные снегом крыши которых блестели и искрились в лунном свете.

Несколько дальше, за крестьянскими хатами, виднелись усадебные постройки, стоявшие полукругом вокруг двора, а в глубине его – весьма безобразный дом, перестроенный Циприановичами из прежнего помещения королевских лесничих, но просторный и даже слишком просторный для такой маленькой усадьбы.

В окнах дома виднелся яркий свет, бросавший розоватые отблески на снег, на кусты перед домом и на колодезный журавль, торчавший с правой стороны от входа.

По-видимому, старый Циприанович поджидал сына, а может быть, и гостей с большой дороги, которые могли приехать вместе с ним, так как едва карета успела приблизиться к воротам, навстречу ей выбежало несколько работников с фонарями, а вслед за ними и сам хозяин в куньем тулупе и норковой шапке, которую он поспешил снять при виде кареты.

– Каких же милых гостей послал нам Господь в нашу лесную глушь? – спросил он, спускаясь по ступенькам крыльца.

Молодой Циприанович, поцеловав руку отца, сказал ему, кого он привез, а пан Понговский, выйдя из кареты, произнес:

– Я давно уже собирался сделать то, к чему меня вынудили в данную минуту обстоятельства. Тем более благословляю я эту неволю, которая так удивительно совпала с моими желаниями.

– Разные приключения случаются с людьми, но для меня это приключение счастливое и потому я с радостью приглашаю вас войти в комнаты. – С этими словами пан Серафим снова поклонился и подал руку Винницкой, за которой и все остальные вошли в дом.

При входе гостей охватило то чувство удовольствия, которое постоянно охватывает путников, из мрака и холода входящих в теплую и светлую комнату. В передней и других комнатах пылал в больших кафельных печах огонь, а кроме того, слуги начали повсюду зажигать восковые свечи.

Пан Понговский с удивлением озирался вокруг, так как обыкновенным шляхетским домам было далеко до того достатка, который бросался в глаза в доме Циприановича.

При блеске огня и свечей во всех комнатах видны были вещи, какие не всегда найдешь даже и в замке; сундуки и итальянские кресла резного дерева, то тут, то там часы и венецианский хрусталь, бронзовые подсвечники, восточное оружие, выложенное бирюзой и развешанное на тканых коврах. На полу мягкие крымские ковры, а на двух продольных стенах две картины, которые могли бы послужить украшением комнаты любого магната.

«Это они все добыли торговлей, – с досадой подумал пан Понговский, – а теперь они могут задирать нос перед шляхтой и кичиться своим богатством, добытым не оружием».

Но любезность и искреннее гостеприимство Циприановичей обезоружили старого шляхтича, а когда минуту спустя он услышал звон посуды в прилегающей столовой, он совсем пришел в хорошее настроение.

Чтобы обогреть приехавших с мороза гостей, прежде всего подали горячее вино с разными специями. Завязался разговор о минувшей опасности. Пан Понговский хвалил молодого Циприановича за то, что тот, вместо того чтобы сидеть в теплой хате, спасал людей на большой дороге, не обращая внимания на страшный мороз, на труд и опасности.

– Право же! – говорил он. – В былое время так поступали те славные рыцари, которые, разъезжая по белу свету, защищали людей от драконов, злых фурий и разных других чудовищ.

– А если кому-нибудь из них удавалось спасти прекрасную царевну, – отвечал молодой Циприанович, – то он был так же счастлив, как мы в данную минуту.

– Правда! Никто еще не спас более прекрасной царевны, чем мы! Клянусь Богом! Правильно сказано! – с жаром воскликнули четыре брата Букоемские.

А панна Сенинская мило улыбнулась, так что на ее щечках образовались две прелестные ямочки, и опустила глаза.

Но пану Понговскому комплимент показался чересчур фамильярным, ибо панна Сенинская, хотя и была сиротой и бесприданницей, происходила из рода магнатов. Он поспешил переменить разговор и спросил:

– И давно вы так разъезжаете по большим дорогам?

– С самого начала метелей, и будем ездить, пока не прекратятся морозы! – отвечал молодой Циприанович.

– И много вы уже перебили волков?

– Всем хватит на шубы.

Тут братья Букоемские захохотали так громко, словно заржали четыре лошади, а когда они несколько успокоились, старший, Ян, проговорил:

– Его величество король будет доволен своими лесниками.

– Правда, – отвечал пан Понговский. – Я слышал, что вы состоите главными лесничими в здешней королевской пуще. Но ведь Букоемские происходят из Украины?

– Так точно.

– Постойте!.. Постойте!.. Хороший род, Ело-Букоемские!.. Они в родстве даже со старинными домами!..

– И со святым Петром! – воскликнул Лука Букоемский.

– Да ну? – спросил пан Понговский.

И он сурово взглянул на братьев, как бы желая убедиться, уж не позволяют ли они себе смеяться над ним.

Но у них были добродушные, открытые лица, и братья с глубоким убеждением кивали головами, подтверждая таким образом слова брата. Пан Понговский изумленно повторил:

– Родственники святого Петра? Как же это?

– Через Пржегоновских.

– Постойте! А Пржегоновские?

– Через Усвятюв.

– А Усвятюв, в свою очередь, опять через кого-нибудь, – уже с улыбкой отвечал старый шляхтич, – и так далее вплоть до Рождества Христова!.. Да... Хорошо и в земном сенате иметь родственников, а что уж и говорить о небесном... Тем вернее протекция!.. Но каким же образом попали вы из Украины в нашу Козенецкую пушу? Я слышал, вы уже здесь несколько лет?

– Три сода. Все наши украинские владения мятеж давно уже сровнял с землей, а потом и граница там изменилась. Мы не пожелали служить в чамбулах татарам, поэтому сначала мы поступили в польские войска, потом были арендаторами, пока, наконец, родственник наш, пан Мальчинский, не сделал нас главными лесничими.

– Да, – проговорил старый Циприанович. – Удивительно, как мы очутились здесь все вместе в этой пуще. Ведь и все мы не здешние, а судьба привела нас сюда. Ваши владения, – тут он обратился к пану Понговскому, – тоже, насколько мне известно, находятся на Руси, неподалеку от поморянского замка?

Пан Понговский вздрогнул, точно кто-нибудь прикоснулся к незажившей еще ране.

– Да, у меня были там и теперь есть владения, – ответил он, – но мне опротивел

весь тот край, потому что там несчастья преследовали меня одно за другим, точно молнии.

– Божья воля! – ответил Циприанович.

– Конечно... протестовать против нее нельзя, но и жить тяжело...

– Вы, насколько мне известно, долго изволили служить в войсках?

– Да, пока не потерял руку. Я мстил за обиды своего отечества и свои собственные. Если Господь отпустит мне хоть по одному греху за каждую языческую голову, то я надеюсь, что никогда не увижу ада.

– Разумеется!.. Разумеется!.. И служба – заслуга, и страдания – заслуга. Лучше всего отгонять от себя грустные мысли.

– Я бы и рад отгонять их, да они-то не хотят оставить меня. Но довольно об этом! Оставшись калекой и в то же время став опекуном вот этой девушки, я переселился на старости лет в эти спокойные края, куда не доходят чамбулы, и живу, как видите, в Белчончке.

– Правильно! И я то же самое! – отвечал старый Циприанович. – Хотя там теперь и спокойно, но молодежь все рвется туда в надежде на приключения. А ведь это такие печальные края, где каждый кого-нибудь оплакивает!

Пан Понговский приложил руку ко лбу и долго держал ее так, потом печально заговорил:

– В сущности, в тех краях только и может оставаться либо мужик, либо магнат. Мужик – потому, что, когда придет нечестивая орда, он уходит в лес и, точно дикий зверь, живет там в течение многих месяцев, а магнат – потому, что у него есть укрепленные замки и собственные войска, которые защитят его... Да и то не всегда!.. Были Жолкевские – и погибли, были Даниловичи – и тоже погибли... У Собеских погиб брат ныне милостиво царствующего над нами короля Яна... И сколько еще других... Один из Вишневецких болтался на веревке в Стамбуле... Корецкий убит железными шестами... Погибли Калиновские, а перед тем поплатились жизнью Гербурты и Язловецкие. В разное время полегло несколько Сенинских, которые издревле владели почти всеми краями... Что за кладбище! Я бы и до утра не кончил, если бы вздумал всех перечислить!.. А если бы не одних магнатов, но переименовать и шляхту, то не хватило бы и месяца.

– Правда! Правда! Да уж и так удивительно, как это Господь Бог так размножил эту турецкую и татарскую погань. А ведь и их там много полегло! Когда мужик весной пашет землю, то, что ни шаг, поганские черепа хрустят под сохой... О Господи! Сколько их там перебил хотя бы наш нынешний король!.. Одной крови хватило бы на добрую реку, а они все лежат и лежат.

И это была правда.

Речь Посполитая, снедаемая бесправием и своеволием, не могла собрать могущественной армии, которая раз навсегда покончила бы с турецко-татарским нашествием.

Впрочем, такой армии не могла выставить даже и вся Европа.

Но зато в Речи Посполитой жил такой храбрый народ, который ни за что не соглашался добровольно подставить свою шею под нож восточных неприятелей. Наоборот, на эти ужасные, усеянные могилами и орошенные кровью границы, то есть на Подолию, Украину и Червонную Русь, наплывали все новые волны польских поселенцев, которых привлекала сюда не только плодородная земля, но именно жажда постоянных войн, битв и приключений.

«Поляки, – писал старинный историк, – идут на Русь воевать с татарами»[3].

И тянулись туда мужики из Мазовии, тянулась и столбовая шляхта, которой стыдно было «умирать в постели обыкновенной смертью», выростали, наконец, на этих обгаренных кровью землях могучие магнаты, которые, не довольствуясь обороной у себя дома, шли часто в Крым и Валахию, искать там власти, побед, смерти, спасения и славы.

Говорили даже, что поляки не хотят одной большой войны, но хотят находиться в постоянной борьбе. Но хотя это было и не совсем так, однако постоянные смуты были приятны гордому племени, и нередко смельчак платился собственной кровью за свою храбрость.

Ни добруджские, ни белгородские, ни тем более бесплодные крымские земли не могли прокормить своих диких обитателей, и потому голод гнал их на пограничные земли, где их ожидала крупная добыча, но так же часто и смерть.

Зарева пожаров освещали там небывалые в истории погромы. Одинокие полки в пух и прах разбивали саблями и топтали копытами в десять раз большие отряды чамбулов. Только невероятная быстрота движения спасала всадников, ибо каждый чамбул, настигнутый регулярными войсками Речи Посполитой, мог считаться погибшим безвозвратно.

Бывали набеги, в особенности более мелкие, из которых ни один не возвращался в Крым. В свое время имена Претвица и Хмелецкого были страшны для татар и турок. Из менее известных рыцарей в их памяти кроваво запечатлелись: Володыевский, Пелка и старший Рушиц, которые уже многие годы мирно почивали в могилах, осененные славой. Но ни один из них не пролил столько крови последователей ислама, как король того времени Ян III Собеский.

Под Подгайцами, Хотинном и Львовом до сих пор лежат непогребенные груды вражеских костей, от которых точно от снега белеют обширные поля.

Наконец страх охватил все орды.

Вздохнули свободно пограничные жители, а когда ненасытные турецкие полчища начали искать более легкой добычи, облегченно вздохнула и вся измученная Речь Посполитая.

Остались только тяжелые воспоминания.

Далеко от нынешней усадьбы Циприановичей, близ поморянского замка, стоял на взгорье высокий крест с двумя копьями, двадцать с лишком лет тому назад водруженный паном Понговским на месте сожженного дома. И каждый раз, когда он вспоминал об этом кресте и о всех этих дорогих головах, утраченных им в этом месте, еще и теперь ныло от боли его старое сердце.

Но этот человек был строг, как к себе самому, так и к другим, и кроме того, он стыдился слез при посторонних, а дешевой жалости не выносил, а потому он не хотел больше говорить о своих несчастьях и начал расспрашивать хозяина, как ему живется в этом лесном имении.

А тот отвечал:

– Тихо у нас, тихо. Когда бор не шумит и волки не воют, то почти что слышно, как идет снег. Когда есть покой, когда есть огонь в печи и кувшин горячего вина вечером, то старости больше ничего и не нужно.

– Правильно! Но сыну?

– Молодой сокол рано или поздно все равно улетит из гнезда. А деревья шумят уже о большой войне с неверными.

– На эту войну полетят и седые соколы. И я бы полетел вместе с другими, кабы вот не это...

Тут пан Понговский потрянул пустым рукавом, в котором остался только кусок предплечья.

А Циприанович налил ему вина:

– За успехи христианского оружия!

– Дай-то Господи! До дна!

Между тем молодой Циприанович угощал из дымящегося кувшина пани Винницкую, панну Сенинскую и четырех братьев Букоемских. Дамы едва прикасались губами к краям стаканов, но зато братья Букоемские не заставляли себя просить, вследствие чего жизнь казалась им все милее, а панна Сенинская все прекраснее. Но, не находя соответствующих слов для выражения своего восторга, они начали удивленно поглядывать на нее, сопеть и подталкивать друг друга локтями.

Наконец старший из них, Ян, произнес:

– Неудивительно, что волкам захотелось попробовать вашего мяса и косточек, ведь и дикие звери знают, что такое лакомый кусочек.

А трое остальных: Матвей, Марк и Лука начали бить себя по коленям.

– Попал! Ловко попал!

– Лакомый кусочек! Право слово!

– Марципан!

Услышав это, панна Сенинская сложила руки и, притворяясь испуганной, обратилась к молодому Циприановичу:

– Спасите же меня! Я вижу, что эти господа спасли меня от волков только для того, чтобы самим меня съесть.

– Сударыня, – весело отвечал Циприанович, – пан Ян говорил, что он не удивляется волкам, а я скажу: что я не удивляюсь панам Букоемским.

– Тогда мне остается только сотворить молитву Богородице...

– Только не шути, пожалуйста, святыми словами! – воскликнула пани Винницкая.

– Э! Да эти рыцари готовы съесть и тетушку вместе со мной! Не правда ли?

Но вопрос этот остался некоторое время без ответа. Напротив, по лицам панов Букоемских легко было заметить, что они не очень-то жаждут этого. Однако Лука, более сообразительный, чем остальные братья, ответил:

– Пусть говорит Ян: он старший брат.

А Ян немного смутился и произнес:

– Кто знает, что ему предстоит завтра.

– Правильно сказано! – заметил Циприанович. – Но к чему это замечание?

– А что?

– Да ничего! Я только спрашиваю, почему вы упоминаете о завтрашнем дне?

– А разве вы не знаете, что чувство хуже волка, потому что волка можно убить, а чувства не убьешь.

– Знаю, но это опять-таки другая материя.

– Лишь бы было остроумно, а о материи не толк.

– Ага! Коли так, то помогай Бог!

Панна Сенинская начала смеяться, закрываясь ладонью, за нею – Циприанович, а в конце концов и братья Букоемские. Но дальнейший разговор был прерван служанкой, пригласившей их ужинать.

Старый Циприанович подал руку пани Винницкой, за ним шел пан Понговский, а молодой Циприанович вел панну Сенинскую.

– Трудно спорить с паном Букоемским, – проговорила развеселившаяся девушка.

– Потому что его доводы так же своенравны, как лошади, из которых каждая тянет в свою сторону. Но, во всяком случае, он сказал две истины, которых нельзя отрицать.

– Какая же первая?

– Что никто не знает, что ожидает его завтра, как и я, например, не знал, что глаза мои увидят сегодня вас.

– А другая?

– Что легче убить волка, чем любовь... Великая это истина!

Проговорив это, молодой Циприанович вздохнул, а девушка опустила на глаза свои густые ресницы и смолкла.

И только, когда уж садились за стол, она произнесла:

– Вы, господа, поскорее приезжайте к нам в Белчончку, чтобы опекун мог отблагодарить вас за спасение и гостеприимство.

Мрачное настроение пана Понговского за ужином значительно поправилось, а когда хозяин произнес красноречивый тост, сначала за здоровье дам, а затем – почтенного гостя, старый шляхтич отвечал весьма любезно, благодаря за спасение от тяжелой опасности и уверяя в своей вечной благодарности.

Затем говорили о политике, о короле, о его победах, о сейме, который должен был собраться в апреле, о войне, грозившей немецкому государству со стороны турецкого султана и для которой уже набирал в Польше охотников пан Иероним Любомирский.

Братья Букоемские с любопытством слушали, как в Германии принимали с распростертыми объятиями каждого поляка, ибо турки игнорировали немецкую кавалерию, тогда как польская возбуждала в них немалый ужас.

Пан Понговский несколько порицал заносчивость кавалера Любомирского, который говаривал о немецких графах: «Десяток таких влезет в мою рукавицу», но зато хвалил его рыцарские преимущества, неизмеримую отвагу и прекрасное знание военного искусства.

Услышав это, Лука Букоемский заявил от своего и своих братьев имени, что пусть только наступит весна, и они не выдержат, отправятся к пану Любомирскому. Но пока морозы еще сильны, они будут бить волков, чтобы как следует отомстить им за панну Сенинскую. Хотя и сказал Ян, что нельзя удивляться волкам, но стоит только подумать, что такая невинная голубка могла сделаться их добычей, как сердце начинает подступать к горлу от бешенства и трудно удержать слезы.

– Жаль, – говорил он, – что волчьи шкуры такие дешевые и что жида едва дают талер за три штуки, но трудно удержать слезы и даже лучше дать им волю, ибо тот, кто не пожалел бы угнетенной невинности и добродетели, оказался бы варваром, не достойным рыцарского шляхетского имени!

Сказав это, он действительно расплакался, а его примеру последовали сейчас же и другие братья. Хотя волки в самом худшем случае могли угрожать жизни, но никак не добродетели панны Сенинской, но их так растрогала речь брата, что сердца их размягчились, как растопленный воск.

Они вздумали даже после ужина стрелять из пистолетов в честь девушки, но этому воспротивился сам хозяин, говоря, что у него в доме лежит больной лесник, человек очень почтенный, которому нужен покой.

Пан Понговский подумал, что это какой-нибудь обедневший родственник хозяина, или, по крайней мере, шляхтич и начал из вежливости расспрашивать о нем; но, узнав, что это был попросту служащий мужик, он пожал плечами и, взглянув

недовольным и удивленным взглядом на старого Циприановича, произнес:

– Ах да! Я и забыл, что люди рассказывают о вашем добром сердце.

– Дай Бог, – отвечал пан Серафим, – чтобы не рассказывали ничего худого!.. Я многим обязан этому человеку, а болезнь ведь может случиться с каждым, он же прекрасно понимает в травах и умеет помочь от всяких болезней.

– Тогда удивительно, почему же он не может вылечить самого себя, коли так хорошо помогает другим. Пришлите его когда-нибудь к моей родственнице, пани Винницкой, которая prepares из трав различные экстракты и морит ими людей. А пока что разрешите нам подумать об отдыхе, ибо дорога меня страшно утомила, а вино слегка разобрало, так же, как и панов Букоемских.

У Букоемских действительно кружились головы, а глаза заволоклись дымкой и казались растроганными. Когда молодой Циприанович повел их во флигель, где он должен был ночевать вместе с ними, они шли за ним неуверенным шагом по скрипящему снегу, удивляясь, что луна улыбается им и сидит на крыше амбара, вместо того, чтобы светить на небе.

Но панна Сенинская так глубоко запала им в сердце, что братьям хотелось еще поговорить о ней.

Молодой Циприанович тоже не чувствовал желания спать и потому приказал принести кувшин с медом. Усевшись около большой печи, они начали молча попивать мед, прислушиваясь к шелканию сверчков в комнате.

Наконец самый старший из братьев, Ян, набрал в грудь воздуха, потом с такой силой выдохнул его прямо в печь, что пламя заколебалось, и сказал:

– О Господи! Братья мои милые! Плачьте надо мной, ибо пришли для меня тяжелые времена.

– Какие времена? Говори, не скрывай!

– А вот влюбился я так, что прямо ноги подкашиваются.

– А я, ты думаешь, не влюбился? – воскликнул Лука.

– А я? – подхватил Матвей.

– А я? – кончил Марк.

Ян хотел им что-то ответить, но сразу не мог, потому что у него началась икота. Он изумленно вытаращил глаза и уставился на них так, точно видел их в первый раз в жизни.

Наконец гнев выразился на его лице.

– Как, собачьи сыны! – воскликнул он. – Вы хотите встать поперек дороги старшему брату и лишить его счастья?!

– Ой, батюшки! – отвечал Лука. – Так что же из этого? Разве панна Сенинская – майорат, который должен принадлежать только старшему брату. Мы все дети одного

отца и одной матери, и если ты нас так обзываешь, то оскорбляешь этим своих же родителей в гробу. Каждый волен любить!

– Каждый, но не вы, потому что вы должны уважать старшего!

– Что же, нам всю жизнь слушаться лошадиного ума? А?

– Брешешь, нечестивый, точно пес!

– Ты сам брешешь. Ибо Иаков был моложе Элиазара, а Иосиф, самый младший из братьев, значит, ты порицаешь Святое Писание и идешь против веры.

Прижатый к стене этими аргументами, Ян не сразу нашелся, что ответить, а когда Матвей упомянул еще о Каине, как о старшем брате, он совершенно потерял голову.

Гнев все более овладевал им. Наконец он начал искать правой рукой саблю, которой, впрочем, не было у его бока.

И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Марк, сидевший все время, приложив пальцы ко лбу, словно выкапывая оттуда какую-то мысль, не воскликнул вдруг громким голосом:

– Я самый младший из братьев, я – Иосиф, значит, мне и принадлежит панна Сенинская!

Все остальные моментально повернулись к нему со сверкающими от возбуждения глазами:

– Что? Тебе? Тебе? Ах ты, гусиное яйцо, ах ты, соломенная кукла, лошадиная болячка, пьяница, пропойца... Тебе?!

– Заткните глотки, раз так стоит в Писании?!

– В каком Писании, пентюх ты этакий?!

– Все равно в каком, когда так написано! Сами вы перепились, а не я! Но тут вмешался в спор Станислав Циприанович.

– И не стыдно ли вам, шляхтичам и братьям, затевать такие ссоры? – проговорил он. – Так-то вы соблюдаете братскую любовь? И из-за чего вы ссоритесь? Ведь панна Сенинская не гриб, который тот и положит в корзинку, кто первый найдет его в лесу. Знаете ли вы, какой обычай существует у пеликанов? Не будучи ни шляхтой, ни даже просто людьми, пеликаны из родственной любви во всем уступают друг другу, и когда не наловят рыб, то кормят друг друга собственной кровью. Вы вспоминаете покойных родителей ваших, но они ведь там заливаются слезами, видя несогласие сыновей своих, которым они, верно, совсем другое завещали при своем предсмертном благословении. Уж им там и радость небесная не в радость и глаз не смеют поднять они на четырех евангелистов, именами которых назвали вас при крещении.

Так говорил Стах Циприанович и, хотя вначале ему было немного смешно, но по мере того, как он говорил, он все больше сам проникался своей речью, ибо и сам за компанию был немного навеселе. В конце концов, братья, растроганные его речью, все четверо расплакались, а старший, Ян, воскликнул:

– Ох, убейте меня, ради Бога, но не называйте Каином!

Тогда Матвей, упомянувший прежде о Каине, бросился ему в объятия.

– Братец, палачу меня за это отдать надо!

– Проети, а не то я лопну от горя! – вопил Лука.

А Марк вставил:

– Я брехал, точно пес, против заповедей.

И братья начали обниматься. Но Ян, вырвавшись, наконец, из объятий братьев, сел вдруг на лавку, расстегнул жупан, разорвал рубаху и, обнажив грудь, заговорил прерывающимся голосом:

– Вот вам! Как пеликан!.. Сосите мою кровь! А остальные еще сильнее зарыдали:

– Пеликан! Настоящий пеликан!.. Клянусь Богом! Пеликан!..

– Берите панну Сенинскую!

– Твоя она, ты ее и бери!

– Пусть берут младшие!..

– Никогда! Этого не может быть!

– К черту!

– К черту ее!

– Не хотим ее!

И вдруг Лука хлопнул себя по бедрам так сильно, что отдалось во всей избе.

– Я знаю! – воскликнул он.

– Что ты знаешь? Говори, не скрывай!

– Пусть ее берет Циприанович!

Услышав это, остальные братья вскочили со своих мест, – так им пришлось по сердцу эта мысль, и окружили Циприановича.

– Бери ее, Сташка!

– Этим ты примиришь нас!

– Бери, если ты нас любишь!

– Сделай это для нас!

– Да благословит тебя Господь! – кричал Ян, вознося глаза к небу и протягивая руки над его головой.

А Циприанович покраснел и стоял, с удивлением повторяя:

– Побойтесь вы Бога!..

Но сердце его затрепетало в груди при одной этой мысли. Живя уже два года возле отца среди непроходимых лесов и мало видя людей, он уже давно не встречал такой прекрасной девушки.

Правда, он видел подобных когда-то в Бржезанах, когда отец отдал его к тамошнему двору, чтобы приобрести воспитание и знакомство с общественными делами. Но тогда он был еще совсем мальчиком, и время стерло все прежние воспоминания.

Но вот теперь, когда среди лесов он встретил вдруг такой прекрасный цветок – люди говорят ему: бери его!..

Молодой человек страшно смутился и еще раз повторил:

– Побойтесь вы Бога! Куда вам или мне до нее!

Но они, как обычно пьяные, не видя никаких препятствий, начали настаивать.

– Ни один из нас не будет завидовать другому, – говорил Лука, – а ты бери ее! Мы все равно собирались идти на войну. Довольно с нас этой лесной сторожевки! Тридцать талеров за целый год!.. На выпивку не хватит, а не то что на наряды! Лошадей мы продали и на твоих ездим теперь на волков, и сбрую тоже... Известное дело, тяжело жить сиротам! Лучше уж на войне погибнуть, а ты ее бери, если нас любишь!

– Бери ее! – вопил Ян. – Мы в Ракузы, к кавалеру Любомирскому отправимся, помогать немцам лупить язычников!

– Бери ее сейчас же!..

– Завтра! В костел!

Но Циприанович уже пришел в себя от удивления и сразу отрезвел так, точно с утра ничего не имел во рту.

– Ребята, подумайте, что вы говорите! Разве дело здесь только в вашей или в моей воле? А что скажет она сама, а что скажет пан Понговский, человек гордый и несговорчивый? Если бы даже девушка стала со временем моей приятельницей, может быть, он предпочел бы, чтобы она работала в огороде, чем стала женой такого бедняка, как я или кто-либо из вас.

– Ого! – воскликнул Ян. – А кто он такой сам, этот пан Понговский, – каштелян Краковский или великий гетман? Если ты хорош для нас, то и ему не след носом крутить! Плохие для него сваты братья Букоемские? Ах чтоб ему! Стар уж он, и недалеко ему до смерти, так пусть же он остерегается, чтобы святой Петр не прищемил ему пальцев в небесных вратах. Вступишь же ты за нас, святой Петр, и скажи ему так: «Не сумел ты, такой-сякой, уважать моей крови при жизни, так поцелуй же пса в нос». Так и скажи ему после смерти. Но мы и при жизни не

позволим над собой смеяться. Как? Из-за того, что мы потеряли богатство, нас будут оскорблять и обращаться с нами, как с холопами!.. Такая-то благодарность за нашу службу отчизне, за нашу кровь, за наши раны! О, братья мои, сироты вы Божьи!.. Немало обид перенесли мы в жизни, но такой тяжкой никто еще не наносил нам!

– Правда! Правда! – жалобно кричали Лука, Марк и Матвей.

И слезы снова обильно потекли по их щекам, но, наплакавшись, они снова начали волноваться, так как им казалось, что благородные люди не должны забывать подобных оскорблений. Марк, самый порывистый из всех братьев, первый вспомнил об этом.

– Нельзя его вызвать на сабли, – проговорил он, – потому что он стар и не имеет руки, но если бы он оказал нам какое-нибудь пренебрежение, то нужно ему отомстить. Что же нам делать? Подумайте!..

– На морозе у меня замерзли ноги, а теперь страшно горят, – отвечал Лука. – Если бы не это, я давно бы уж придумал что-нибудь.

– А у меня голова горит, а не ноги!

– Из пустого все равно не нальешь...

– Пеняет горшок на чугун! – вставил Ян.

– Ну вот, опять будете ссоры затевать, вместо того, чтобы обдумывать ответ! – гневно воскликнул Марк.

Но тут вмешался Циприанович.

– Ответ? – спросил он. – Кому же это?

– Понговскому.

– А на что вы хотите отвечать ему?

– На что?.. Как это на что?

И братья начали изумленно переглядываться, а затем обратились к Марку:

– Чего ты от нас хочешь?

– А чего вы хотите?..

– Ну, это, видно, затянется до утра! – воскликнул Циприанович. – Вот уж и огонь в печи гаснет, и полночь давно уже прошла. Постели там у стены готовы, и отдохнуть нам всем пора, а то мы наработались на морозе...

Огонь, действительно, погас, в комнате потемнело, и потому хозяйский совет пришелся по сердцу братьям Букоемским.

Еще немного продолжался разговор, но он становился все менее оживленным, а потом в комнате послышался шепот молитв, произносимых то тише, то громче и прерываемых

глубокими вздохами.

Головешки в печи начали покрываться пеплом и чернеть; только изредка что-то потрескивало в догорающем огне и сверчки жалобно застрекотали по углам, точно тоскуя по свету.

В темноте послышался еще стук сапог, сбрасываемых с ног на пол, потом настала непродолжительная тишина, и, наконец, раздалось громкое храпение четырех уснувших братьев.

Но молодой Циприанович не мог уснуть, ибо все его мысли вращались вокруг панны Сенинской, точно пчелы вокруг цветка.

Как же можно уснуть с таким роем в голове?

Правда, он попробовал закрыть глаза, но, видя, что это не помогает, подумал:

«Пойду посмотрю, не горит ли еще у нее огонь».

И он вышел.

В окне панны Сенинской не было света, только отблеск луны дрожал на неровных стеклах, точно зыбь на воде.

Кругом было тихо, и все спало так глубоко, что даже снег, казалось, дремал в зеленоватой тени лунного света.

– Знаешь ли ты, что тебя сватают мне? – прошептал молодой Циприанович, глядя на серебристое окно девушки.

Старый Циприанович по врожденному ему гостеприимству и по обычаю не скупился на просьбы и клятвы, чтобы только гости остались подольше в Едлинке. Он встал даже на колени перед пани Винницкой, что обошлось ему не легко, так как он страдал легкой, но довольно уже докучливой подагрой. Однако все это ни к чему не привело. Пан Понговский хотел непременно уехать еще перед полуднем домой. В конце концов пришлось этому подчиниться, ибо ничего нельзя было возразить на его заявление, что он ожидает гостей.

Итак, они отправились перед полуднем. День был ясный, морозный и погода прекрасная. Иней на деревьях и снег на полях были точно обсыпаны тысячами искр, которые так сверкали на солнце, что глазам больно было смотреть на весь этот блеск, исходящий с неба и с земли. Лошади бежали крупной рысью; полозья скрипели по твердому снегу; занавески на окнах кареты были откинута, и то и дело то в одном, то в другом окне показывалось розовое личико панны Сенинской с веселыми глазками и покрасневшим от мороза носиком, совсем как прелестная картина в раме.

Она ехала точно принцесса, ибо карету окружала «почетная гвардия», состоящая из панов Букоемских и молодого Циприановича. Сидя на ретивых конях из едлинских конюшен (своих лошадей паны Букоемские продали или позаложили вместе со своими лучшими саблями), братья прищипывали лошадей, то заставляя их взвизгивать на дыбы, то пуская их вперед с такой быстротой, что снежные комья, вырывающиеся копытами из замерзшей земли, свистели в воздухе, точно камни.

Пан Понговский не особенно был доволен этой новой стражей и в момент отъезда

просил даже их не трудиться, потому что днем дорога совершенно безопасна, а о разбойниках в пуще совсем не было слышно. Но когда они настояли на том, что поедут проводить дам, ему не оставалось ничего иного, как, платя любезностью за любезность, пригласить их к себе в Белчончку. Он получил также обещание и от старика Циприановича, что тот навестит его через несколько дней, ибо старому человеку трудно было так сразу вырваться из дома.

Путешествие проходило очень быстро, у молодых людей в конных соревнованиях, а у панны Сенинской в постоянном выглядывании из окон кареты. Остановились только на половине дороги, чтобы дать отдохнуть лошадям, возле лесной корчмы, носящей зловещее название «Разбой», рядом с которой помещались кузница и сарай. Кузнец подковывал лошадь на дворе перед кузницей, а перед корчмою стояло несколько крестьянских саней, запряженных худыми, ошетинившимися клячками, с поджатыми между задних ног хвостами и пустыми торбами на головах.

Люди вышли из корчмы посмотреть на карету, окруженную всадниками, и остановились вдали. Это были не крестьяне, а мещане – гончары из Козениц, которые летом обжигали горшки, а зимой, пользуясь санным путем, развозили их по деревням, а главным образом, по окрестным ярмаркам. Им казалось, что это какой-то важный сановник едет в карете, окруженной такой родовой шляхтой, и потому, несмотря на мороз, они снимали шапки и с любопытством смотрели на приезжих.

Между тем приезжие, одетые очень тепло, не выходили из кареты, всадники тоже остались на лошадях. Только слуга пана Понговского направился в корчму с баклагой вина, чтобы согреть там его у огня. Тем временем пан Понговский приказал беднякам приблизиться и начал расспрашивать их: откуда они, куда едут и не грозила ли им где-нибудь «опасность от зверя».

– Как не грозила, ваша милость, – отвечал старик-мещанин, – только мы ездим гуртом и днем. Мы поджидаем тут наших из Притыка и других мест. Крестьяне, может быть, тоже понаедут, и коли соберется возов пятнадцать или двадцать, то поедем ночью, а нет так нет, хотя мы без дубинок не ездим.

– А с людьми не случилось никаких происшествий?

– Волки загрызли жиды среди бела дня. Ехал он, видно, с гусями, потому что перья остались на дороге, а от человека и лошади – одни кости. Только по ермолке люди узнали, что это был жид. А сегодня утром пришел сюда пешком шляхтич, который целую ночь просидел на дереве. Он рассказывал, что лошадь у него пала и волки загрызли ее у него на глазах, он так заостенел на дереве, что едва мог говорить, а теперь спит.

– Как его зовут? Не говорил он – откуда?

– Нет. Только выпил разогретого пива и сейчас же повалился как мертвый на лавку.

Пан Понговский обратился к молодым людям:

– Слышите, господа?

– Слышим.

– Надо его, пожалуй, разбудить и расспросить. Он остался без лошади, как же можно его так покинуть. Мой слуга может сесть на вторую пристяжную, рядом с

форейтором, а ему отдать свою. Говорят, шляхтич... Может быть, дальний?

– Видно, важное у него было дело, – сказал Станислав Циприанович, – коли он ночью ехал, да еще и один-одинешенек. Пойду разбужу его и спрошу.

Но это намерение оказалось излишним, ибо в этот самый момент из корчмы вышел слуга пана Понговского. Он нес в руках поднос, а на нем кубки с пенящимся вином и, подойдя к карете, сказал:

– Ваша милость, пан Тачевский находится здесь.

– Пан Тачевский? А он что тут делает?

– Пан Тачевский? – повторила панна Сенинская.

– Он одевается и сейчас выйдет, – отвечал слуга. – Чуть у меня поднос из рук не выронил, когда узнал, что вы здесь.

– А кто тебя спрашивает о подносе?..

Слуга замолчал, словно сразу потерял голос, а пан Понговский взял кубок с вином, отпил из него немного, затем с видимым неудовольствием обратился к Циприановичу:

– Это наш знакомый и как будто бы сосед... из-под Черной... Так себе... немного сумасброд и сорвиголова. Из тех, здешних Тачевских, которые раньше во всем воеводстве...

Дальнейшие объяснения были прерваны появлением пана Тачевского, который, выбежав поспешно из корчмы, направлялся к карете размашистым шагом, но с некоторым смущением в лице. Это был молодой шляхтич, среднего роста, с прекрасными черными глазами, но худой, как щепка. На голове у него была надета шапка, помнившая, вероятно, времена Батория, и одет он был в серый бараний кафтан и желтые, шведские сапоги с высокими, почти до бедер голенищами. Никто уже не носил в Польше таких голенищ и потому ясно было, что это какая-нибудь военная добыча из времен Яна Казимира, вынутая по необходимости из арсенала. Приближаясь, он смотрел то на пана Понговского, то на панну Сенинскую, и улыбался, показывая при этом здоровые белые зубы, но улыбка у него выходила грустная, и лицо казалось смущенным и даже пристыженным.

– Я очень рад, – проговорил он, останавливаясь возле кареты и вежливо снимая шапку, – что вижу вас, сударыни, и вас, милостивый государь, мой благодетель, в добром здоровье. Ведь дорога не безопасна, в чем я сам имел случай убедиться.

– Накрой-ка голову, а то уши замерзнут, – сурово произнес пан Понговский. – Спасибо за заботливость. А зачем это ты шатаешься по пуще?

Тачевский быстро взглянул на девушку, как бы желая спросить ее: «Может быть, ты знаешь зачем?» – но видя, что та сидит с потупленными глазами и забавляется ленточками от своего капота, он довольно твердо ответил:

– Так, пришла мне фантазия посмотреть на луну над бором.

– Недурна фантазия! А лошадь у тебя волки зарезали?

– Только дорезали, потому что я сам вытряс из нее душу...

– Знаем. И просидел ночь на сосне, как ворона.

Тут Букоемские разразились таким громким смехом, что лошади их присели на зады, а Тачевский обернулся и обвел их поочередно глазами, холодными, как лед, и в то же время острыми, как лезвие ножа.

Потом он снова обратился к Понговскому:

– Не как ворона, а как шляхтич без лошади, над которым вы, благодетель, можете смеяться, а кому другому, пожалуй, и не поздоровится.

– Ого! Ого! Ого! – воскликнули братья Букоемские, напирая на него лошадьми. Лица их моментально нахмурились и усы зашевелились, а он снова окинул их взглядом, гордо подняв кверху голову.

Но тут пан Понговский заговорил суровым и повелительным голосом, точно он имел право командовать всеми ими:

– Пожалуйста, не затевать мне тут ссор!.. Это пан Тачевский, – добавил он уже мягче, обращаясь к молодым людям, – а это пан Циприанович и братья Букоемские, которым я, можно сказать, обязан жизнью, ибо и на нас вчера напали волки. Они случайно пришли нам на помощь, но как раз вовремя.

– Вовремя, – с ударением повторила панна Сенинская, слегка отдувая губки и с благодарностью поглядывая на Циприановича.

Щеки Тачевского покраснели, на лице отразилось смущение, глаза затуманились, и он ответил с глубокой горечью в голосе:

– Вовремя! Еще бы когда они целой компанией и на добрых конях, а по моем Волошине теперь волки зубами звонят: и я лишился последнего друга. Но, – тут он более дружелюбно взглянул на Букоемских, – пусть Господь пошлет вам здоровья. Вы сделали то, к чему я и сам стремился всей душой, но Бог не допустил меня...

Панна Сенинская была, по-видимому, изменчива, как и каждая женщина, а может быть, ей просто жаль стало пана Тачевского, но глазки ее вдруг стали нежными, ресницы задрожали, и уже совсем другим голосом девушка спросила:

– Старый Волошин?.. Боже мой, я так любила его, и как он меня знал! Ах, Боже мой!..

Тачевский с благодарностью взглянул на нее.

– Знал, очень хорошо знал...

– Ну, не огорчайтесь же так сильно, пан Яцек.

– Я огорчился уж и раньше, но на лошади, а теперь буду огорчаться пешком. Господь вознаградит вас за доброе слово...

– Ну, а пока садись на Мышатого, – вмешался пан Понговский. – Слуга сядет рядом с фореитором или сзади кареты. Там есть и запасная бурка, – возьми погрейся.

Ведь ты целую ночь мерз, а теперь опять начинает мороз крепчать.

– Нет, – отвечал тот. – Я нарочно не взял с собой шубы, мне тепло.

– Ну, тогда в путь!

И через минуту они тронулись. Яцек Тачевский занял место возле одного окна кареты, Станислав Циприанович – возле другого, так что сидящая на передней скамейке девушка могла, не поворачивая головы, свободно смотреть на обоих.

Но Букоемские были недовольны Тачевским: их злило, что тот занял место возле кареты. И вот, собравшись в кучу, так что лошади едва не стукались друг о друга лбами, они начали совещаться между собой.

– Гордо он на нас глядел, – говорил Матвей. – Как Бог свят, он хотел оскорбить нас!

– А теперь повернул лошадь к нам задом. Что же вы скажете на это?

– Но не может же он повернуть ее лбом, ведь лошадь не пятится назад, как рак. Но что он увивается за этой девушкой, так это верно, – заметил Марк.

– Это ты хорошо заметил. Смотрите, как любезничает и наклоняется к ней. Вот кабы оборвался ремень, он бы живо слетел.

– Не слетит, такой-сякой сын, больно сидит хорошо, да и ремень здоровый.

– Нагибайся, нагибайся, пока мы тебя не нагнули!

– Смотрите-ка! Опять улыбается ей.

– Что же, родимые мои братья? Неужто мы допустим это?

– Никогда, пока мы живы! Не для нас девка – хорошо! Но помните, что мы вчера решили?

– Как же! Он, должно быть, догадался об этом. Видно, что хитрая штука! И теперь сам назло ухаживает за ней!

– И назло нашему сиротству и бедности.

– Подумаешь, какой магнат на чужой кляче.

– Ба! Да ведь и мы не на своих.

– Но одна-то кляча у нас осталась, и когда трое сидят дома, то четвертый может ехать хоть на войну. А у этого и седла даже своего нет, волки его зубами разорвали.

– А еще нос задирает! И что он имеет против нас? Скажите!

– Это надо его самого спросить.

– Сейчас?

– Сейчас, но это надо сделать дипломатично, чтобы не обидеть старого Понговского. И только разобравшись в его ответе – вызвать. И тогда уже он будет наш!

– Который же из нас должен это сделать?

– Конечно, я, как старший... Вот только сосульки обломлю и айда!

– Да запомни, смотри, хорошенько, что он скажет.

– Как молитву повторю вам слово в слово. – С этими словами старший из панов Букоемских начал обрывать рукавицей сосульки с усов, а затем, подвинув свою лошадь к клячонке Тачевского, проговорил: – Сударь.

– Что? – спросил Тачевский, неохотно поворачивая к нему голову от кареты.

– Что вы имеете против нас?

Тачевский с удивлением взглянул на него и ответил:

– Ничего.

И, пожав плечами, он снова повернулся к карете.

Букоемский ехал некоторое время молча, размышляя, вернуться ли ему и отдать братьям отчет или продолжать разговор. Однако эта последняя мысль показалась ему более целесообразной, и потому он заговорил снова:

– Если вы думаете, что чего-нибудь добьетесь, то и я скажу вам, как вы мне: ничего!

На лице Тачевского отразилась скука и принужденность. Он понял, что Букоемские хотят придраться к нему, а он нисколько не был расположен к этому в данный момент. Однако нужно было что-нибудь ответить, и ответить так, чтобы окончить разговор.

– И те братья тоже?.. – спросил он.

– А как же! Но что тоже?

– Это вы, сударь, догадайтесь сами, а теперь не перебивайте мне более приятный разговор.

Букоемский проехал еще шагов десять – пятнадцать возле него и, наконец, осадил коня.

– Ну, что он тебе сказал? Говори прямо! – спрашивали братья. Старший повторил весь разговор. Братья были недовольны.

– Ты не сумел его поддеть, – сказал Лука. – Нужно было пощекотать его коня стремени по брюху, или, – ведь ты знал, что его зовут Яцек! – сказать: съешь плацек! [4]

- Или сказать еще так: съели у тебя волки коня, купи себе козу в Притыке.
- Это еще успеется! Но что значат его слова «и те братья тоже»?
- Может быть, он хотел спросить, такие же ли они дураки?
- Наверное! Клянусь Богом! – воскликнул Марк. – Ничего иного он не мог подумать. А что будет теперь?
- Его смерть или наша. О Господи, да ведь это явное издевательство, о котором необходимо рассказать Стаху.
- Не говори ему ничего. Ведь, если мы отдаем девушку Стаху, он и должен бы его вызвать, а надо, чтобы мы это, сделали первые.
- Когда же?
- У Понговского неудобно. А вот уж и Белчончка.

Действительно, Белчончка была уже недалеко. У опушки леса стоял принадлежащий Понговскому крест с металлическим распятием между двух копий. Направо, куда сворачивала дорога из леса, виднелись большие луга, окаймленные цепью ольх, растущих вдоль речки; а за ольхами, на другом, более высоком берегу, виднелись безлистные маковки высоких деревьев и дым, поднимающийся над избами.

Вскоре кортеж очутился среди изб, а когда он миновал плетни и фольварочные строения, перед глазами всадников оказался дом пана Понговского.

Громадный двор был окружен старым, полусгнившим, а местами вывороченным частоколом. С давних времен в эти края не заглядывал ни один неприятель, и потому никто не заботился о должном укреплении имения. На большом дворе было две голубятни. С одной стороны стоял флигель для слуг, с другой – кладовая, амбар и просторная сушилка для сыра, сколоченная в виде решетки из тонких бревен и досок. Перед домом и вокруг двора стояли столбики с железными кольцами для привязывания лошадей; на каждом столбике красовалась шапка замерзшего снега. Дом был старый, большой, с низкой соломенной крышей. По двору бродили гончие псы, а среди них спокойно расхаживал ручной аист со сломанным крылом, который, по-видимому, только что вышел из теплой избы, чтобы прогуляться на морозе и подышать свежим воздухом.

Дома их уже ждали, так как пан Понговский отправил вперед слугу с извещением. Тот же самый слуга вышел теперь им навстречу и, поклонившись, сказал:

- Райгародский староста, пан Грот, изволили приехать.
- Ах, Господи! – воскликнул пан Понговский. – И давно уже ждет?
- Еще нет и часу. Они хотели уже уезжать, но я им сказал, что ваша милость с минуты на минуту должны быть дома.
- И хорошо сделал.

Потом он обратился к гостям:

– Пожалуйте, господа. Пан Грот – мой родственник со стороны жены. Вероятно, он возвращается этим путем в Варшаву от брата, потому что он депутат сейма. Прошу покорно! Прошу!

Через минуту они очутились в столовой, лицом к липу с райгородским старостой, который едва не упирался головой в потолок, ибо ростом он был даже выше братьев Букоемских, а комнаты во всем доме были необычайно низкие. Это был видный шляхтич, с умным взглядом, с лицом и лысиной сановника и с шрамом на лбу между бровями. Этот шрам, похожий на морщину, придавал ему суровый и сердитый вид. Однако он любезно улыбнулся пану Понговскому и, раскрыв объятия, произнес:

– Так-то, я, гость, встречаю хозяина в его собственном доме.

А пан Понговский обнял его за шею своей единственной рукой и проговорил:

– Вот так гость, вот так милый гость. Дай Бог здоровья, что вы посетили меня! Ну что там слышно?

– De privatis[5] – хорошо, а de publicis[6] – тоже хорошо, потому что война.

– Война? Как? Уже? Мы воюем?

– Мы еще нет, но договор с его королевским величеством будет подписан в марте, а тогда война неизбежна.

Хотя слухи о предстоящей войне с турками носились еще перед Новым годом и были даже такие люди, которые считали ее неизбежной, но подтверждение этих слухов из уст такого знаменитого лица, как пан Грот, близко знакомого с общественными делами, произвело большое впечатление на пана Понговского и его молодых гостей. И потому, едва хозяин представил их старосте, как сейчас же начался разговор о войне, о Текели и о кровавых стычках в Венгрии, от которых, как от большого пожара, зарево было видно уже и в Австрии и в Польше. Предстояла страшная война, перед которой дрожали как римский император, так и все земли немецкие. Сведущий в политике пан Грот говорил, что Порта поднимает на ноги половину Азии и всю Африку, чтобы выступить с такой силой, какой мир еще не видал до сих пор. Но эти предсказания никому не испортили настроения, наоборот, молодежь с радостью выслушала их: ей надоело сидеть сложа руки дома, а война открывала им путь к славе, заслугам и даже к богатству.

Выслушав слова райгородского старосты, Матвей Букоемский ударил себя ладонью по колену так, что эхо раздалось по всей комнате, и сказал:

– Половину Азии и еще кого-то? Ого! Будто нам в первый раз!

– Конечно, не в первый, правильно говорите! – отвечал хозяин, обыкновенно угрюмое лицо которого озарилось мимолетной радостью. – Если это уже решенный вопрос, то, верно, скоро последует и письменное распоряжение и начнут стягивать войска. Дай-то Бог! Дай Бог, как можно скорее! Старый Девенткевич сражался под Хотинном хоть он и слеп на оба глаза. Сыновья направляли ему копье на врага, и он бил янычаров не хуже других. Но у меня нет сына!

– Да, брат! Уж если кто имеет право оставаться дома, так это вы, – отвечал староста. – Плохо не иметь сына на войне, хуже не иметь глаз, но еще хуже быть безруким.

– Я обе руки приучил к сабле, – ответил пан Гедеон, – а поводья можно держать и в зубах. Наконец... мне хотелось бы умереть в битве с язычниками... на поле брани... И не потому, что они разрушили счастье моей жизни... Не из личной мести... нет!.. Но вот, откровенно скажу: стар уж я, много видел, много передумал и столько посмотрелся на людскую злобу и корыстолюбие, на неурядицу в нашей Речи Посполитой, на нашу необузданность, на срывание сеймов, на непослушание и всякие бесправия, что не раз с отчаянием спрашивал Господа Бога: зачем, о Господи, Ты сотворил эту нашу Речь Посполитую и народ наш? Но теперь, когда это языческое море поднимается, когда этот скверный дракон открывает пасть, чтобы поглотить весь мир и христианство, когда, как вы говорите, император римский и все земли немецкие дрожат перед этим нашествием, – теперь лишь я понимаю, для чего нас Бог создал и какой долг возложил он на нас. Сами турки говорят об этом. Так пусть же дрожат другие, мы не задрожим, как не дрожали и раньше; пусть льется наша кровь, хоть бы до последней капли и пусть моя соединится с нею. Аминь!

Глаза пана Понговского засверкали. Он сильно взволновался, но слезам не дал скатиться по щекам, может быть, потому, что уже раньше все выплакал, а может быть, и потому, что это был человек твердый, как по отношению к другим, так и к себе самому. Пан Грот обнял его за шею поцеловал в обе щеки и сказал:

– Правда, правда! Много среди нас зла, и только кровью можно искупить его пред лицом Господа. Это служба, это охрана, которую поручил нам Бог, это предназначение нашего народа. И приближается уже время, когда мы представим доказательства этой службы... Да, есть уже известия от турок, что вся их сила обрушится на Вену. Тогда мы пойдем туда и перед лицом всего мира покажем, что мы воины Христовы, созданные для защиты веры и святого креста. Все народы, до сих пор жившие спокойно за нашей спиной, в один прекрасный день увидят, как мы исполняем свою службу, и даст Бог, слава наша и заслуга будут жить до тех пор, пока будет существовать земля.

Слова эти привели молодежь в восторг. Братья Букоемские вскочили со своих мест, громко восклицая:

– Дай Бог! Когда же набор? Дай-то Бог!

А Циприанович сказал:

– Прямо душа рвется! Мы готовы хоть сейчас!

Один только Тачевский молчал, и лицо его не прояснилось. Все эти вести, такой радостью переполнившие сердца всех присутствующих, были для него только источником страдания и горечи. Его мысли и глаза были устремлены на панну Сенинскую, весело хлопотавшую у стола, и говорили ей с упреком и скорбью:

«Если бы не ты, я давно бы пристроился к какому-нибудь двору, и если бы даже не разбогател там, то во всяком случае приобрел бы приличный наряд и коня и теперь мог бы встать под знамена, чтобы добиваться смерти или славы. Твоя красота, твои взгляды, твои добрые слова, которые ты иногда, словно милостыню, бросала мне, заставили меня сидеть на этих нескольких акрах земли и чуть не умирать с голоду. И света я не узнал из-за тебя и образования не получил. Чем я провинился перед тобой, что ты заполонила меня всего, с душой и телом?.. Теперь я предпочел бы умереть, чем не видеть тебя целый год. Я лишился последнего коня, торопясь тебе на помощь, а ты только смеешься и ласково глядишь на другого... Что ж мне теперь

делать? Начинается война. Неужели мне поступить в услужение или унизиться до пехоты? Что я тебе сделал, что ты никогда не имела жалости ко мне?»

Так размышлял Яцек Тачевский, который сильнее чувствовал свое несчастье потому, что происходил от знатного рыцарского рода, но был очень беден. И хотя это было неверно, что панна Сенинская безжалостна к нему, но зато верно было, что из-за нее он не трогался с места и сидел, словно на выгоне, с двумя крестьянами, не имея часто возможности удовлетворить даже самые насущные потребности. Ему было семнадцать лет, а ей тринадцать, когда он без памяти влюбился в нее и продолжал любить уже пять лет, с каждым годом все сильнее и с каждым годом печальнее, ибо любовь его была безнадежна. Пан Понговский сначала охотно принимал его как потомка знатного рода, которому раньше принадлежали в той стороне целые уезды; но потом, поняв, в чем дело, стал строг, а иногда и просто жесток с ним. Правда, он не запирали перед ним дверей своего дома, но держал его подальше от девушки, лелея для нее совершенно другие надежды и виды.

А девушка испытывала на нем свою силу и играла его любовью, как девочка играет цветами на лугу. То наклонится над одним, то сорвет другой, то вплетет его в косу, то бросит и забудет, то снова вернется искать новых.

Тачевский никогда не говорил ей о своей любви, но она прекрасно знала о ней, хотя и притворялась, что не знает и вообще не хочет знать ни о чем, что с ним происходит. И издевалась над ним, как ей только нравилось. Однажды, когда на нее напал рой пчел, она спряталась под его кафтан и прижалась к его груди, но потом целых два дня не хотела простить ему этого. Моментами девушка обращалась с ним прямо презрительно, а когда ему казалось, что все уже потеряно, она умела одним нежным взглядом, одним теплым словом переполнить его сердце невыразимой радостью и надеждой. Когда из-за каких-нибудь празднеств, именин или охоты у соседей Тачевский несколько дней не появлялся в Белчончке, она сильно тосковала по нему, но когда он приходил, мстила ему за свою тоску и долго мучила его. Но самые ужасные минуты переживал он, когда в доме были гости, а между ними какой-нибудь молодой человек, красивый и знатный. Тогда Яцек Тачевский думал, что в ее сердце нет даже и простой жалости. Так думал он и теперь, глядя на Циприановича, а рассказы Грота о войне только подливали горечи в уже и так переполненный кубок его мыслей.

Тачевский привык уже владеть собой в доме Понговского, однако за ужином он едва мог усидеть, прислушиваясь к разговору девушки со Станиславом Циприановичем. Несчастный заметил, что тот ей действительно нравится, так как он был любезным, милым и далеко не глупым малым.

Разговор все время вращался вокруг будущего набора. Узнав от Грота, что он сам будет, вероятно, производить набор в этой местности, Циприанович повернулся вдруг к девушке и спросил:

– Вы какой полк предпочитаете?

А девушка искоса взглянула на него и ответила:

– Гусарский.

– Из-за крыльев?

– Да. Однажды я видела гусаров и подумала, что это какое-то небесное войско.

Потом они снились мне две ночи подряд.

– Не знаю, приснюсь ли я вам, если стану гусаром, но что вы не раз приснитесь мне, в этом я уверен, – и тоже с крыльями.

– Почему так?

– Как ангел.

Панна Сенинская опустила глаза, и тень от ресниц упала на ее розовые щечки. Помолчав, она произнесла:

– Станьте гусаром.

Тачевский стиснул зубы и провел рукой по вспотевшему лбу, но за ужином он не дождался от нее ни одного слова, ни взгляда. Только когда все встали уже из-за стола и в комнате раздался шум передвигаемых стульев, над его ухом прозвучал любимый голосок:

– А вы тоже пойдете на войну?

– Только затем, чтобы умереть! – ответил пан Яцек.

И в этом ответе прозвучал такой искренний вопль и боль, что любимый голос отозвался снова, как бы с волнением:

– Зачем печаливать людей?

– Все равно никто по мне не заплачет.

– Откуда вы знаете? – в третий раз прозвучал голос девушки.

Потом она быстро присоединилась к толпе гостей, точно видение промелькнув мимо него, и точно роза расцвела в другом конце комнаты.

Между тем старики уселись после ужина с кубками меда и, наговорившись вдоволь на общественные темы, повели беседу о частных делах. Пан Грот водил некоторое время глазами за панной Сенинской и, наконец, сказал:

– Это тебе не шутка! Посмотрите-ка, брат, на этих молодых людей, как они точно бабочки на огонь летят. Да и не удивительно! Я бы и сам полетел, кабы не года.

Но пан Понговский махнул недовольно рукой.

– Действительно бабочки, только серые.

– Как? Но ведь Тачевский же не серый.

– Но зато бедняк. Букоемские тоже не из простых. Они называют себя родственниками святого Петра, но это может послужить им протекцией на Небе, а пока на земле они все четверо служат в королевской сторожке, как простые лесничие.

Пан Грот удивился родству Букоемских не меньше, чем в свое время пан Понговский,

и начал подробно расспрашивать о них, пока, наконец, не рассмеялся, говоря:

– Святой Петр – великий апостол и я не хочу непочтительно отзываться о нем, тем более, что, будучи стариком, я скоро буду нуждаться в его покровительстве. Но, говоря между нами, как происхождение... ну, одним словом, тут нечем особенно хвастаться... Он был рыбак и больше ничего... Святой Иосиф, который ведет свой род от Давида – да! Вот тут есть о чем поговорить.

– Я и говорю, что здесь нет никого достойного этой девушки, и не только среди тех, кого вы видите теперь под моей кровлей, но и во всей округе.

– А вон тот, что сидит возле пани Винницкой?.. Похоже, вежливый кавалер.

– Циприанович? Да! Вежливый-то он, вежливый, да только род их армянский, только в третьем или четвертом поколении ставший благородным.

– Так зачем же вы их приглашаете? Купидон хитер и не успеешь оглянуться, как они тут кашу заварят.

Пан Понговский, еще при представлении молодых людей упоминавший, чем он им обязан, еще раз подробно рассказал о нападении волков и об их помощи, благодаря которой он уж из одной благодарности должен был пригласить своих спасителей к себе в дом.

– Правда, правда, – подтвердил пан Грот, – но амур все-таки может наварить тут каши, ведь и в девушке кровь, а не вода.

– Это увертливая лисичка, – отвечал пан Понговский. – Укусить – это она, может, и любит, а сама проскользнет между пальцами, и не всякий ее поймает. Такая уж у нее врожденная добродетель благородной крови, что не поддаваться, а управлять и властвовать любит. Я не принадлежу к таким, которых легко водить за нос, а между тем и я ей не раз уступал. Правда, я многим обязан Сенинским, но если бы даже и не был обязан, то когда она станет передо мной, да начнет косу с плеча на плечо перекидывать, да головку склонит, да глазки состроит, так ей все сделаешь, что она хочет. Я даже часто думаю, какая это честь и какое благословение Божие, что последний ребенок, последний отпрыск такого знатного рода находится под моей кровлей... Ведь вы же знаете о Сенинских... Вся Подолия принадлежала им. Правду сказать, ведь и Даниловичи, и Жулкевские, и Собеские вышли из них... Его величество король должен помнить об этом, тем более что от всех этих неисчислимых владений почти ничего не осталось и, если девушка что-нибудь и получит, то только то, что останется после меня...

– А что скажут родственники?

– Есть у меня только очень дальние родственники, которые не сумеют доказать своего родства. Но все-таки меня часто беспокоит мысль, что после моей смерти, могут быть какие-нибудь затруднения, процессы, ссоры... Ведь у нас всегда так. Больше всего меня беспокоят родственники со стороны жены, после которой у меня осталась часть ее владений, в том числе и вот эта Белчончка.

– Я, во всяком случае, с процессом не выступлю, – улыбаясь, отвечал пан Грот, – но за остальных не ручаюсь.

– Вот в том-то и дело... Я думал даже съездить в Варшаву и попросить самого короля

о покровительстве для сироты на будущее время, но у него голова теперь занята другими делами.

– Вот если бы у вас был сын, было бы очень просто: выдать за него девушку...

Но Понговский таким горестным взглядом окинул райгородского старосту, что тот на половине прервал свою речь. Долгое время оба молчали. Потом пан Гедеон заговорил прерывающимся от волнения голосом:

– Да... Это было бы очень хорошо... И скажу вам, что, если бы не эта простая вещь, меня, может быть, давно уже не было бы на свете. Мой сын еще ребенком был захвачен татарской ордой. Случалось иногда, что люди возвращались из языческого плена, когда о них уж и память пропала... Целые годы ждал я чуда, целые годы жил этой надеждой. Даже и теперь, когда выпью лишнее, думаю иногда: а вдруг – да? Бог выше наших человеческих ожиданий. Но эти моменты надежды коротки, а боль сердца продолжительна и непрерывна... Нет! Зачем мне обманывать самого себя? Не соединится моя кровь с кровью Сенинских, а если родственники мои растащат мое имущество, то и это последнее дитя того рода, которому я всем обязан, останется без куска хлеба.

Некоторое время оба пили молча. Пан Грот думал о том, как бы смягчить боль, которую он невольно причинил хозяину, и чем бы его утешить в его горе. Наконец ему пришла в голову мысль, которая показалась ему очень счастливой.

– Э, – проговорил он, – на все есть средство. И вы, братец, можете безо всяких препятствий предоставить девушке кусок хлеба.

– Какое же это средство? – с видимым беспокойством спросил пан Понговский.

– Разве не случается, что старые люди женятся даже на подростках. Примером из истории служит великий гетман Конештольский, который, будучи еще старше вас, женился на совсем молоденькой девушке. Правда, что он умер в первую же ночь после свадьбы, но не умерли же ни пан Маковский, ни пан ловчий Рудницкий, хотя обоим было по семидесяти лет... Вы тоже человек еще крепкий... Если бы Господь Бог еще благословил этот брак потомством, то тем лучше, если же нет, то вы оставите молодую вдову в полном покое и достатке, и она еще сможет выбрать себе мужа, какого захочет.

Трудно сказать, не приходили ли подобные мысли и раньше пану Понговскому в голову, но во всяком случае, выслушав слова райгородского старосты, он сильно смутился, налил слегка дрожащей рукой меду старосте, причем перелил через край, так что благородный напиток полился со стола на пол, и сказал:

– Выпьем!.. За успехи христианского оружия.

– Это само собой, – отвечал пан Грот, следуя за течением своих мыслей, – а вы в свою очередь подумайте о том, что я вам сказал, потому что мне кажется, что я попал верно.

– Ну что вы! Где там! Выпьемте-ка еще!

Дальнейший разговор был прерван передвиганием стульев у большого стола. Пани Винницкая и панна Сенинская пожелали отправиться на покой. Звучный, как серебряный колокольчик, голос девушки начал повторять: «Спокойной ночи,

спокойной ночи»; потом она сделала изящный реверанс перед Гротом, поцеловала руку пана Понговского, словно котенок, потерлась лбом и носиком о его плечо и вышла. Циприанович, Букоемские и Тачевский вышли вслед за дамами. В комнате остались только два старика и беседовали долго, ибо пан Понговский приказал подать новую баклагу лучшего меда.

II

Была ли это простая случайность или проделка девушки, неизвестно, но только в большой комнате флигеля были помещены четыре брата Букоемские, а Циприанович вместе с Тачевским в другой, поменьше. Это обстоятельство сильно смутило обоих, и чтобы не нужно было разговаривать, они сейчас же начали читать молитвы и читали их дольше обыкновенного. Однако, когда молитвы были окончены, в комнате воцарилось неловкое молчание, которое тяготило обоих. Хотя они и не питали друг к другу дружеских чувств, оба понимали, что этого не нужно обнаруживать и что до поры до времени, особенно в доме пана Понговского, следует вести политику.

Тачевский отстегнул саблю, вынул ее из ножен, посмотрел на острие при свете камина и начал протирать ее платком.

– После мороза, – проговорил он не то самому себе, не то Циприановичу, – она запотеет в теплой комнате, ржавчина и готова.

– А в прошлую ночь она, должно быть, здорово промерзла, – ответил Циприанович.

Он сказал это безо всякой задней мысли, просто потому, что вспомнил, что Тачевский, действительно, провел предыдущую ночь на трескучем морозе. Но тот сейчас же уперся концом сабли в пол и быстро взглянул ему в глаза.

– Вы намекаете на то, что я сидел на сосне?

– Да, – просто отвечал Станислав, – ведь там у вас печки не было.

– А что бы вы сделали на моем месте?

Циприанович хотел уже ответить: «То же самое», но так как вопрос был задан резким тоном, то он возразил:

– К чему я стану ломать себе над этим голову, когда меня там не было.

Гнев мелькнул на лице пана Яцека. Чтобы сдержать себя, он начал дуть на саблю и протирать ее еще сильнее. Наконец, всунув ее обратное ножны, он произнес:

– Бог ниспосылает приключения и опасности.

И его заблестевшие было глаза снова подернулись обычной грустью, так как он вспомнил о своем единственном друге, лошади, которую зарезали волки.

Между тем двери открылись, и в комнату вошли с улицы четверо братьев Букоемских.

– Мороз полегчал, и снега задымились, – произнес Матвей.

– Будет туман, – прибавил Ян.

И вдруг братья увидели Тачевского, которого в первый момент не заметили.

– О! – воскликнул Лука, обращаясь к Циприановичу, – это ты в такой компании?

Все четверо уперлись руками в боки и вызывающе уставились на пана Яцека.

А тот схватил стул и, выдвинув его на середину избы, повернул его быстрым движением спинкой к Букоемским, потом уселся на него верхом, оперся локтями о спинку, поднял голову и ответил им тем же вызывающим взглядом.

Так смотрели они друг на друга: он, с широко расставленными ногами, в шведских сапогах, они, стоя плечом к плечу, огромные, грозные, вызывающие.

Циприанович видел, что затевается ссора, но в то же время ему хотелось смеяться. Надеюсь, кроме того, что в любой момент он сумеет предотвратить столкновение, он позволил им смотреть так друг на друга.

«Э! Нахальная, однако, бестия! – подумал он о Тачевском. – Ни капельки даже не конфузится».

Между тем молчание продолжалось, одновременно смешное и невыносимое. Почувствовал это и пан Яцек, ибо прервал его первый.

– Садитесь, господа, – предложил он, – я не только позволяю вам, но и прошу.

Букоемские изумленно переглянулись, смущенные неожиданным оборотом.

– Как? Что же это? Что он о себе думает?..

– Пожалуйста, пожалуйста! – повторил Тачевский, указывая на скамейку.

– Мы стоим потому, что нам так нравится, понимаешь?

– Слишком много церемонии.

– Какой церемонии? – воскликнул Ян. – Ты что же это, епископа или сенатора какого изображаешь, ты... ты Помпеи этакий...

Тачевский не тронулся с места, только спина его затряслась, точно от внезапного смеха.

– А почему ты, сударь мой, называешь меня Помпеем? – спросил он.

– Потому что ты этого заслужил.

– А может быть, потому что ты дурак?

– Бей, кто в Бога верует! – завопил Ян.

Но пану Тачевскому тоже, по-видимому, надоел этот разговор. Словно что-то подняло его моментально с места, и он, точно кот, прыгнул к Букоемским.

– Слушайте вы, тунеядцы! – холодным, как сталь, голосом произнес он. – Чего вы хотите от меня?

– Крови! – воскликнул Матвей Букоемский.

– Не вывернешься! – подхватил Марк.

– Выходи сейчас же! – добавил Матвей, хватаясь за саблю.

Но Циприанович быстро встал между ними.

– Не позволю, – воскликнул он. – Это чужой дом!

– Да! – согласился Тачевский. – Это чужой дом, и я не причиню этой неприятности пану Понговскому и не уложу вас под его кровлей. Но завтра я отыщу вас!

– Это мы тебя завтра отыщем! – буркнул Матвей.

– Вы искали, к чему придраться, целый день задевали меня. Почему? Не знаю, ибо я вас не знал, так же, как и вы меня. Но вы заплатите мне за это, ибо за оскорбление я встану не только против четырех, но хоть против десяти.

– Ой-ой-ой. Довольно будет и одного! Сразу видно, что ты о Букоемских не слышал, – воскликнул Ян.

Но Тачевский повернулся внезапно к Циприановичу.

– Я говорил о четырех, – сказал он, – но может быть и вы, сударь, присоединитесь к этим кавалерам?

Циприанович вежливо поклонился.

– Если вы об этом спрашиваете...

– Но мы первые и по старшинству. Мы от этого не отступимся. Мы обещали ее тебе и убьем каждого, кто встанет тебе поперек дороги.

Тачевский быстро взглянул на Букоемских, в один момент догадался, в чем дело, и побледнел.

– Ах, вот как, милостивый государь? – обратился он снова к Циприановичу. – Значит, у вас есть наемные лица, и вы прячетесь за их саблями? Недурно! Это, конечно, и вернее и безопаснее, но благородно ли и по-рыцарски ли, это другой вопрос! Тьфу! В какой же я очутился компании!

Хотя по природе Циприанович обладал мягким нравом, но, услышав столь оскорбительное обвинение, он густо покраснел, жилы выступили у него на лбу, глаза заметали молнии и, заскрежетав зубами, он схватился за рукоятку сабли.

– Выходи! Выходи сию же минуту! – воскликнул он сдавленным от гнева голосом.

Заблестели сабли, и в комнате стало светло от стали, на которую падал отблеск пылающей лучины. Но три брата Букоемские подскочили к противникам и стали стеной между ними, а четвертый схватил за плечи Циприановича и начал кричать:

– Сташка! Ради бога, успокойся! Мы сначала!

– Мы сначала! – повторили остальные.

– Пусти! – сквозь зубы процедил Циприанович.

– Мы прежде!

– Пусти!..

– Держите Стаха, а я тем временем справлюсь, – кричал Матвей.

И, схватив Тачевского за руку, он начал тянуть его в сторону, чтобы начать сейчас же. Но тот уже успокоился и, вложив саблю в ножны, сказал:

– Моя воля, кто раньше и когда! Говорю вам: завтра и не здесь, а в Выромбках.

– Э, не увернешься. Сейчас! сейчас!

Но Тачевский скрестил руки на груди.

– Что ж! Если вы хотите убить меня без битвы под чужой кровлей, тогда ладно.

Эти слова привели братьев в бешенство. Они начали стучать каблуками по полу, дергать усы и сопеть, как медведи.

Но ни один уже не решался броситься на Тачевского, чтобы не опозорить себя.

А тот постоял еще некоторое время, как бы ожидая, не нападут ли на него, наконец, схватил шапку, нахлобучил ее на голову и сказал:

– Итак, я говорю вам: завтра! Пану Понговскому скажите, что едете ко мне в гости, и спрашивайте о дороге в Выромбки. За ручьем будет распятие, поставленное во время эпидемии. Там я буду ждать вас около полудня... Чтоб вам пусто было!

Последние слова он проговорил как будто с некоторым сожалением, отворил дверь и вышел.

На дворе его окружили собаки и, хорошо зная его, начали ласкаться к нему. Он машинально взглянул на столбики под окнами, словно ища своего коня; но, вспомнив, что его уже нет на свете, вздохнул. Почувствовав холодное дыхание ветра, он подумал:

«Бедняку и ветер дует прямо в глаза! Пойду пешком!..»

А тем временем молодой Циприанович ломал себе руки от боли и гнева и с горечью говорил Букоемским:

– Кто вас только просил? Самый злейший враг не повредил бы мне больше, чем вы с вашей услугой.

А они глубоко жалели его и один за другим начали обнимать товарища.

– Сташенька! – говорил Матвей. – Нам прислали на ночь баклажку вина. Успокойся, ради Бога!..

III

Было еще почти совсем темно, когда ксендз Войновский шел по глубокому снегу с фонарем в руках к своим зайцам, голубям и куропаткам, которых он держал в амбаре за особой перегородкой. Ручная лисичка с колокольчиком на шее шла за ним по следам; а рядом с нею плелись собачка и еж, которого не усыпила зима в теплой ксендзовой комнате. Пройдя не торопясь двор, эта четверка остановилась под соломенным навесом амбара, с которого свешивались длинные ледяные сосульки. Закачался фонарь, заскрипел ключ в замке, щелкнула скобка от двери, дверь заскрипела еще сильнее ключа, и старик вместе с животными вошел в амбар. Потом, присев на чурбан, он поставил фонарь на другой и, поместив перед собой холщовый мешок с зернами и с пахнущими погребом листьями капусты, громко зевая, начал бросать их на пол.

Но прежде чем он успел это сделать, из темных углов каморки повылезли три зайца, а затем, при свете фонаря, замелькали, словно бисерные, глазки голубей и рыжеватых куропаток, которые приблизились плотно сбившейся стайкой, кивая головками на гибких шеях. Как более смелые, голуби сейчас же застучали по полу клювиками, но куропатки приближались осторожнее, переводя глаза то на падающее зерно, то на ксендза, то на лисичку, с которой, впрочем, они уже давно освоились, так как пойманные еще летом цыплятами, они выросли здесь и видели ее каждый день.

А ксендз продолжал сыпать зерна, бормоча в то же время утреннюю молитву.

– Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen...[7]

Тут он остановился и обернулся к лисичке, которая, прижимаясь к нему боком, дрожала, как в лихорадке.

– И всегда-то у тебя шкура дрожит, когда их увидишь... Каждый день то же самое... Научись же, наконец, подавлять врожденные инстинкты... Ведь пища у тебя прекрасная и голоду не терпишь. На чем же я остановился?..

Он закрыл глаза, словно ожидая ответа, но так как такового не последовало, он начал снова:

– Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum...

И снова остановился.

– Все извиваешься, извиваешься, – проговорил он, кладя руку на спину лисицы. – Такая уж у тебя скверная натура, что тебе не только есть, но и убивать нужно. Схвати-ка ее, Филя, за хвост, а если она сделает у тебя под носом что-нибудь неприятное, то укуси ее... Adveniat regnum Tuum...[8] Ах ты, такая-сякая! Знаю, что ты ответила бы мне, что, мол, и человек libenter perdices manducat[9]; но знай, что человек хоть потом дает им покой, а в тебе, видно, сидит душа нечестивого Лютера, ибо ты и в Великую пятницу готова есть мясо. Fiat voluntas Tua... Трусь, трусь, трусь, sicut in coelo... вот вам еще по кочерыжке!.. et in terra...[10]

Говоря так, он бросал капусту и сыпал зерно, слегка ворча на голубей, что хотя весна еще далеко, а они уже что-то слишком похаживают друг возле друга и воркуют. Наконец, когда мешок совершенно опустел, он встал, взял в руки фонарь и

хотел уже выйти, как вдруг на пороге амбара показался Тачевский.

– А, Яцек! – воскликнул ксендз. – Что это ты тут так рано делаешь? Тачевский поцеловал его в плечо и ответил:

– Приехал исповедаться и приобщиться святых тайн за ранней обедней.

– Исповедаться? Хорошо, но что же тебе так приспичило? Говори скорее, уж вижу, что не без причины!

– Скажу вам откровенно. Сегодня мне предстоит поединок, а так как с пятью лицами труднее справиться, чем с одним, вот я и хотел бы очистить душу.

– С пятью лицами? О Господи! Да что же ты им сделал?

– В том-то и дело, что ничего. Они сами искали ссоры и сами меня вызвали.

– Кто же это такие?

– Лесничие Букоемские и Циприанович из Едлинки.

– А, я их знаю. Ну, пойдем в дом, там мне все расскажешь.

И они вышли. Но посередине двора ксендз Войновский внезапно остановился, быстро заглянул в глаза Тачевскому и спросил:

– Слушай, Яцек, здесь замешана женщина? А тот печально улыбнулся.

– И да и нет, – проговорил он. – В сущности, дело загорелось из-за нее, но она здесь не виновата.

– Ага! Не виновата! Они все не виноваты! А знаешь ли ты, что говорит Екклесиаст о женщинах?

– Не помню, ваше преподобие.

– И я не совсем помню, но чего не вспомню, то прочту тебе дома: «*Juveni, –* говорит он, – *amariorem morte mulierem, quae laqueus venatorum est et sagena cor ejus*»[11]. Потом он еще что-то там говорит и заканчивает так: «*Qui placet Deo, effugiet illam, qui autem peccator est, capietur, –* говорит он, – *ab illa*»[12]. Я предостерегал тебя не раз и не десять раз, чтобы ты не бывал в этом доме – и вот дождался.

– Ох! Легче предостерегать, чем не бывать, – со вздохом отвечал Тачевский.

– Ничего ты там хорошего не добьешься.

– Наверное, – тихо ответил молодой рыцарь.

Они молча зашагали к приходскому дому. Лицо ксендза было опечалено, так как он всей душой любил Яцека. Когда после смерти отца, умершего от эпидемии, юноша остался один-одинешенек на свете, без родных, без средств, с несколькими крестьянами в Выромбках, старик окружил его трогательной опекой. Состояния он ему дать не мог, ибо, обладая ангельски добрым сердцем, раздавал бедным все, что

ему приносил убогий приход. Однако он тайно помогал ему, а кроме того, заботился о нем, учил его не только грамоте, но и рыцарскому искусству. В свое время он сам был воином по призванию, одним из друзей и сподвижников знаменитого Володыевского, служил у Чарнецкого, участвовал в шведской войне и лишь по ее окончании, благодаря случившемуся с ним ужасному приключению, надел на себя священническое одеяние. Полюбив Яцека, он ценил в нем не только потомка знаменитого рыцарского рода, но и благородную, печальную душу, какой была и его собственная. Поэтому он скорбел и над его ужасной бедностью, и над его несчастной любовью, по милости которой молодой человек, вместо того чтобы искать славы и хлеба по белу свету, прозябал в покосившейся избушке, ведя почти мужицкий образ жизни. Из-за этого он чувствовал неприязнь ко всему дому в Белчончке, ставя в укор пану Гедеону Понговскому то, что тот был слишком строг с крестьянами.

А он любил этих «земляных червяков», как самого себя, но и кроме них любил все, что живет на свете: и животных, на которых ворчал, и птиц, и рыб, и даже жаб, которые квакают и прыгают летом в пригретых летним солнцем водах.

Но в этой духовной одежде ходил не только ангел, но и старый солдат; поэтому, узнав, что Яцек должен драться сразу с пятью лицами, он думал только о том, как поведет себя молодой человек и выйдет ли целым из этой борьбы.

Остановившись у самых дверей дома, ксендз произнес:

– Но ведь ты им не поддашься? Все, что я сам знал и что мне показал Володыевский, я не скрыл от тебя.

– Я не хотел бы, чтобы смерть постигла меня, – скромно ответил Тачевский, – ибо начинается большая война с турками.

При этих словах глаза старика засияли, как звезды. Схватив Яцека за петлицу кафтана, он быстро заговорил:

– Слава тебе, Господи! Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?

– Пан староста Грот, – отвечал молодой человек.

Долго тянулся разговор Яцека с ксендзом, долго продолжалась исповедь перед обедней, и когда, наконец, они очутились после обедни дома и засели за обед, мысль о войне с турками не выходила из головы старика. Он начал жаловаться на испорченность нравов и на упадок благочестия в Речи Посполитой.

– Боже мой, – говорил он, – ведь теперь поле славы и спасения открыто для всех. А вы предпочитаете заниматься частными делами и рубить друг друга. Имея возможность пролить кровь в защиту креста и веры, вы готовитесь проливать братскую кровь. И ради кого? Ради чего? Из-за частных обид или из-за женщин и тому подобных пустяков мира сего. Знаю, что это старинный обычай Речи Посполитой, и – *теа сулра*[13] – я и сам во времена моей грешной, суетной молодости подчинялся ему. На зимних стоянках, когда войско занято бездельем и пьянством, не проходит и дня без поединка, но ведь и костел их запрещает, и закон карает. Это и всегда грешно, а перед турецкой войной в особенности, ибо там нужна будет каждая сабля и каждая послужит истинной вере и истинному Богу. Поэтому и король наш, настоящий *defensor fidei*[14], ненавидит поединки, а перед лицом неприятеля, в поле, когда господствует военное положение, даже строго

карает за них.

– Да ведь и король в молодости не раз и не два выходил на поединок, – отвечал Тачевский. – Да и, наконец, что же делать, преподобный отец? Ведь не я вызвал, а меня вызвали. Ну, да Бог будет за невинных!

Тачевский начал прощаться, так как до полудня оставалось не больше двух часов, а дорога ему предстояла немалая.

– Подожди, – сказал ксендз Войновский. – Ведь я не отпущу тебя так. Сейчас прикажу работнику выстелить сани соломой и подъехать к месту битвы. Ведь если у Понговского ничего не знают о поединке, то и помощи не пришлют, а что же будет, если кто-нибудь из них или ты сам будешь ранен. Ты не подумал об этом?

– Нет, не подумал, да и те, вероятно, не подумают.

– Вот видишь! Я и сам поеду, но присутствовать не буду, а остановлюсь у тебя в Выромбках. Святое причастие и мальчика с колокольчиком тоже захвачу с собой. Кто знает, что может случиться. Не подобает духовному лицу быть свидетелем подобных вещей, а не то я бы охотно был там с вами, хотя бы для того, чтобы придать тебе духу.

Тачевский взглянул на него своими нежными, как у девушки, глазами.

– Бог вознаградит вас! Но я не потеряю присутствия духа, и если даже придется сложить голову, то...

– Лучше уж молчал бы, – прервал его ксендз. – Разве тебе не жаль не пойти на турок и не умереть более славной смертью?

– Конечно, преподобный отец, и я постараюсь, чтобы эти людоеды не проглотили меня.

Но ксендз Войновский задумался и, наконец, сказал:

– Ну, а если бы я поехал на место поединка и объяснил им, какая награда может ожидать их на Небе, если бы они погибли от руки неверных, может быть, они и оставили бы тебя в покое?

– Сохрани Бог! – живо воскликнул Яцек. – Они подумали бы, что это я научил вас. Сохрани Бог! Лучше я сейчас же поеду, чем выслушивать такие вещи.

– Ну! Нечего делать! Едем!.. – ответил ксендз.

И, кликнув работника, он приказал ему как можно скорее запрягать сани, потом они оба с Тачевским вышли из приходского дома, чтобы самим помочь запрягать.

Но, увидев на дворе коня, на котором приехал пан Яцек, ксендз с изумлением отступил и воскликнул:

– Во имя Отца и Сына! Откуда же ты взял такую клячу?

И действительно, у плетня стояла с понуренной, обросшей длинными волосами, головой ощетилившаяся клячка, ростом немного больше обыкновенной козы.

– Одолжил у крестьянина, – ответил Тачевский. – Славно бы на турецкую войну ехать...

И он засмеялся болезненным, натянутым смехом.

– Неважно, на каком поедешь, – отвечал ксендз, – лишь бы только вернулся на турецком, чего тебе от души желаю. А пока что переложи седло на мою лошадь, ибо так нельзя явиться перед этой шляхтой.

Потом, приладив все, что надо, они тронулись в путь: ксендз, костельный мальчик с колокольчиком и возница на санях, а Тачевский верхом.

День был пасмурный и туманный, так как настала оттепель. Снег покрывал замерзшую землю, но сверху он так размок, что копыта лошадей бесшумно погружались в него, а полозья тихо скользили по ровной дороге.

Проехав Едльню, они встретили несколько возов с дровами, а возле них идущих пешком крестьян, которые при звуках колокольчика становились на колени, думая, что ксендз едет со святыми дарами к умирающему. Потом потянулись поля, окутанные туманом, пустые и белые, над которыми кружились стаи ворон. По мере приближения к лесу, мгла постепенно сгущалась и, расстилаясь понизу, наполняла пространство, медленно поднимаясь все выше и выше, так что вскоре путники могли только слышать над собой карканье ворон, но совершенно не видели птиц. Придорожные кусты казались какими-то духами. Свет утратил обычную реальность и превратился в какую-то обманчивую, непонятную страну с неясными, колеблющимися очертаниями и неведомой далью.

Яцек ехал по мягкому снегу, размышляя об ожидающем его поединке, а еще больше о панне Сенинской, и так говорил ей в душе:

«Любовь моя к тебе всегда одинакова, но от нее нет никакой радости в моем сердце! Эх, правду сказать, я и раньше не имел ее. А теперь, если бы я хоть мог обнять твои ноги, или услышать от тебя доброе слово, или, по крайней мере, знать, что ты пожалеешь, если со мной случится несчастье, но все это, как в тумане... И ты сама, словно в тумане, и не знаю, что есть, что будет, и что ожидает меня, и что случится – ничего не знаю».

И Тачевский почувствовал, что великая печаль садится на его сердце, как туман оседал на его одежде. Он глубоко вздохнул и произнес:

– Я бы уж хотел, чтобы все это кончилось.

А ксендзом Войновским тоже овладели невеселые мысли.

«Настрадался мальчик, – думал он, – молодости не знал, намучился из-за этих несчастных „амуров“, а теперь что? Еще того гляди эти забияки Букоемские зарубят его. Недавно в Козеницах они искрошили после богомолья пана Кошибского... А если они даже и не изрубят моего Яцека, то все же ничего хорошего из этого не выйдет. Боже мой! Этот парень ведь чистое золото и последний потомок великого рыцарского рода, последняя живая капля крови... Если бы он хоть теперь приготовился... Единственная надежда на Бога, что он не забудет этих двух ударов – один обманчивый в упор, с движением в сторону, другой – в виде мельницы по лицу...»

– Яцек!

Но Яцек не слышал, так как он отъехал вперед, а старик не повторил зова. Наоборот, он сильно смутился, подумав, что духовному лицу, едущему со Святыми дарами, не подобает размышлять о таких вещах. Старик начал сокрушаться и просить прощения у Бога.

Но на душе его становилось все тяжелее. Им овладело вдруг злое предчувствие, перешедшее постепенно в уверенность, что этот странный поединок без свидетелей кончится для Яцека очень дурно.

Между тем они подъехали к поперечной дороге, которая вправо вела на Выромбки, а влево – на Белчончку. Возница, согласно приказанию, остановился. Тачевский подъехал к саням и соскочил с лошади.

– Пойду пешком к кресту, – произнес он, – потому что, пока сани вашего преподобия отвезут вас ко мне и вернуться опять сюда, я не знал бы, куда девать мне лошадь. Они, вероятно, уже там.

– Еще полудня нет, но уже скоро будет, – слегка изменившимся голосом ответил ксендз. – А какой туман! Вам придется биться ощупью.

– Э, достаточно видно!

Карканье невидимых ворон снова раздалось над их головами.

– Яцек! – проговорил ксендз.

– Слушаю.

– Раз уж это неизбежно, то помни о рыцарях из Тачева.

– Я не посрамлю их, отец, нет!

Старик заметил, что черты лица Тачевского точно окаменели, а глаза хотя и не потеряли своего печального выражения, но и не имели в себе обычной девичьей нежности.

– Это хорошо, – проговорил он, – но встань на колени, и я благословлю тебя, и сам ты перекрестись перед началом.

С этими словами он изобразил пальцами знак креста на голове Яцека, который стал на колени на снегу.

Затем, привязав лошадь рядом со своей клячонкой к саням, он поцеловал руку ксендза и пошел в сторону Белчончки.

– Возвращайся здоровым! – крикнул вслед ему ксендз.

У креста еще никого не было. Тачевский обошел несколько раз вокруг распятия, потом присел на камень у его подножия и стал ждать.

Кругом царила гробовая тишина. Только огромные, похожие на слезы, капли, образовавшиеся от сгустившегося тумана, падали с креста, с тихим стуком ударяясь

о мягкий снег. Эта тишина, преисполненная какой-то грусти, и эта туманная пустыня новой волной горечи переполнили сердце Яцека. Он почувствовал себя таким одиноким, как еще никогда раньше.

– Один я, как кол, на всем свете, – сказал он про себя, – и такова будет моя доля до самой смерти. – И махнул рукой. – Так уж пусть лучше все сразу кончится!

И он с возрастающей горечью думал, что противники не торопятся, потому что им веселее, потому что они сидят теперь в Белчончке и разговаривают с «нею» и могут вдоволь насмотреться на «нее».

Но он ошибался, ибо и они торопились. Через мгновение до него долетел шум громкого разговора и в белесоватом тумане обрисовались четыре огромных силуэта братьев Букоемских и пятый, поменьше, Циприановича.

Они говорили так громко потому, что спорили о том, кто первый должен сражаться с Тачевским. Впрочем, Букоемские всегда из-за каждого пустяка ссорились между собой, но на этот раз спор шел с Циприановичем, который доказывал, что, будучи сильнее других оскорблен, он должен сражаться раньше их. Только увидев крест и стоявшего под ним пана Яцека, они замолчали и сняли шапки, неизвестно, из уважения ли к распятию, или приветствуя своего противника.

Тачевский молча поклонился им и вынул саблю, но в первый момент сердце его тревожно забило в груди, ибо их было все-таки пятеро против одного, а кроме того, Букоемские выглядели прямо страшно. Это были огромные, коренастые парни, с усами, точно метлы, на которых осела седая роса, и нахмуренными бровями. На лицах их отражалась какая-то мрачная разбойничья радость, точно они радовались возможности пролить человеческую кровь.

«Зачем я, невинный, должен страдать?» – подумал Янек.

Но после минутного беспокойства им овладело возмущение этими пьяницами, которых он почти не знал и которым не причинил никакого зла, но которые бог весть почему привязались к нему и теперь посягают на его жизнь.

И в душе он обратился к ним со следующими словами:

«Погодите же, проходимцы! Вы принесли сюда и свои головы!»

И щеки его зарделись румянцем, а зубы стиснулись от гнева.

Тем временем они начали снимать с себя епанчи и засучивать рукава от жупанов. Они делали это все сразу, ибо каждый думал, что начнет именно он. Наконец они выстроились в ряд с обнаженными саблями, а Тачевский, приблизившись к ним, тоже остановился, и они молча смотрели друг на друга.

Молчание прервал Циприанович:

– Я первый к вашим услугам.

– Нет! Я первый! Я первый! – повторили хором Букоемские.

А когда Циприанович выступил вперед, они все сразу схватили его за локти. Снова началась ссора, во время которой Циприанович назвал их гайдамаками, а они его –

волокистой, и друг друга – бездельниками. Пан Яцек был сильно огорчен этой ссорой и сказал:

– Таких людей я еще не видал в своей жизни. – И он вложил саблю в ножны. – Выбирайте, или я уйду! – повысив голос, твердо произнес он.

– Выбирай сам! – воскликнул Циприанович в надежде, что выбор упадет на него.

Матвей Букоемский закричал, что он не позволит, чтобы всякий хлыщ распоряжался ими, и кричал так, что его передние зубы, которые у него были длинные, как у зайца, сверкали из-под усов. Но он моментально умолк, когда Тачевский, снова вынув саблю, указал ею на него и сказал:

– Вас выбираю.

Остальные братья вместе с Циприановичем тотчас отошли, видя, что иначе они не добьются толку. Только лица их опечалились, ибо, зная силу Матвея, они были почти уверены, что после него им ничего не останется делать.

– Начинайте! – сказал Циприанович.

Тачевский тоже почувствовал силу противника при первом же скрещении сабель, потому что сабля задрожала в его руке. Но он отбил первый удар, отбил второй, а после третьего подумал:

«Не так он ловок, как силен».

И, слегка присев, чтобы сделать прыжок, он начал наступать с жаром.

Остальные братья, опустив концы своих сабель книзу, с открытыми ртами следили за ходом борьбы. Они поняли, что и Тачевский «знает свое дело» и что с ним будет не так легко справиться. Еще через минуту они подумали, что он знает даже слишком хорошо дело, и начали беспокоиться, ибо, несмотря на постоянные ссоры, они чрезвычайно любили друг друга. То тот, то другой вскрикивал при каждом более сильном ударе противника. А удары эти становились все чаще и чаще. Тачевский приобретал, по-видимому, все больше уверенности в себе. Он был спокоен, но прыгал, как дикая кошка, а из глаз его сыпались зловещие искры.

«Скверно», – подумал Циприанович.

В этот самый момент раздался крик; сабля Матвея повисла, а он поднял обе руки к лицу, в один момент обагрившемуся кровью, и грохнулся на землю.

При виде этого младшие братья заревели, точно быки, и в одно мгновение ока с бешенством набросились на Яцека; конечно, не с той целью, чтобы напасть на него одновременно втроем, но потому, что каждый хотел первым отомстить за брата.

И они, вероятно, разрубили бы его саблями, если бы не Циприанович, который бросился ему на помощь, крикнув во весь голос:

– Позор! Прочь! Разбойники вы, а не шляхтичи!

И он вступил с ними в рукопашную, пока они не опомнились. Между тем Матвей приподнялся на руках и повернул к ним, точно покрытое красной маской, лицо. Ян

схватил его под мышки и посадил на снег; Лука тоже поспешил ему на помощь.

А Тачевский приблизился к скрежетавшему зубами Марку и быстро заговорил, точно опасаясь, чтобы общее нападение не повторилось снова:

– Пожалуйте! Пожалуйте!

И снова зловеще загremели сабли. Но с Марком, который был настолько же сильнее, насколько и неповоротливее Матвея, Тачевскому было совсем легко справиться. Марк ворочал огромной саблей, точно цепом, благодаря чему Тачевский при третьем же скрещении ткнул его в правую ключицу, разрубил кость и сделал его, таким образом, беспомощным.

Теперь и Лука и Ян поняли, что с ними случился прескверный «казус» и что этот худенький юноша оказался настоящей осой, которую лучше было не раздражать. Но с тем большим азартом вступили они в борьбу с ним, которая окончилась для них одинаково плохо, как и для двух других. Получив шрам через все лицо до десен, Лука так стремительно упал, что разбился еще вдобавок о скрытые под снегом камни. А у Яна, самого ловкого из братьев, сабля моментально упала на землю вместе с отрубленным пальцем.

Не получивший даже легкой царапины Тачевский с удивлением смотрел на дело своих рук, и искры, за минуту перед тем сверкавшие в его зрачках, начали постепенно гаснуть. Он поправил левой рукой шапку, сдвинувшуюся во время борьбы на правое ухо, потом совсем снял ее, глубоко вздохнул, повернулся к кресту и сказал, обращаясь не то к Циприановичу, не то к самому себе:

– Господь свидетель – я не виноват. А Циприанович ответил:

– Теперь моя очередь, но вы устали. Может быть, вы отдохнете, а я тем временем прикрою товарищей епанчами, чтобы они не продрогли, пока не приедет помощь.

– Помощь близко, – ответил Тачевский. – Там, во мгле стоят сани, посланные нам ксендзом Войновским, а сам он сидит у меня. Разрешите мне сходить за санями, на которых им будет удобнее, чем на снегу.

И он отошел, а Циприанович начал прикрывать Букоемских, которые сидели плечом к плечу на снегу, за исключением Яна. Последний, будучи легче всех ранен, стоял на коленях перед Матвеем и, держа правую руку вверх, чтобы не так сильно лилась кровь из отрубленного пальца, левой обмывал снегом лицо брата.

– Как вы себя чувствуете? – спросил Циприанович.

– Да, покусал он нас, собачий сын! – отвечал Лука, сплевывая целую массу крови, – но мы еще отомстим ему.

– Я совсем не владею рукой, он мне кость разрубил, – вставил Марк. – Ой, пес!.. Ой!..

– А Матвей ранен над бровями, – сказал Ян. – Нужно бы залепить рану хлебом с паутиной, а пока я снегом удерживаю кровь.

– Если бы у меня не залило кровью глаза... – отозвался Матвей, – я бы ему...

Но он не мог окончить, так как ослаб от большой потери крови. Его прервал Лука, которого вдруг разобрала злость.

– А хитрый же он, собачий сын! – сказал он. – Сам выглядит, как девушка, а жалит, как змея.

– Этой-то хитрости я и не могу простить ему! – воскликнул Ян.

Но дальнейший разговор был прерван фырканием лошадей. Во мгле показались сани и остановились возле Букоемских. Из саней выскочил Тачевский и приказал вознице сойти.

Мужик взглянул на Букоемских, окинул быстрым взглядом Тачевского и Циприановича и не произнес ни слова, только на лице его отразилось огорчение, и, повернувшись на минуту к лошадям, он перекрестился.

Потом они втроем начали переносить раненых и укладывать их на епанчи. Букоемские сначала протестовали против участия в этой процедуре Яцека, но тот заметил им:

– А если бы вы ранили меня, неужели вы оставили бы меня без помощи? Ведь это просто шляхетская услуга, которую нельзя не оказать и которую нельзя не принять.

И они замолчали, так как он тронул их этими словами, а вскоре все четверо удобно расположились в широких санях на соломе, где им сейчас же стало теплее.

– Куда ехать? – спросил мужик.

– Подожди. Захватишь еще одного, – отвечал Циприанович. И, повернувшись к Яцеку, прибавил:

– Ну, милостивый государь, пора и нам!

Но Тачевский взглянул на него почти дружеским взглядом.

– Эй! Лучше нам отказаться. И то, что случилось, бог знает зачем было нужно, а вы вступились за меня, когда эти господа набросились на меня все сразу. Зачем нам драться?

– Мы должны и будем биться, – холодно ответил Циприанович. – Вы оскорбили меня, да если бы и не оскорбили, то теперь дело идет о моей репутации, – понимаете? Хотя бы это был мой последний час, хотя бы я должен был сложить голову, все равно мы должны драться!

– Что ж! Пусть будет так, но это против моей воли! – ответил Яцек.

И сабли скрестились. Хотя и менее сильный, чем Букоемские, Циприанович был значительно ловчее их. Видно было, что он обучался у лучших учителей и упражнялся не только на ярмарках и в трактирах. Он наступал ловчее, а отбивал лучше и вернее. Тачевский, в сердце которого уже не было ни малейшей вражды и который хотел бы уже ограничиться уроком, данным Букоемским, начал хвалить его.

– С вами это совсем другое дело, – отозвался он. – Не всякий положит вас.

– Жалко, что не вы! – ответил Циприанович.

Он вдвойне обрадовался, во-первых, похвале, а во-вторых, возможности ответить, ибо разговаривать во время поединка позволяли себе только самые опытные фехтовальщики, а вежливый разговор считался при этом за верх утонченности. Все это возвышало Циприановича в его собственных глазах.

И он с новым жаром начал наступать на противника. Но после нескольких скрещений он должен был признать в душе преимущество последнего, Тачевский парировал удары как бы нехотя, но с величайшей легкостью и вообще держался так, точно это был не поединок, а простое упражнение в фехтовальном искусстве. Видимо, ему хотелось убедиться, что умеет Циприанович и насколько он опытнее Букоемских, а узнав все это, он был совершенно уверен в себе.

Понял это и пан Станислав, а потому радость его моментально исчезла, и он начал наступать горячее. Но Тачевский вдруг сделал гримасу, как будто ему надоела эта забава, отразил удар, называемый «ошибочным», налег на противника и через минуту отскочил в сторону.

– Получили, сударь! – сказал он.

Циприанович, действительно, почувствовал как бы холод в плече, но ответил:

– Ничего, ничего! Продолжайте!

И он снова налег, но в тот же самый момент конец сабли Тачевского раскрыл ему нижнюю губу и разрезал кожу на подбородке. Пан Яцек отскочил во второй раз.

– Кровь! – произнес он.

– Ничего!

– Ну, если ничего, то слава Богу! – отвечал Тачевский, – но с меня уже довольно, и я протягиваю вам руку. Вы дрались истинно по-рыцарски.

Циприанович был сильно возбужден. Постояв некоторое время, как бы колеблясь, оставить ли его в покое или продолжать, он, наконец, вложил саблю в ножны и протянул руку.

– Пусть будет так. Правду сказать, я действительно ранен.

С этими словами он коснулся левой рукой подбородка и с удивлением воззрится на кровь, обильно окрасившую ему руку и пальцы.

– Приложите снег к ране, а не то распухнет, – проговорил пан Яцек, – и идемте к саням.

С этими словами он взял его под руку и повел к Букоемским, которые молча смотрели на него несколько изумленным и в то же время осоловелым взглядом. Пан Яцек вызывал в них теперь глубокое уважение не только, как отличный фехтовальщик, но и как рыцарь «великосветских манер», которых у них именно и недоставало.

Только после непродолжительного молчания Матвей обратился к Циприановичу:

– Ну, как ты себя чувствуешь, Стах?

– Отлично. Я мог бы пойти и пешком, но предпочитаю на санях. Так будет скорее.

А Тачевский примостился боком возле него и крикнул вознице:

– В Выромбки!

– Куда? – спросил Циприанович.

– Ко мне. Там вам будет не очень удобно, но ничего не поделаешь. В Белчончке перепугались бы дамы, а у меня сидит сейчас ксендз Войновский, который перевяжет вам раны, ибо он очень опытен в этих делах. За вашими лошадьми можно будет послать, и тогда вы поступите по своему усмотрению. Я попрошу его преподобие съездить в Белчончку и осторожно сообщить там о случившемся. – Тут пан Яцек задумался, а через минуту добавил: – Ой! Беда была не раньше, а только теперь начинается... Эх, и нужно же вам было настаивать на этом поединке!

– Правда! Мы настаивали, – отвечал Циприанович. – Это могу подтвердить и я и Букоемские подтвердят.

– Подтвердим, хоть плечо у меня страшно болит, – с легким стоном отозвался Марк.
– Ох, и попотчевали же вы нас, чтоб вас...

До Выромбок было недалеко. Вскоре они завернули за плетень, где встретили шагавшего по снегу ксендза Войновского. Тревожась за своего любимца, он не мог дольше усидеть и вышел навстречу.

Увидев его, Тачевский соскочил с саней, а ксендз поспешно направился к нему, но, видя, что он цел и невредим, воскликнул:

– Ну как?

– Да вот привез всех! – ответил Яцек.

Лицо старика на мгновение прояснилось, но сейчас же снова омрачилось, когда он заметил на санях перепачканных кровью Букоемских и Циприановича.

Он всплеснул руками.

– Всех пятерых? – воскликнул он.

– Пятерых!..

– Попущение божеское!

А затем старик обратился к раненым:

– Как же вы себя чувствуете?

Все приподняли шапки, кроме Марка, переломленная ключица которого не позволяла ему шевелить не только правой, но и левой рукой. Он только застонал и произнес:

– Да, здорово он нас приправил, нечего сказать!

– Ничего! – отозвались остальные.

– Будем уповать на Бога, что все обойдется, – отвечал старик. – А теперь домой! Домой, как можно скорее. Я вас живо перевяжу.

Он приказал саням трогаться, а сам поспешно зашагал вместе с Тачевским вслед за ними. Однако он на минуту остановился, радость снова засияла на его лице, и, обняв вдруг за шею Тачевского, старик произнес:

– Дай обнять тебя, Яцек! Ишь привез полные сани, точно снопов! А Тачевский поцеловал ему руку и ответил:

– Они сами этого хотели, ваше преподобие.

А ксендз положил руку ему на голову, точно собираясь благословить, но потом спохватился, что это непристойно его сану, и, сурово взглянув на него, сказал:

– Только не думай, что я похваляю тебя за это. Твое счастье, что они сами хотели, но все-таки соблазн остается!

Они вошли во двор. Яцек тотчас подскочил к саням, чтобы вместе с возницей и единственным своим работником помочь раненым выйти.

Но они вылезли без посторонней помощи, только Марка пришлось поддержать под руку, и через минуту очутились в избе. Солома была уже постлана, и даже постель Яцека покрыта белой, повитершейся лошадиной кожей и войлоком под голову. На столе у окна виднелся хлеб с паутиной, отличное средство для задержания крови, и столь же прекрасный целительный бальзам ксендза Войновского.

Сняв сутану, старик сейчас же принялся перевязывать раны с опытностью старого солдата, который тысячи их видел в жизни и который, благодаря своей многолетней практике, делал это лучше любого доктора. Дело пошло очень быстро, ибо, не считая Марка, все были ранены более или менее легко. Ключица Марка потребовала больше всех времени, но когда, наконец, и она была перевязана, ксендз Войновский облегченно вздохнул и потер окровавленные руки.

– Ну, – проговорил он, – слава тебе, Господи! Все кончилось благополучно. Я думаю, вы теперь лучше себя чувствуете, господа?

– Пить хочется! – отвечал Матвей.

– Не мешает! Вели, Яцек, принести воды.

Но Матвей даже приподнялся на соломе.

– Как воды? – переспросил он.

А Марк, лежавший навзничь на постели Яцека, слегка привстал и неожиданно произнес:

– Преподобный отец, видно, желает умыть руки.

Тут Яцек с отчаянием взглянул на ксендза, но тот рассмеялся и ответил:

– Вот настоящие солдаты! Можно и вина, но только немного.

Но Тачевский потянул его за рукав в сторону.

– Преподобный отец, – зашептал он, – что же мне делать? В кладовой у меня пусто, в погребе пусто, я сам часто подтягиваю ремнем брюхо. Что я им дам?

– Есть, есть! – шепотом же ответил старик. – Уезжая из дома, я распорядился, и вино уже привезли, а если не хватит, то я попрошу у пивоваров в Едльне... Как будто для себя, конечно... для себя... Вели же им дать поскорее по стаканчику, пусть их утешатся после приключения.

Яцек поспешно распорядился, и вскоре братья Букоемские начали утешать друг друга. Их расположение к Яцеку возрастало с каждой минутой.

– Подрались мы, как это случается с каждым, – говорил Матвей, – но я сразу подумал, что вы достойный рыцарь.

– Вот и неправда, я это первый подумал, – отозвался Лука.

– Ты подумал? Да разве ты умеешь думать?

– Да вот я сейчас именно думаю, что ты дурак, значит, умею. Ну да у меня губа болит...

И братья уже начали ссориться. Но в этот момент в окне зачернел силуэт всадника.

– Кто-то приехал, – произнес ксендз.

Яцек пошел посмотреть на приезжего и через минуту вернулся смущенный.

– Пан Понговский прислал работника и приказал сказать, что ждет всех обедать.

– Так пусть он сам обедает, – отозвался Ян.

– Что же ему ответить? – спросил Яцек, глядя на ксендза.

– Лучше всего правду, – отвечал старик. – Но это уж, пожалуй, я сам скажу.

Он вышел к работнику и сказал:

– Передай пану Понговскому, что ни пан Циприанович, ни Букоемские не приедут, так как они ранены на поединке, на который они вызвали пана Тачевского, но не забудь сказать, что они легко ранены. Ну, поезжай.

Работник помчался в карьер, а ксендз, вернувшись в избу, начал успокаивать сильно взволнованного Тачевского. Он не боялся драться с пятью противниками, но страшно боялся пана Понговского, и еще больше того, что скажет и подумает панна Сенинская. А ксендз говорил:

– Ведь все равно и так бы обнаружилось. Так пусть же они как можно скорее узнают, что ты ни в чем не виноват.

– Надеюсь, вы подтвердите? – спросил Яцек, еще раз обращаясь к раненым.

– Пить хочется, но мы подтвердим, – отвечал Матвей Букоемский.

Однако беспокойство Яцека возрастало все больше, а когда вскоре сани с паном Понговским и паном старостой Гротом остановились у крыльца, сердце его совсем замерло. Однако он выбежал приветствовать их и склонился к коленям пана Понговского. Но тот даже не взглянул, точно совсем и не заметил его, и с суровым, мрачным лицом вошел в избу.

Войдя, он почтительно, но издали поклонился ксендзу, которому заносчивый шляхтич никак не мог простить того, что тот однажды разбил его с амвона за излишнюю строгость к людям. Поэтому и теперь, после холодного поклона, он сейчас же повернулся к раненым, с минуту посмотрел на них и сказал:

– Господа! После того, что случилось, я, конечно, не переступил бы порога этого дома, если бы не желание сказать вам, как страшно задела меня ваша обида. Вот к чему привело вас мое гостеприимство, вот какая награда встретила моих спасителей в моем доме. Но скажу вам только одно: тот, кто обидел вас, – меня обидел, кто вашу кровь пролил – сделал хуже, чем пролил бы мою, ибо он оскорбил меня, вызвав вас под моей кровлей...

Но тут вмешался Матвей:

– Это мы вызвали его, а не он нас!

– Это правда, сударь, – добавил Стах Циприанович. – Тут нет вины этого кавалера, а только наша, за которую мы почтительно извиняемся перед вашей милостью.

– Не мешало бы судье сначала опросить свидетелей, прежде чем произносить приговор, – строго заметил ксендз Войновский.

Лука тоже хотел вставить свое слово, но щека и десны у него были рассечены до самых зубов, а потому, едва он успел пошевелить подбородком, как почувствовал ужасную боль. Схватившись рукой за пластырь, который уже начал было присыхать, он одной стороной рта воскликнул:

– Черт бы побрал все приговоры и мою щеку вместе с ними!..

Пан Понговский был смущен всеми этими восклицаниями, но не уступил. Напротив, он обвел всех суровым взглядом, точно желая выразить немое порицание защитникам Яцека, и сказал:

– Не мне следует прощать моих спасителей. Вы ни в чем не виноваты, наоборот, я понимаю и одобряю это, так как я прекрасно видел, как вас умышленно задевали. Это, видно, та зависть, которая на дохлой лошади не могла догнать живых волков, вдохновила его затем на месть. Не я один заметил, как этот «кавалер», которого вы так великодушно защищаете, с первого момента вашей встречи беспрестанно подавал вам повод к ссоре и делал все, чтобы вызвать вас на это. Вернее, это моя вина, что я не остановил его и не сказал ему, чтобы он поискал себе в кормче или на ярмарке более подходящего общества.

Услышав это, Тачевский побледнел как полотно, а у ксендза Войновского, наоборот, кровь ударила в лицо.

– Ведь его вызвали! Что же ему было делать? Стыдитесь, сударь, – воскликнул он.

Но пан Понговский свысока взглянул на него и ответил:

– Мирские это дела, и светские люди, так же как и духовные, а может быть, даже и лучше, их понимают. Но я отвечу и на ваши слова, чтобы меня здесь никто не обвинил в несправедливости. Что ему нужно было сделать? Как младший старшего, как гость хозяина, как человек, который много раз ел мой хлеб, не имея своего собственного, он должен был прежде всего сообщить мне, а я своим хозяйским влиянием помирил бы их и не допустил бы, чтобы мои спасители и столь благородные рыцари лежали здесь в этой избе в собственной крови, точно в хлеву на соломе.

– Но вы бы подумали, что я струсил! – ломая руки и дрожа, как в лихорадке, воскликнул Тачевский.

Пан Гедеон не ответил ему ни слова, с самого начала делая вид, что не замечает его, и обратился к Циприановичу:

– Милостивый государь, мы тотчас же с паном старостой Гротом едем к вашему отцу, в Едлинку, чтобы выразить ему свое сочувствие. Я не сомневаюсь, что он примет мое гостеприимство в Белчончке, и потому прошу вас, вместе с товарищами, вернуться ко мне. Позволю себе напомнить вам, что вы очутились здесь только случайно, а в действительности ведь вы мои гости, которым я от всего сердца желал бы выразить свою благодарность. Отец ваш, пан Циприанович, не может заехать к виновнику ран ваших, а под моей кровлей вы найдете больше удобств и не умрете с голоду, что вполне могло бы случиться с вами здесь.

Циприанович страшно смутился и некоторое время колебался с ответом, во-первых, из-за Тачевского, а во-вторых, будучи очень красивым малым, беспокоясь о том, как он будет выглядеть, так как подбородок и губа его сильно распухли под пластырем и страшно безобразили его.

– Голода и жажды мы бы, положим, и здесь не испытали, что уже и *probatum fuit*, – проговорил он, – но так как мы действительно ваши гости, и мой отец, не зная, как это случилось, может быть, и не захочет заехать сюда, то мы подчиняемся. Но вот как мы явимся перед вашими родственницами с такими ужасными физиономиями, которые могут возбуждать к себе только отвращение?

Тут он состроил гримасу, так как губа его сильно заболела от продолжительной речи, и в эту минуту, действительно, выглядел не особенно привлекательно.

Но пан Понговский ответил:

– Об этом, пожалуйста, не беспокойтесь. Мои родственницы, правда, почувствуют отвращение, но не к ранам вашим, которые скоро заживут, и прежняя красота вернется к вам. Сейчас приедут сюда трое саней со слугами, а дома вас уже ожидают удобные постели. А пока будьте здоровы. Нам с паном старостой пора в Едлинку. Бью вам челом!

И он поклонился всем, потом отдельно ксендзу и только Яцеку даже не кивнул головой. Когда он уже был возле двери, ксендз Войновский приблизился к нему и сказал:

– Ваша милость чересчур несправедливы и немилосердны. А пан Понговский ответил:

– Я признаюсь в грехах только на исповеди. И старик вышел, а за ним пан староста Грот.

Яцек стоял все время как на иголках. Его лицо все время менялось и моментами он сам не знал, должен ли он броситься к ногам пана Понговского и просить его о прощении, или вцепиться ему в горло, за все причиненные им унижения. Однако он помнил, что находится у себя и что перед ним стоит опекун девушки. Поэтому, когда оба старика вышли, он тоже двинулся за ними, совершенно не отдавая себе отчета в своих действиях и, кроме того, следуя обычаю, повелевавшему провожать гостей. Его не оставляла также слепая надежда, что, может быть, хоть перед самым отъездом раздраженный пан Понговский кивнет ему головой. Но и в этом он ошибся. Только пан Грот, человек, очевидно, добрый и рассудительный, пожал ему на крыльце руку и шепнул:

– Не отчаивайтесь, молодой человек, первый гнев пройдет и все наладится.

Но Яцек думал иначе и был бы совсем уверен в противном, если бы знал, что пан Понговский, хотя и был искренне возмущен и рассержен, однако притворялся более сердитым, чем был на самом деле. Циприанович и Букоемские были, действительно, его спасителями, но ведь Тачевский не убил их, а сам по себе поединок был слишком заурядной вещью, чтобы возбудить такую неумолимую ненависть.

Но пан Понговский с того момента, как староста Грот сказал ему, что и старики женятся, а иногда даже имеют детей, стал смотреть другими глазами на панну Сенинскую. То, о чем он никогда даже не думал, показалось ему вдруг и возможным и заманчивым. При мысли о девушке в нем воспрянула гордость. Вот бы опять зазеленел и расцвел род Понговских, вдобавок еще происшедший от такой патрицианки, как Сенинская, не только родственницы всех великопоставленных фамилий Речи Посполитой, но и последнего отпрыска того рода, из богатства которого почерпали свои средства в значительной степени Шулкевские, Даниловичи, Собеские и многие другие. У Понговского даже голова закружилась при этой мысли, и он почувствовал, что не только он, но и вся Речь Посполитая будет рада продолжению рода Понговских.

Но вслед за тем пришло опасение, что этого может и не случиться, если девушка полюбит кого-нибудь другого и отдаст ему руку. Достояние себя он не находил никого кругом, но были зато моложе. Так кто же? Циприанович? Да! Этот был молод, хорош собой и богат, но происходил от армян, только в третьем поколении получивших дворянство. Чтобы такой homo novus осмелился ухаживать за Сенинской, это никоим образом не могло уместиться в его голове. О Букоемских, хотя они и принадлежали к доброму шляхетскому роду и называли себя родственниками святого Петра, смешно было даже думать.

Итак, оставался один только Тачевский, настоящий Лазарь, голый, как церковная мышь, но зато принадлежащий к древнему роду могущественных рыцарей из Тачева, герба Повалы, один из которых, настоящий великан и участник ужасного разгрома немцев под Грюнвальдом, был известен не только в Речи Посполитой, но и при иностранных дворах. Только Тачевский мог равняться с Сенинскими, а кроме того, был молод, красив, отважен, меланхоличен (что иногда трогает женское сердце) и свой человек в Белчончке, а с девушкой обходился как друг или брат.

Пан Понговский начал припоминать различные вещи: то какие-то ссоры и

недоразумения между молодыми людьми, то их согласие и дружбу, то разные слова и взгляды, и общие печали, и радости, и улыбки. И все то, на что раньше он не обращал почти никакого внимания, теперь показалось ему вдруг подозрительным. Да! Опасность могла угрожать только с этой стороны. Старый шляхтич подумал, что и в поединке этом, по крайней мере, отчасти, могла быть замешана панна Сенинская, и страшно испугался. А чтобы предотвратить опасность, он прежде всего постарался представить молодой девушке всю бесчестность поступка Тачевского и возбудить в ней соответствующий гнев; а затем, притворившись более раздраженным, чем был на самом деле и чем это дело стоило, сжечь мосты между Белчончкой и Выромбками и, безжалостно унизив Яцека, закрыть ему тем самым двери своего дома.

И он достиг своей цели. Вернувшись с крыльца, Яцек сел у стола, запустил пальцы в волосы и, опершись локтями, долго молчал, словно горе лишило его языка.

Но ксендз Войновский подошел к нему и положил ему руку на плечо.

– Яцек, что ты должен перетерпеть, перетерпи, но нога твоя больше не должна переступать порога того дома.

– Так и будет, – глухо ответил Тачевский.

– Но и горю не поддавайся. Подумай, кто ты.

А Тачевский стиснул зубы:

– Помню, но потому именно и страдаю!

Но тут вмешался Циприанович:

– Никто пана Понговского за это не похвалит. Одно дело порицать человека, а другое – оскорблять!

Букоемские тоже зашевелились, а Матвей, которому легче всех было говорить, произнес:

– У него в доме я ничего не скажу ему, но когда выздоровлю и встречу его на дороге или у соседа, то прямо ляпну ему, чтобы он поцеловал пса в нос.

– Ой, ой! – вставил Марк. – Оскорбить такого достойного кавалера. Придет время, когда я припомню ему это.

Между тем подъехали трое высланных коврами саней с тремя работниками, Krotsfe возниц, которые должны были переносить раненых. Тачевский не смел удерживать их ввиду ожидаемого приезда старого Циприановича и ввиду того, что они, действительно, были гостями Понговского; да они и сами не остались бы у него, так как, услышав о великой бедности Яцека, побоялись бы оказаться ему в тягость. Однако они начали прощаться с ним и благодарить за гостеприимство так искренне, как будто между ними никогда ничего и не было.

Но когда Циприанович уже усаживался в последние сани, пан Яцек вдруг вскочил и сказал:

– И я еду с вами! Иначе я не выдержу!.. Не выдержу! Пока Понговский не вернулся, я должен... в последний раз!..

Ксендз Войновский, хотя и знал, что никакие убеждения не помогут, втащил его, однако, в спальню и начал уговаривать:

– Яцек! Яцек! Опять mulier! Дай Бог, чтобы тебя там не постигла еще большая обида. Помни, Яцек, что говорит Екклесиаст: «Virum de mille unum reperi, mulierem ex omnibus non inveni!»[15] Помни и пожалей себя.

Но эти слова были то же, что об стену горох. Через мгновение Тачевский уже сидел в санях рядом с Циприановичем и лошади тронулись в путь. Между тем восточный ветер разогнал туман, и на голубом небе заиграло ясное солнце.

IV

Пан Понговский не ошибался, говоря об отвращении, какое чувствовали к победителю дамы в Белчончке. Яцек убедился в этом с первого же взгляда. Пани Винницкая вышла ему навстречу с огорченным лицом и вырвала у него руку, когда он хотел поцеловать ее в знак приветствия, а девушка тоже не сжалась над его смущением, не ответила на его поклон и всецело занялась Циприановичем. Не скупясь для него ни на сочувственные взгляды, ни на заботливые вопросы, она дошла до того, что, когда последний встал со стула, чтобы перейти из столовой в комнату, предназначенную для раненых, она поддержала его под руку и, не обращая внимания на его отказы и смущение, проводила его до самых дверей.

«Все пропало!» – при виде этого кричали отчаяние и ревность в сердце Яцека.

Страдания его усилились еще больше, когда он понял, что та самая девушка, которая питала к нему такие переменчивые чувства, которая на одно его ласковое слово отвечала обыкновенно десятью равнодушными или даже ядовитыми, умела быть нежной и ангельски доброй к любимому человеку. Ибо несчастный Яцек уже не сомневался в том, что панна Сенинская любит Циприановича. А между тем он с радостью перенес бы не только такую рану, как у последнего, а с готовностью пролил бы всю свою кровь, чтобы только она хоть раз заговорила с ним таким голосом и взглянула на него такими глазами. И вот, наряду с сердечной болью, им овладела неизмеримая жалость к себе, – жалость, наполнившая глаза потоком слез, которые, не вылившись наружу и не скатившись по щекам, заливают сердце и наполняют собой все существо человека. Такое чувство испытывал сейчас Яцек, а в довершение всего, никогда не казалась ему панна Сенинская такой бесконечно прекрасной, как теперь, со своим побледневшим личиком и с короной слегка рассыпавшихся от волнения белокурых волос.

«Настоящий ангел, – кричало в нем сожаление, – но не для тебя! Она прекрасна, но ее возьмет другой!»

Ему хотелось упасть к ее ногам и признаться ей во всех своих страданиях и любви, но в то же время он чувствовал, что после всего случившегося этого сделать нельзя, что если он сам не опомнится и не заглушит в себе душевной бури, то может сказать ей не то, что он хочет, и навсегда уронит себя в ее глазах.

Тем временем пани Винницкая, как женщина старая и сведущая в лечении, зашла в гостевую комнату вместе с Циприановичем, а девушка вернулась обратно. Понимая, что нужно пользоваться моментом, Тачевский приблизился к ней.

– Я хотел бы сказать вам одно слово, – дрожащим и как будто не своим голосом заговорил он, стараясь сохранить спокойствие.

А она взглянула на него с холодным изумлением.

– Что вы желаете?

Лицо Яцека озарилось болезненной, почти мученической, улыбкой.

– Чего я желаю, того никогда не исполнится, хотя бы я пожертвовал для этого спасением души, – качая головой, произнес он. – Но прошу вас об одном: не вините меня, не презирайте и хоть немного пожалейте. Ведь и я не из дерева и не из железа...

– Я ничего не имею сказать вам, – отвечала она, – да теперь и не время.

– Эх! Сказать простое, душевное слово человеку, которому тяжело на свете, всегда время.

– Уж не за то ли, что вы ранили моих спасителей?

– Бог всегда стоит на стороне невинных. Работник, приехавший за этими кавалерами в Выромбки, должен был передать то, что ему сказал ксендз Войновский, что я их не вызывал первый. Знали ли вы об этом?

Она знала. Работник, как человек простой, не повторил, правда, в точности слов ксендза, а крикнул только, что «молодой пан из Выромбок всех перерубил»; но зато пан Понговский, возвращаясь из Выромбок, заехал по дороге домой и рассказал, как и что было. Он опасался, как бы известие, что Яцек был вызван, не дошло до нее из других уст и не ослабило ее гнева, и предпочел сам сообщить ей обо всем, причем не преминул прибавить, что жестокими оскорблениями Тачевский вынудил их вызвать его на поединок. Он рассчитывал, кроме того, что панна Сенинская, относясь к делу по-женски, всегда будет на стороне тех, кто больше пострадал.

Но Яцеку показалось, что любимые глаза взглянули на него несколько мягче, и он повторил вопрос:

– Знали ли вы об этом?

– Знала, – отвечала она, – но я помнила также и о том, о чем и вы не должны были забывать, если бы имели хоть немного расположения ко мне, о том, что я обязана этим кавалерам своей жизнью. Кроме того, я знаю от опекуна также и о том, что они принуждены были вас вызвать.

– Я не имею к вам расположения? Об этом пусть уж лучше судит Господь, который видит, что делается в человеческом сердце...

Глазки девушки внезапно заморгали. Она тряхнула головой, так что коса ее перекинулась с одного плеча на другое, и сказала:

– Да!..

А он продолжал слегка задыхающимся и глубоко печальным голосом:

– Да, конечно! Конечно! Я должен был позволить им зарубить меня, чтобы только не огорчать вас. Тогда не пролилась бы та кровь, которая вам милее... Но тут уже

ничего не поделаешь! И вообще ничего не поможет! Опекун говорил вам, что я их принудил к вызову. Это я тоже отдаю на суд Божий. Но сказал ли он вам, как немилосердно оскорбил он меня под моей собственной кровлей? Я приехал сюда, потому что знал, что не застаю его здесь. Приехал, чтобы в последний раз насытить мои несчастные глаза вашим видом. Знаю, что вам это безразлично, но я думал, что хоть...

Тут он оборвал свою речь, ибо слезы сдавили ему грудь. Губки панны Сенинской задрожали и вытянулись в форме подковки, и только гордость и девичья робость боролись в ней с волнением. Но она сдержалась, может быть, для того, чтобы вынудить у Яцека еще более жалобное признание, а может быть, и оттого, что она не верила, чтобы он мог, действительно, уйти и больше не вернуться. Не раз уже случались между ними недоразумения, не раз и пан Понговский устраивал ему большие неприятности, однако после непродолжительного гнева на сцену выступало молчаливое или действительно извинение и все оставалось по-старому.

«Так будет и теперь!» – думала панна Сенинская.

Но так как ей было приятно слушать его, приятно смотреть на эту великую любовь, которая, хотя и не высказывалась ясно, исходила, однако, от него с одинаковой покорностью и силой; ей хотелось, чтобы он как можно дольше говорил с ней своим чудным голосом и повергал к ее стопам молодое, влюбленное и изболевшееся сердце.

Но Тачевский, неопытный в делах любви, и слепой, как и все влюбленные, не заметил и не понял, что происходило в ней. Молчание девушки он счел за закоренелое равнодушие, – и горечь начала постепенно заливать его душу. Спокойствие, с каким он говорил сначала, начало покидать его, глаза приобрели другой блеск, и капли холодного пота выступили на висках. Что-то рвалось и ломалось в его душе. Его охватила такая горечь, когда человек ни о чем не спрашивает и готов собственными руками беречь свои сердечные раны.

Он говорил еще с виду спокойно, но уж голос его звучал иначе, тверже и глуше.

– Так! – проговорил он. – Ни одного слова?..

Панна Сенинская только пожала плечами.

– Эх! Верно сказал ксендз, что меня встретит здесь еще большая обида!

– Чем же я вас обидела? – спросила она, неприятно задетая неожиданной переменой, которая произошла в нем.

Но он уже не мог остановиться и продолжал:

– Если бы я не видел, как вы относитесь к Циприановичу, я подумал бы, что у вас совсем нет сердца. Нет, у вас есть сердце, только оно для него, не для меня! Он только взглянул на вас – и доволен.

И вдруг схватился обеими руками за волосы:

– Зачем я не убил его насмерть!

А панну Сенинскую охватило точно пламя. Щеки ее зарделись, в глазах засверкал гнев, как на Яцека, так и на самое себя, за то, что минуту тому назад она готова

была расплакаться. Глубокая обида охватила ее сердце.

– Вы с ума сошли! – воскликнула она, поднимая голову и откидывая назад косу.

И девушка хотела уйти, но это последнее обстоятельство заставило Яцека окончательно потерять голову. Он схватил ее за руки и остановил.

– Нет, не вы уйдете, а я! – стиснув зубы, процедил он. – И скажу вам только, что хотя с малых лет я любил вас больше здоровья, больше жизни, больше собственной души, я уже не вернусь сюда. Буду руки кусать от боли, но не вернусь, пусть Господь поможет мне в этом.

И, оставив на полу свою потертую шапку, он побежал к двери, через минуту промелькнул мимо окна, поворачивая к саду, через который было ближе в Выромбки, и исчез.

А панна Сенинская стояла некоторое время как громом пораженная. Мысли ее, точно птицы, разлетелись во все стороны, и с минуту она не могла понять, что случилось. Но когда они снова вернулись, сразу исчез ее гнев, исчезла без следа обида, а в ушах звучали только слова Яцека: «Я любил тебя больше здоровья, больше жизни, больше собственной души, а теперь уже не вернусь!..»

Теперь она почувствовала, что он, действительно, не вернется, именно потому, что так страшно любил ее. Зачем не сказала она ему хоть одно доброе слово, о котором, прежде чем его обуяло безумие, он молил, как о милостыне, как о куске хлеба на дорогу? И вдруг ее охватила неизмеримая жалость и страх. Он убежал в бешенстве и гневе; может быть, он упадет где-нибудь на дороге, может быть, причинит себе что-нибудь, а ведь одно сердечное слово могло все сгладить и исправить. Если бы он хоть услышал ее голос! Она должна побежать за ним через сад на луг до ручья, там он еще услышит ее! И девушка выбежала в сад. Глубокий снег лежал на середине аллеи, но следы Яцека были на нем ясно видны. Она бежала по ним, завязая по колени в снегу, теряя по дороге четки, платок, сумочку с нитками и, задыхаясь, добежала, наконец, до садовой калитки.

– Яцек!..

Но луг за калиткой был уже пуст. Кроме того, ветер, развеявший утренний туман, сильно шумел между ветками груш и яблонь. Ее слабый голос совершенно потерялся в этом шуме. Тогда, не обращая внимания на холод и на свою легкую комнатную одежду, она села на лавочку возле калитки и заплакала.

Крупные, как жемчуг, слезы потекли по ее розовым щекам, а она, не имея, чем вытереть их, начала вытирать их косой.

– Не вернется!

Между тем ветер шумел все сильнее, стряхивая мокрый снег с черных ветвей.

Когда Тачевский, точно вихрь, без шапки и с развевающимися волосами вбежал в свой дом в Выромбках, ксендз Войновский догадался в чем дело, и сказал:

– Да поможет тебе Господь, Яцек! Я ни о чем не буду спрашивать тебя, пока ты не опомнишься и не успокоишься..

– Кончено! Все кончено! – отвечал Тачевский.

Он заметался по комнате, как дикий зверь в клетке. Ксендз молчал, не мешал ему ходить и только спустя много времени встал, обнял его и, поцеловав в голову, взял за руку и ввел в спальню.

Там он преклонил колени перед распятием, висевшим над постелью Яцека, а когда молодой человек сделал то же самое, произнес:

– Господи, Ты знаешь, что значит страдать, ибо Сам страдал за грехи человеческие на кресте...

...Поэтому я приношу Тебе окровавленное сердце мое и у пронзенных стоп Твоих умоляю сжалиться надо мной...

...Я не взываю к Тебе: возьми мою боль, а прошу лишь, дай мне силы перенести ее...

...Ибо я – воин и слуга Твой, о Господи, и желаю вечно служить Тебе и матери моей, Речи Посполитой...

...Но как же я могу сделать это, когда млеет сердце мое и ослабла десница моя...

...Так сделай же так, чтобы я забыл о самом себе и только о славе Твоей и о спасении матери моей помнил, ибо это гораздо важнее, чем страдания такого жалкого червяка, как я...

...И укрепи меня, Господи, в седле моем, чтобы, сражаясь с неверными, я достиг славной смерти и обрел вечную жизнь...

...Ради Твоего тернового венца, выслушай меня...

...Ради раны в боку Твоем, выслушай меня...

...Ради прибитых гвоздями рук и ног Твоих, выслушай меня.

Потом они еще долго стояли на коленях, но уже в половине молитвы было видно, что боль Яцека переломилась в его груди: он закрыл вдруг лицо руками и зарыдал. Когда оба встали и перешли в переднюю комнату, ксендз Войновский глубоко вздохнул и сказал:

– Ах, дорогой мой! Много я во времена моей солдатской службы перестрадал, и еще более тяжкий случай произошел со мной... Но о нем я не хочу рассказывать тебе... Скажу только одно, что эту молитву я сочинил в момент самого страшного страдания, и только ей обязан своим спасением. С тех пор я не раз повторял ее при каждом несчастье и всегда получал большое облегчение. Поэтому я прочел ее и теперь. Ну и как? Разве тебе не стало легче? Скажи!

– Горько мне, но болит не так сильно, – отвечал Яцек.

– Вот видишь! Теперь выпей вина, а я расскажу тебе, или, вернее, покажу, кое-что такое, что должно тебя еще больше ободрить. Смотри!

И, наклонив голову, он показал на ней страшный белый шрам между седыми волосами, проходящий через всю голову, и сказал:

– Я чуть не умер от этого. Рана болела страшно, но рубец уже не болит. Так и всегда бывает, Яцек. Твоя рана тоже перестанет болеть, когда со временем зарубцуется. А теперь расскажи, что с тобой случилось.

Яцек начал рассказывать, но у него как-то не выходило. Не в его натуре было выдумывать, преувеличивать или прибавлять, и теперь он сам удивлялся, что все то, что так больно уязвило его, в рассказе выходило менее ужасно. Однако ксендз Войновский, человек, по-видимому, опытный и знающий свет, выслушав его до конца, сказал:

– Я понимаю, что трудно передать на словах взгляды и жесты, которые могут быть на самом деле оскорбительны и унижительны. Не раз один взгляд, одно движение руки приводило к поединкам и кровопролитию. Главное, что ты сказал этой девушке, что ты больше не вернешься туда. Молодость бывает непостоянна, а когда тоска руководит ею, то она меняется, точно месяц на небе. И любовь тоже подобна луне, которая кажется уменьшающейся именно тогда, когда она увеличивается и приближается к полнолунию. Так как же? Имеешь ли ты искреннее желание сдержать данное обещание?

– Я сказал: да поможет мне в этом Господь, а если вы хотите, отец, то я сейчас повторю эту клятву на кресте.

– А что ты думаешь теперь делать?

– Пойду в свет.

– Я ожидал этого, ибо уже давно советовал тебе это. Я знал, что тебя удерживает здесь, но теперь, когда цепь эта порвана, теперь иди в свет. Здесь ты ничего не дождешься и не встретишь, как не встретил до сих пор. Счастье, что я был возле тебя, научил тебя по-латыни и немного обучил владеть саблей, иначе ты бы совсем огрубел здесь. Не благодари меня, Яцек, я сделал это из любви к тебе. Грустно мне будет без тебя, но дело не во мне. Ты идешь в свет, значит, как я понимаю, хочешь поступить на военную службу. Это самая простая и самая достойная дорога, в особенности теперь, когда приближается война с неверными. Перо и канцелярия, говорят, надежнее, чем протекция сабли, но это менее достойно твоей рыцарской крови...

– Я и не думал о другой службе, – отвечал Тачевский. – Но ведь я не поступлю в пехоту, а под другие, более высокие знамена я не могу, потому что нищ.

– Шляхтич, знающий латынь и владеющий саблей, всегда найдет выход, – перебил его ксендз, – но, конечно, не может быть и речи, что ты должен иметь порядочный наряд. Нужно посоветоваться об этом. А теперь я скажу тебе нечто, о чем не говорил тебе никогда. У меня есть для тебя десять червонцев, которые оставила мне твоя покойница мать, и ее письмо, в котором она просит меня не давать тебе их, чтобы ты не истратил их без крайней нужды. Теперь она как раз пришла. У тебя была благородная, благочестивая, но в то же время и несчастная мать. Когда она умирала, в доме уже был большой недостаток, и то, что она оставила у меня, бедняжка вырывала из собственного рта...

– Вечная ей память! – отвечал Яцек. – Так пусть же за эти червонцы отслужат заупокойную обедню за ее душу, а я продам Выромбки за какую бы то ни было цену.

Услышав это, ксендз Войновский растрогался до того, что слезы заблестели на его глазах, и снова обнял Яцека.

– И в тебе течет благородная кровь, – проговорил он, – но ты не должен отказываться от материнского дара, даже и для такой цели. А в обеднях по твоей покойнице недостатка не будет, можешь быть в этом уверен, хотя она и не нуждается в них. Что же касается Выромбок, то лучше бы их заложить, ибо на шляхтича, имеющего хоть какой-нибудь жалкий клочок земли, смотрят иначе, так как он все-таки собственник.

– Но ведь мне ждать некогда. Я хотел бы уехать хоть сегодня.

– Сегодня ты не поедешь, хотя, чем скорее, тем лучше. Но я должен сначала приготовить тебе письма к моим соратникам и товарищам. Нужно будет также поговорить и с пивоварами в Едльне, у которых и мошны полны и кони такие, что ни один воин не имеет лучших. Найдется у меня также дома кое-какое старое вооружение и несколько сабель, не столько красивых, сколько испробованных на шведских и турецких шеях...

Тут он взглянул в окно и сказал:

– Ну вот, сани уже готовы, кому в дорогу, тому пора...

Но по лицу Яцека снова промелькнуло страдание. Он поцеловал руку ксендза и сказал:

– У меня к вам только одна еще просьба, отец мой и благодетель. Разрешите мне поехать с вами и остаться до самого отъезда в вашем доме... Отсюда видны те крыши... и здесь мне... слишком близко...

– Я и сам хотел предложить тебе это, но ты предупредил меня. Тебе здесь нечего делать, а я от души буду рад тебе. Эх, Яцек! Будь благоразумен. Свет не кончается в Белчончке, а широко открыт теперь перед тобой. Раз сев на коня, Бог знает куда ты доедешь. Война ожидает тебя. Слава ожидает тебя, а что сегодня болит, то заживет. Вижу уже, как у тебя растут крылья, лети же, божья птица, ибо ты создана и предназначена для этого!

И радость, словно солнечный луч, осветила благородное лицо ксендза. Он ударил себя по-солдатски рукой по коленке и воскликнул:

– А теперь бери шапку и едем!

Но мелочи часто служат препятствием для крупных вещей, а смешное переплетается с печальным. Яцек осмотрелся кругом, потом смущенно взглянул на ксендза и повторил:

– Шапку?

– Ну да! Ведь с голой головой не поедешь!

– Ба!

– В чем дело?

– Да шапка-то осталась в Белчончке...

– Вот тебе и на! Что же делать?

– Что делать?.. Если даже у работника взять, но не поеду же я в мужицкой!

– В мужицкой ты не можешь ехать, – повторил ксендз, – но пошли работника за своей в Белчончку.

– Ни за что! – воскликнул Яцек. Но старик начал терять терпение.

– Ах, беда! Война, слава, широкий свет, все это прекрасно, но и шапка ведь нужна.

– Есть у меня в кладовой какая-то старая шляпа, которую отец снял с одного шведского офицера под Тржемешной.

– Ну так бери ее и айда!

Яцек исчез и через минуту вернулся в рейтерской желтой шляпе, слишком большой для его головы. Увидев его, ксендз Войновский ухватился за левый бок, словно ища саблю, и сказал:

– Хорошо еще, что это шведская шляпа, а не турецкая феска. Да и так уж чистый маскарад.

Яцек улыбнулся и ответил:

– На пряжке есть какие-то камушки, может, чего-нибудь да стоят.

Потом они сели и поехали. Сейчас же за плетнем, сквозь безлистный ольшанник, видна была Белчончка и весь ее двор как на ладони. Ксендз внимательно следил за Тачевским, а тот только надвинул на глаза свою большую шляпу и даже не взглянул, хотя он оставил там не только свою шапку.

V

«Он не вернется! Все пропало!» – думала в первый момент панна Сенинская.

И странное дело, в доме было пятеро кавалеров, из которых один молодой и красивый, а кроме пана Грота, должен был приехать еще и старый Циприанович, – словом, редко случалось, чтобы в Белчончке было сразу столько гостей, а между тем девушке показалось, что ее окружила вдруг какая-то пустота, что ей кого-то недостает, что дом пуст и сад пуст, а она сама так же одинока, как в безлюдной степи, и что так останется навсегда.

Сердце ее сжалось от тяжелого сожаления словно по утрате кого-то близкого. Она была уверена, что Янек не вернется, тем более, что опекун смертельно оскорбил его, и в то же время не могла себе представить, как она будет жить без него, без его лица, слов, смеха, взглядов; что будет завтра, послезавтра через неделю и через месяц; зачем будет она вставать по утрам с постели, зачем заплетать косу, для кого одеваться и завиваться, зачем жить?

И девушка испытала такое чувство, как будто сердце ее было свечой, на которую кто-то внезапно дунул и погасил.

Не осталось ничего, кроме мрака и пустоты!

Когда же, войдя в комнату, она увидела на полу шапку Яцека, все эти неясные чувства уступили место простой, но глубокой тоске по нему. Ее сердце снова смягчилось, и она начала звать его по имени, одновременно в ее душе мелькнул какой-то проблеск надежды. Подняв шапку, она как будто нечаянно прижала ее к своей груди, потом спрятала в рукав и начата размышлять так:

«Он не будет по-прежнему бывать каждый день в Белчончке, но прежде чем опекун с паном Гротом и паном Циприановичем успеют приехать из Едлинки, он все-таки должен вернуться за шапкой. Я увижу его и скажу ему, что он был жесток и несправедлив и что он не должен был так поступать».

Но она была неискренна сама с собой, так как хотела ему сказать больше, хотела найти какое-нибудь теплое, сердечное слово, которое вновь укрепило бы порвавшуюся между ними нить. Только бы это случилось; только бы они могли встречаться без гнева в костеле, или иногда у соседей, а уж тогда в будущем найдется какое-нибудь средство, чтобы все пошло хорошо... Какое это могло быть средство и как должно было быть «хорошо», над этим панна Сенинская в данную минуту не думала, так как она заботилась прежде всего о том, чтобы поскорее увидеть Яцека.

Между тем из комнаты, где лежали раненые, вышла пани Винницкая и, увидев взволнованное лицо и покрасневшие глаза девушки, начала ее успокаивать:

– Не бойся, с ними ничего не случится. Только один из Букоемских ранен тяжелее других, но и он вне опасности. А другие и совсем ничего. И перевязал их ксендз Войновский так хорошо, что ничего менять не надо. Они все бодры и веселы.

– Слава Богу!

– А Тачевский уехал? Что ему было здесь надо?

– Он привез раненых...

– Ага! Но кто бы этого мог от него ожидать?

– Они его сами вызвали.

– Они и не отрицают этого, но ведь он всех их изрубил, пятерых. Одного за другим. А можно подумать, что он и наседки испугается.

– Это вы его, тетушка, не знаете! – не без гордости ответила девушка.

Но и в голосе пани Винницкой было почти столько же удивления, сколько и порицания. Рожденная и воспитанная в крае, постоянно подвергавшемся турецким набегам, она с детства привыкла считать храбрость и ловкость владения саблей первыми добродетелями мужчины. Поэтому, когда опасение за здоровье гостей прошло, она стала смотреть на весь поединок несколько иначе.

– Во всяком случае, – говорила она, – я должна признать, что это благородные рыцари. Они не только не питают к нему злобы, а, наоборот, хвалят его, и в особенности этот Циприанович. Ведь это, говорит он, «врожденный солдат». И они

сердятся даже на его милость, который, как они говорят, чересчур пересолил в Выромбках.

– Да и вы, тетушка, не лучше приняли пана Яцека.

– Потому что он заслужил. А ты будто хорошо обошлась с ним!

– Я?

– Да, ты. Ведь я видела, как ты на него надулась.

– Милая тетушка...

Тут девушка внезапно оборвала речь, чувствуя, что она сейчас расплечется. Однако, благодаря этому разговору, Яцек еще больше вырос в ее глазах. Один-одинешенек против таких опытных мужей и всех изрубил, всех победил. Правда, он говорил, что ездит один с копьем на кабанов, но ведь крестьяне, живущие на опушке леса, ездили даже с дубинами, поэтому никто ему и не удивлялся. Но зато пятерых благородных рыцарей мог победить только более искусный и храбрый рыцарь. Панне Сенинской показалось странным, чтобы человек с такими грустными и нежными глазами мог быть таким страшным в битве. Так, значит, он только ей так подчинялся, только от нее все переносил, только с ней был такой ласковый и уступчивый. Почему? Потому что он любил ее больше здоровья, больше счастья, больше спасения собственной души.

И снова тоска по нем могучей волной прилила к ее сердцу. Однако она чувствовала, что и между ними что-то изменилось и что если она увидит его, а потом будет часто встречаться с ним, то уж не позволит себе играть им, как прежде, то огорчать его, то радовать и придавать ему бодрости, то отталкивать, то привлекать; она чувствовала, что невольно будет теперь смотреть на него с большим уважением и станет более осторожной и покорной.

Моментами еще какой-то голос говорил ей, что Яцек, собственно, поступил с ней слишком запальчиво, что он наговорил ей больше горьких и обидных слов, чем она ему, но голос этот становился все слабее и слабее, а желание помириться с ним – все сильнее.

Только бы он вернулся, прежде чем те приедут из Едлинки.

Между тем прошел час, и два, и три, а он все не возвращался. Тогда ей пришло в голову, что уже слишком поздно и что сам он не приедет, а пришлет кого-нибудь за шапкой.

Она решила отослать ее вместе с письмом, а в нем высказать все, что тяготило ее сердце. Но посланец мог прийти каждую минуту, а она хотела все приготовить заранее, и потому, запершись в своей девичьей комнатке, она поспешно принялась за письмо:

«Да простит вам Бог за ту печаль и огорчение, в которых вы покинули меня, ибо, если бы вы могли заглянуть в мое сердце, вы бы не поступили так. Поэтому я не только отсылаю вам вашу шапку, но и прибавляю свои искренние пожелания быть счастливым и забыть...»

Тут она заметила, что пишет не то, что хотела и о чем думала, ибо ей совсем не

нужно было, чтобы он забыл. Перечеркнув записку, она начала писать новую с еще большим волнением и жалостью:

«Возвращаю вам шапку, ибо знаю, что уже никогда не увижу вас в Белчончке и что вы ни о ком, а тем более обо мне, сироте, не заплачете, чего и я, ввиду вашей несправедливости, тоже не сделаю, хотя бы мне было и очень жаль...»

Но против этих слов сейчас же запротестовала действительность, и крупные слезы вдруг запятели бумагу. Как же можно послать ему такое доказательство, тем более что он навсегда выбросил ее из своего сердца. Через минуту ей снова пришло в голову, что, может быть, лучше бы ему не писать о его несправедливости и запальчивости, потому что он еще больше может рассердиться. Размышляя так, она начала искать третий листок бумаги, но оказалось, что его нет. Тут уж она оказалась совершенно беспомощной, так как, вздумай она попросить бумаги у пани Винницкой, дело не обошлось бы без вопросов, на которые она не могла ответить. Притом она чувствовала, что совсем теряет голову и что ни в коем случае не сумеет написать Яцеку все то, что ей хотелось. Она столько наволновалась, чисто по-женски ища облегчения в страдании, что снова дала волю слезам.

А между тем стемнело; у крыльца загремели колокольчики. То пан Понговский вернулся с гостями. В комнатах слуги начали зажигать всюду лампы, так как темнота все больше сгущалась. Девушка вытерла слезы и вошла в гостиную, боясь, что все сейчас же узнают, что она плакала, и подумают Бог знает что или начнут ее мучить расспросами. Но в комнате были только пан Понговский и пан Грот. Старого Циприановича не было. Желая отвлечь от себя внимание, девушка начала поспешно расспрашивать о нем.

– Он пошел к сыну и к Букоемским, – отвечал пан Понговский, – но я уже по дороге успокоил его, что ничего дурного не случилось.

Потом он внимательно посмотрел на нее, и его обычно мрачное лицо и суровые серые глаза заблестели какой-то исключительной добротой. Подойдя к ней, он положил руку на белокурую головку девушки и сказал:

– Да и ты напрасно так огорчаешься. Через несколько дней все будут здоровы. Ну, ну! Довольно! Мы обязаны им благодарностью, это правда, и поэтому я за них заступился, но ведь в конце концов это совершенно чужие нам люди и к тому же невысокого происхождения.

– Невысокого происхождения! – как эхо повторила девушка только для того, чтобы что-нибудь сказать.

– Ну да, ведь Букоемские – гольши, а Циприанович homo novus. Наконец, что мне до них! Вот уедут, и все по-прежнему успокоится.

Панна Сенинская подумала про себя, что будет даже слишком спокойно, когда они только втроем останутся в Белчончке, но громко не высказала своей мысли.

– Пойду, – проговорила она, – похлопочу об ужине.

– Поди, хозяйюшка, поди! – отвечал пан Понговский. – От тебя и радость в доме и польза.

А затем прибавил:

– Прикажи подать серебряные тарелки. Надо показать этому Циприановичу, что богатая утварь имеется не только у одних облагороженных армян.

Панна Сенинская побежала в людскую; но, желая еще до ужина покончить с другим, более важным для нее делом, она позвала мальчика и сказала ему:

– Слушай, Войтуша! Сбегай в Выромбки и скажи пану Тачевскому, что паненка низко кланяется и посылает ему шапку. Вот тебе грош и повтори, что ты должен ему сказать?

– Что паненка кланяется и посылает шапку.

– Не просто кланяется, а «низко кланяется», понимаешь?

– Понимаю.

– Ну, ступай! Да возьми кожух, а то ночью снова будет мороз. Возьми и собак с собой. «Низко кланяется», помни и возвращайся скорее, разве только пан захочет прислать ответ.

Устроив таким образом это дело, панна Сенинская отправилась в кухню, чтобы заняться ужином, который был уже почти готов, так как в доме ожидали возвращения хозяина с гостями. Потом, принарядившись и пригладив волосы, она вошла в столовую.

Старый Циприанович добродушно поздоровался с ней, потому что ее молодость и красота еще в Едлинке сильно пришлись ему по сердцу. А так как он уже совершенно успокоился за сына, то, сев за ужин, он начал весело разговаривать с нею, стараясь даже с помощью шуток разогнать те тучки, которые он видел на ее лице и причину которых он приписывал именно тому, что произошло.

Но ужину не суждено было кончиться для девушки благополучно. После второго блюда на пороге столовой появился Войтуша и, дую на замерзшие пальцы, закричал:

– Паненка! Шапку я оставил, но пана Тачевского нет в Выромбках; он уехал с ксендзом Войновским.

Услышав это, пан Понговский изумился, нахмурил брови и, устремив свои железные глаза на мальчика, спросил:

– Что такое? Какая шапка? Кто тебя посылал в Выромбки?

– Паненка, – испуганно отвечал мальчуган.

– Я, – повторила панна Сенинская.

И, видя обращенные со всех сторон на себя взгляды, она страшно смутилась, но не надолго, так как находчивый женский ум быстро пришел ей на помощь.

– Пан Тачевский привез сюда раненых, – проговорила она, – но мы с тетушкой очень плохо приняли его. Вот он и рассердился и без шапки убежал домой, а я ему отослала шапку.

– Правда, мы не очень-то любезно приняли его, – отозвалась пани Винницкая.

Пан Понговский облегченно вздохнул, и лицо его стало менее грозным.

– Хорошо сделали! – сказал он. – А шапку я и сам бы отослал ему, ведь у него, наверно, нет другой.

Но благородный и беспристрастный пан Циприанович начал заступаться за Тачевского.

– Мой сын, – проговорил он, – нисколько не обижается на него. Они сами принудили его драться, а он их потом еще отвез к себе, перевязал и угостил. Букоемские говорят то же самое, да еще прибавляют, что он прекрасно владеет саблей, и если бы захотел, то мог бы и не так искалечить их. Ловко! Хотели его проучить, а сами нашли в нем учителя. Если это правда, что его величество король собирается на турок, то ему такой человек, как Тачевский, пригодится там.

Пан Понговский с неудовольствием слушал эти слова и, наконец, сказал:

– Это ксендз Войновский научил его этому искусству.

– Ксендза Войновского я видел только раз за богослужением, – говорил Циприанович, – но много слышал о нем еще в бытность мою в войсках. Другие ксендзы смеялись над ним тогда, говоря, что его дом подобен ковчегу, в котором он, точно Ной, воспитывает всяких животных. Во всяком случае, я знаю, что это был добрый рубака, а теперь благороднейшая душа, и если пан Тачевский перенял у него эти свойства, то я желал бы, чтобы мой сын, когда он выздоровеет, не искал себе другого друга...

– Говорят, что сейм немедленно займется стягиванием войск, – желая переменить разговор, вставил пан Грот.

И разговор перешел на войну. Но после ужина, выискав удобную минутку, панна Сенинская подошла к пану Циприановичу и, подняв на него свои синие глазки, сказала:

– Ваша милость, вы очень, очень добры.

– Это почему же такое? – спросил Циприанович.

– Потому что вы заступились за пана Яцека.

– За кого? – спросил Циприанович.

– За пана Тачевского. Его зовут Яцек.

– Ба! А сами вы так сурово отзывались о нем. Зачем же?

– Еще хуже с ним обошелся опекун. Но я признаюсь вашей милости, что мы поступили с ним несправедливо, и думаю, что его следует чем-нибудь утешить...

– Он тоже, вероятно, обрадуется, услышав это от вас!

А девушка отрицательно покачала своей золотой головкой.

– О нет! – с печальной улыбкой произнесла она. – Он уже навеки рассердился на нас...

Циприанович посмотрел на нее поистине добрым, отеческим взглядом.

– Да кто же может навеки рассердиться на вас, мой прелестный цветочек?

– О, он может!.. А что касается до утешения, то для него было бы самым лучшим, если бы вы сами сказали ему, что не гневаетесь на него и считаете его невинным. Тогда бы уж и опекун должен был отдать ему справедливость, в которой мы отказали ему.

– Вижу, что вы вовсе не были с ним так резки, коли теперь так горячо заступаете за него.

– Потому что меня мучает совесть, и я не хочу никого обидеть, а кроме того, он один на всем свете и такой бедный.

– Ну, так я скажу вам, что я уже давно решил это в душе. Опекун ваш, как гостеприимный хозяин, заявил мне, что не отпустит меня, пока мой сын не поправится, но и Стаха и Букоемских можно хоть завтра забрать домой. Но перед отъездом я непременно побываю и у пана Тачевского и у ксендза Войновского и сделаю это не по какой-нибудь доброте, а потому, что считаю, что должен это сделать. Я не говорю, что я злой, но, думаю, что если и есть здесь кто-нибудь добрый, так это не я, а вы. Не оспаривайте!

Однако девушка начала протестовать, чувствуя, что ее интересует не только справедливость по отношению к Яцеку, но и другие вещи, о которых не посвященный в ее девичьи расчеты Циприанович не мог ничего знать. Но сердце ее переполнилось благодарностью к нему, и, отправляясь спать, девушка поцеловала ему руку, за что пан Понговский сильно рассердился на нее.

– Ведь это только дворяне в третьем поколении, а до того были купцами, – говорил он. – А ты должна помнить, кто ты!

VI

Спустя два дня Яцек отправился с десятью дукатами в Радом, чтобы прилично экипироваться перед отъездом, а ксендз Войновский остался в приходском доме, размышляя, где бы взять еще денег на полное военное обмундирование, на лошадей, подводы, свиту, – на все то, что должен был иметь дружинник, если он уважал приличия и не хотел, чтобы его самого считали за какого-то выскочку.

В особенности следовало так поступить Тачевскому, носившему громкое и славное, хотя уже и несколько позабытое в Речи Посполитой имя.

И вот в один прекрасный день ксендз Войновский сел к столу, нахмурил брови, так что седые волосы спустились ему на лоб, и начал считать, сколько на что потребуется. Animalia[16], то есть собачка Филя, ручная лисичка и барсук кувыркались у его ног, но он не обращал на них внимания. Он был очень занят своими расчетами и озабочен, ибо у него ничего не выходило, и счет то и дело путался. Не хватало не только на второстепенные, но и на главные вещи. Старик все сильнее тер лоб и, в конце концов, начал сам с собой разговаривать:

– Он взял десять – хорошо. Наверно, у него ничего не останется. Посчитаем дальше: от пивовара Кондрата займы – пять, от Слонинки – три, итого восемь. От Дуды шесть битых прусских талеров и лошадь в долг. Заплачу ячменем, если уродится. Всего вместе восемь червонцев и шесть талеров да двадцать золотых моих. Мало! Если бы я даже отдал ему своего валаха под конюха, то и тогда, считая с одолженной лошастью, будет две, а в телегу нужно еще две и для Яцека верховых нужно, по крайней мере, две. Вот беда! А меньше нельзя: если у него одна падет, то другая должна быть на смену. А одежда для людей, а припасы на телегу, а котлы, а попоны, а погребцы! Тьфу, с такими деньгами только разве в драгуны можно идти.

Потом он обратился к животным, которые производили страшный шум.

– Тише, вы, оглашенные! А не то шкуры с вас жидам продам. И старик снова начал разговаривать сам с собой:

– Яцек прав, что Выромбки нужно продать. Но это потом, а не то его спросят: ты откуда? – а он и не будет знать, что ответить. Откуда? Из Ветрова. Из какого Ветрова? Да от ветра в поле. Сейчас же каждый будет третировать его. Лучше заложить, лишь бы охотник нашелся. Понговскому это было бы всего сподручнее, но Яцек не захочет об этом и слышать, да я и сам не заговорил бы с ним об этом деле... Боже мой! Несправедливо люди говорят: «Беден как церковная мышь!» Человек бывает иногда еще беднее. Церковная мышь на святого Стефана[17] живет в свое удовольствие, а воск и всегда имеет. Господи Иисусе Христе! Ты еси умножил хлеб и рыбу, умножь же и эти несколько червонцев и талеров, ибо у тебя, милостивый Боже, ничего не убудет, а несчастному Тачевскому ты этим поможешь...

Тут ему пришло в голову, что прусские талеры, как происходящие из лютерского края, могут возбудить в ребе только раздражение. Что же касается червонцев, то он заколебался, не положить ли их под стопы Христа? Вдруг да завтра их окажется больше. Однако он не чувствовал себя достойным чуда и даже несколько раз ударил себя в грудь, раскаиваясь в своей дерзкой мысли. Но размышления его были прерваны, так как к дому кто-то подъехал.

Через минуту дверь отворилась, и в комнату вошел высокий, седой мужчина, с черными глазами, смотревшими умно и добродушно. Вошедший поклонился с порога и сказал:

– Я – Циприанович из Едлинки.

– Как же, я видел вашу милость на празднике в Притыке, но только издали, ибо съезд был громадный, – воскликнул ксендз, быстро подходя к гостю. – Я с радостью приветствую вас в моей бедной хате.

– И я тоже с радостью вхожу сюда, – отвечал Циприанович. – Великий это и приятный долг поклониться такому знаменитому рыцарю и такому святому священнослужителю.

С этими словами он поцеловал его в плечо и в руку, хотя тот и отмахивался, говоря:

– Ох, какая уж там святость! Быть может, вот эти животные имеют больше заслуг перед Богом, чем я.

Но Циприанович говорил так просто и искренне, что сразу расположил к себе ксендза Войновского. Они сразу начали говорить друг другу любезные, но исходящие от чистого сердца слова.

– Познакомился я и с вашим сыном, – говорил ксендз, – благородный и воспитанный кавалер. Эти Букоемские рядом с ним точно его придворные. И скажу вам, что Яцек так полюбил его, что только и знает восхваляет.

– И мой Стах тоже. Часто случается, что люди подерутся, а потом и полюбят друг друга. Никто из нас не только не питает никакой злобы к пану Тачевскому, но все мы хотели бы заключить с ним искреннюю дружбу. Я был уже у него в Выромбках и теперь еду оттуда. Я думал, что застану его здесь, и хотел пригласить в Едлинку вас, преподобный отец, и его.

– Яцек сейчас в Радоме, но он еще вернется сюда и, вероятно, охотно предоставит себя в ваше распоряжение... Но подумайте только, ваша милость, как они там обошлись с ним в Белчончке.

– Они уж и сами хватились, – отвечал пан Циприанович, – и теперь жалеют: не пан Понговский, а женщины.

– Пан Понговский на редкость злой человек, и когда-нибудь он даст ответ перед Богом, а что касается женщин, так Господь с ними... Что уж скрывать, что одна из них и была причиной этого поединка.

– Я уж и сам догадывался об этом, прежде чем мне сын рассказал. Но это невинная причина.

– Все они невинны... А знаете ли вы, что Екклесиаст говорит о женщинах?

Пан Циприанович не знал; тогда ксендз снял с полки фолиант и прочел вслух отрывок о женщинах.

– Ну, что? – спросил он потом.

– Бывают и такие, – отвечал пан Циприанович.

– Яцек тоже по этой причине отправляется в свет. Но я не удерживаю его. Наоборот.

VII

– Как же это? Сейчас же отправляется? Ведь война начнется только летом.

– Вы наверно знаете?

– Знаю, потому что я расспрашиваю, а расспрашиваю потому, что и своего сына не удержу.

– На то он шлятич. А Яцек отправляется сейчас, ибо, откровенно говоря, ему тяжело здесь оставаться.

– Понимаю, все понимаю. Быстрота – это самое лучшее лекарство в таких случаях.

– Вот он и думает остаться здесь столько времени, сколько потребуется, чтобы

продать или заложить Выромбки. Небольшой это клочок, но я все-таки советую Яцеку лучше заложить, чем продать его. Если бы даже ему уж никогда не суждено было вернуться сюда, все-таки он будет считаться их владельцем, как это приличествует человеку с его именем и происхождением.

– А разве ему необходимо продать их или заложить?

– Необходимо. Он человек бедный, совсем бедный. Вы ведь знаете, сколько стоит каждая экспедиция, а ведь он не может служить в каком-нибудь драгунском полку.

Пан Циприанович на минуту задумался и потом сказал:

– Знаете что, преподобный отец? Не взять ли мне в залог Выромбки?

Ксендз Войновский покраснел, как девушка, которой молодой человек неожиданно признается в том, что она страстно желала услышать; но румянец этот промелькнул по его лицу так быстро, как летняя молния пролетает по вечернему небу, после чего ксендз взглянул на Циприановича и спросил:

– А зачем вам это?

А тот отвечал со всей искренностью благородной души:

– Зачем мне это? А затем, что я хочу оказать услугу благородному молодому человеку безо всякой утраты для себя и приобрести, таким образом, его благодарность. Не беспокойтесь, преподобный отец, у меня есть и свои расчеты. Я пошлю своего единственного сына в тот самый полк, где будет служить пан Тачевский, и надеюсь, что мой Стах найдет в нем достойного друга и товарища. Ведь вы знаете, как важно попасть в хорошую компанию и что значит верный друг – и в обозе, где так легко натолкнуться на всякие приключения, и на войне, где еще легче повстречаться со смертью. Бог мне не отказал в богатстве, а дитя дал только одно. Пан Тачевский – человек мужественный, умный и, как оказалось, прекрасно владеет саблей, а кроме того, честный, ибо вы воспитали его! Так пусть же они будут со Стахом, как Орест и Пилад. Вот каков мой расчет.

Ксендз Войновский широко раскрыл ему свои объятия.

– Это Господь прислал вас! За Яцека я ручаюсь, как за себя самого. Золотой это малый и сердце у него мягкое, как пшеничная мука. Сам Господь послал вас! Теперь мой мальчик сможет показаться, как подобает для Тачевского-Повалы, а главное, увидев широкий свет, быть может, забудет об этой девушке, ради которой он погубил столько лет и так много выстрадал.

– Значит, он уже давно любил ее?

– Ба! Да, собственно говоря, с самого детства. Он и теперь ничего не говорит, зубы стискивает, а сам извивается, как угорь на огне... Пусть уж он скорее едет, потому что из этого ничего не могло и не может выйти.

Наступило минутное молчание.

– Однако нужно обязательно поговорить об этих делах, – проговорил, наконец, старик. – Сколько, ваша милость, можете вы дать под залог Выромбок? Повторяю, ничтожный клоч земли.

– Да хоть бы и сто дукатов.

– Побойтесь вы Бога, ваша милость!

– А почему же? Если пан Тачевский заплатит мне эти деньги когда-нибудь, то не все ли равно, сколько я дам, а если не заплатит, то я тоже ничего не потеряю, так как здесь кругом земли плохие, а у него новь после леса, а потому, наверное, земля хорошая. Сегодня я увожу Стаха и Букоемских обратно в Едлинку, а вы уж пожалуйте к нам с паном Тачевским, как только он вернется из Радома. Деньги будут приготовлены.

– Вы как с неба свалились к нам вместе с вашим золотом и золотым сердцем, – отвечал ксендз Войновский.

Потом он приказал принести меду, сам разлил в кубки, и они начали с удовольствием пить, как пьют довольные чем-нибудь люди. Однако при третьем кубке ксендз вдруг снова сделался серьезным и сказал:

– За помощь, за доброе слово, за честность вашу я хочу отплатить вам хоть добрым советом.

– Слушаю.

– Не поселяйте, ваша милость, своего сына в Выромбках. Девушка так красива, что лучше трудно себе и представить. Не спорю, быть может, она сама по себе и весьма добродетельна, но она – Сенинская, а этим, если не она сама, то во всяком случае пан Понговский так горд, что если бы к ней посватался – разве я знаю? – ну хотя бы сам королевич Яков, то и это, пожалуй, показалось бы старику слишком мало. Берегите, ваша милость, сына, не позволяйте ему ранить свое молодое сердце об эту спесь, или навеки разбить его, как разбил свое Яцек. Я говорю это вам из искренней и благожелательной дружбы, желая заплатить добром за добро. Пан Циприанович провел рукой по лбу и ответил:

– Они свалились к нам в Едлинку точно с неба, застигнутые приключением в дороге. Я был когда-то в доме пана Понговского с визитом, как сосед, но он у меня не был. Заключение из этого о его спеси, я больше не искал его знакомства и дружбы. Это случилось само собой. Но сына я не поселю в Выромбках и не позволю ему засиживаться в Белчончке. Мы не столь старая шляхта, как Сенинские, ни даже, как Понговские, но мы заслужили свое звание на войне, за то, что у кого болело, как говаривал пан Чарнецкий. И мы сумеем поддержать нашу честь, и мой сын не менее чувствителен к этому, чем я. Трудно молодому человеку уберечься от стрел Купидона, но скажу вам, преподобный отец, что заявил мне Стах, когда я спрашивал его в Белчончке о девушке: «Я предпочитаю совсем не рвать яблока, – сказал он, – чем прыгать слишком высоко, потому что, если не допрыгнешь, будет стыдно».

– О, он хорошо рассуждает! – воскликнул ксендз.

– Такой он был у меня с детства, – с оттенком гордости отвечал старый Циприанович. – Кроме того, он прибавил еще, что, узнав теперь, чем эта девушка была для Тачевского и что он перенес ради нее, он ни в коем случае не захочет стать поперек дороги такому достойному рыцарю. Нет, преподобный отец, не для того беру я под залог Выромбки, чтобы сыну моему было ближе к Белчончке. Да хранит Бог моего сына и уберезет его от всякого зла!

– Аминь. Я верю, как будто мне сам ангел сказал. А девушку эту пусть берет кто-нибудь третий, хотя бы один из братьев Букоемских, которые гордятся своим столь высоким происхождением.

Циприанович рассмеялся, допил мед, потом попрощался и уехал. Ксендз Войновский пошел в костел поблагодарить Бога за неожиданную помощь и затем начал с нетерпением ожидать Тачевского.

Когда последний, наконец, приехал, он выбежал к нему на двор, обнял его и начал восклицать:

– Яцек! За одну сбрую ты можешь заплатить десять дукатов. Сто червонцев у тебя в кармане, и Выромбки остаются у тебя!

А Тачевский устремил на него впавшие от страдания и бессонницы глаза и спросил с удивлением:

– Что случилось?

А случилась прекрасная вещь, ибо она проистекала из честного человеческого сердца. И ксендз с удовольствием заметил, что, несмотря на все свои тяжкие испытания и сердечные раны, Яцек как будто воспрянул духом при известии о договоре с Циприановичем. В течение нескольких дней он только и говорил и думал, что о лошадях, возах, военных доспехах и челяди, так что казалось, будто в его сердце ни для чего другого нет места.

«Вот так лекарство, вот так бальзам, вот так противоядие! – повторял в душе ксендз Войновский. – Если бы кто даже Бог вещь как был околдован женщиной и был самым несчастным человеком, то все-таки, отправляясь на войну, он должен посмотреть, не с изъязом ли лошадь он покупает, должен выбрать сабли, и панцирь примерить, и копьё подобрать, а душа тем временем от женщины и отвернется, а занятое более важными делами сердце почувствует облегчение».

И старик вспомнил, как в былое время, в молодости он сам искал на войне забвения или смерти. Но так как теперь война еще не разгорелась, то Яцеку было еще далеко до смерти, а между тем он совершенно был поглощен сборами и связанными с ними делами.

А дел было много.

Оба Циприановича снова приехали к ксендзу Войновскому, у которого жил Яцек. Затем все вместе отправились в город для составления соответствующего акта о закладе. Там же была приобретена часть доспехов для Яцека, а остальное предусмотрительный и опытный ксендз Войновский посоветовал купить в Варшаве или в Кракове. Это заняло несколько дней с утра до вечера, причем почти совсем уже оправившийся от незначительной раны Станислав Циприанович усердно помогал Яцеку, с которым он все больше сходилась и сближался.

Оба старика были весьма довольны этим. А благородный пан Серафим начал даже сожалеть, что Яцек так скоро уезжает, и уговаривать ксендза не слишком торопить его с отъездом.

– Я понимаю, – говорил он, – прекрасно понимаю, зачем вы хотели бы, преподобный

отец, снарядить его как можно скорее, но я должен откровенно сказать, что я об этой девушке думаю не плохо!.. Это правда, что в первый момент после поединка она не слишком любезно приняла Яцека, но подумайте, что и Стах и Букоемские только что ее и пани Винницкую вырвали из волчьей пасти, что же удивительного, что при виде их ран и крови ее охватил гнев, который, насколько мне известно, умышленно раздувал в ней Понговский. Старик страшно упрямый человек, но девушка, когда я был там, подошла ко мне ужасно огорченная: «Признаюсь, – говорила она, – что мы поступили с ним несправедливо, и мы должны чем-нибудь утешить его». И тут же глазки ее залились слезами, так что мне даже жаль стало. Нет, душа у нее справедливая и к обиде чуткая..

– Ради бога, Яцек не должен об этом знать, а не то сердце у него опять сожмется, а он только что немного вздохнул свободно. Убежал оттуда без шапки, поклялся, что не вернется, и да поможет ему Господь в этом. Женщины, ваша милость, подобны тем огонькам, что в Едльне по ночам по болотам бродят. Догоняешь его – он убегает; убегаешь от него – он догоняет... Вот это как!..

– Мудрая это мысль, я должен сохранить ее для Стаха, – произнес пан Серафим.

– А Яцек пусть себе едет поскорее. Я приготовил ему письма к различным знакомым и сановникам, которых я знал, когда они не были еще ими, и к знаменитым воинам.. В этих письмах я рекомендую и вашего сына как достойного кавалера, а когда и ему придет время отправляться, я ему дам и отдельно, хотя это, вероятно, будет излишним, ибо Яцек сам проложит там ему путь. Пусть себе служат вместе.

– От всей души благодарю вас, преподобный отец. Да, пусть они служат вместе и пусть до конца жизни пребывают в постоянной дружбе. Вы говорили о полке королевича Александра, которым командует Збержховский. Доблестный это полк, быть может, первый из всех гусарских, и я бы очень хотел, чтобы Станислав попал в него, но он мне сказал так: «Легкая конница работает шесть дней в неделю, а гусары как бы только в воскресенье».

– Он правду сказал, – отвечал ксендз. – Конечно, гусаров не посылают в разъезды, и редко кто из них выезжает на единоборство, ибо такому рыцарю непристойно сражаться с первым встречным. Но зато, когда, наконец, наступит их воскресенье, то они так напьются крови и столько набьют людей, что другие и в шесть дней не прольют столько крови. Наконец ведь не войной распоряжаются, а война приказывает, и иногда случается, что гусары имеют работу и по будням.

– Вам это лучше всех известно, преподобный отец.

Ксендз Войновский закрыл на мгновение глаза, словно желая яснее вспомнить минувшие времена, потом поднял кубок, поглядел сквозь стекло на мед, сделал два глотка подряд и сказал:

– Так было, когда мы под конец шведской войны пошли наказать изменника курфюрста за заговор с Карлом. Маршал Любомирский понес огонь и меч под самый Берлин. Я служил тогда дружинником в его собственном гусарском полку, которым командовал Виктор. Защищался от нас бранденбуржец, как только мог: и пехотой и ополчением, в котором была немецкая шляхта, и вот тут, говорю вам, ваша милость, у нас, гусар, как у простых казаков, в конце концов еле руки ворочались в плечевых суставах.

– Такая это была тяжелая работа?

– Работа-то не была тяжелая, потому что при одном нашем виде у несчастных мушкеты и пики дрожали в руках, как ветки на ветру, но работали мы целыми днями с утра до вечера. Вонзаешь ли копье в грудь или в спину, – устаешь одинаково. Эх, хорошая это была экспедиция! Как говорится, трудолюбивая, и своим чередом. Никогда в жизни я не видал столько человеческих и лошадиных задов, сколько тогда. Мы уничтожили почти половину бранденбуржцев так ловко, что даже Лютер в аду заплакал.

– Приятно вспомнить, что измена понесла заслуженное наказание.

– Конечно, приятно. Приехал потом курфюрст к пану Любомирскому просить икра. Я этого не видал, но говорили потом солдаты, что пан маршал ходил по майдану подбоченившись, а курфюрст униженно бегал за ним и кланялся так, что едва не касался париком до земли, и колени его обнимал и, говорили, даже целовал, куда ни попало; но этому я не очень-то верю, так как маршал, хоть и был горд и любил прижать врага, но человек был политичный и не допустил бы ни до чего подобного.

– Дай Бог, чтобы теперь с турками пошло так же, как тогда с бранденбуржцами.

– Не большой я знаток, но зато опытный, и скажу откровенно вашей милости, что я думаю, что пойдет так же, а может быть, даже и еще лучше. Пан маршал был опытным и, главное, счастливым полководцем, но все же его нельзя сравнить с нашим, ныне благополучно царствующим его величеством королем.

Потом они начали вспоминать все королевские победы и битвы, в которых они сами принимали участие, выпивая за здоровье короля и радуясь, что молодежь под командой такого полководца не только испытает все ощущения войны, но и прославит себя, тем более, что предстоящая война должна была вестись с вековыми врагами креста.

Правда, никто еще о ней ничего точно не знал.

Еще не было также известно, обратится ли турецкая сила прежде всего на Речь Посполитую, или на австрийского императора. Вопрос о союзе с австрийским двором должен был возбудиться только на сейме. Но уже на всех шляхетских съездах и маленьких уездных сеймах говорили только о войне. Сановники, бывавшие в Варшаве и при дворе, предсказывали ее наверняка, а кроме того, весь народ проникся предчувствием, что война неизбежна, – предчувствием, едва ли не более сильным, чем уверенность, и основанным как на предварительной деятельности короля, так и на всеобщей народной воле и народных предначертаниях.

VIII

По дороге из Радома ксендз Войновский пригласил обоих Циприановичей заехать к нему отдохнуть, после чего он собирался вместе с Яцеком отправиться к ним в Едлинку. Между тем к нему неожиданно приехали трое Букоемских. Марк, у которого была повреждена ключица; не мог еще двигаться, но Матвей, Лука и Ян приехали поблагодарить старика за перевязку. Хотя у Яна недоставало мизинца, а у старших были огромные шрамы – у одного на лбу, а у другого на щеке, но в общем все уже совершенно оправились и выглядели молодцами.

Два дня тому назад они уже побывали в пуще на охоте и, натолкнувшись на спящую в берлоге медведицу, закололи ее рогатинами, а медвежонка привезли в подарок ксендзу, любовь которого к лесным животным была известна повсюду.

Старичок, которому пришлось по сердцу эти «добрые ребята», чрезвычайно обрадовался и им и медвежонку и даже прослезился от смеха, когда тот, схватив один из кубков, налитых для гостей, начал рычать во всю глотку для возбуждения надлежащего страха и защиты своей добычи.

Потом, видя, что ее никто у него не отнимает, он стал на задние лапы и выпил мед, совсем как человек, что вызвало еще большее веселье среди присутствующих.

– Нет, я не сделаю его ни экономом, ни пасечником, – говорил развеселившийся ксендз.

– Ого, – воскликнул, смеясь, Станислав Циприанович, – недолго он побыл в школе у Букоемских, но в один день научился тому, чему не научился бы и за всю жизнь в лесу.

– Вот и неправда, – отвечал Лука. – Это животное по природе уж так умно, что знает, что хорошо. Как только мы привезли его из лесу, он сейчас же выпил горилки, точно привык каждый день ее пить в лесу, а потом ткнул собаку по морде: «Вот тебе, дескать, не обнюхивай», – и пошел спать.

– Благодаря вам я получу от него истинное утешение, – проговорил ксендз, – но экономом его не сделаю. Он хоть и большой знаток напитков, да, пожалуй, слишком усердно стал бы ухаживать за ними.

– Медведи и не на то способны, – заметил Ян. – У ксендза Гломинского в Притыке, говорят, есть такой, который на органе играет. Но некоторые прихожане огорчатся этим, так как он иногда и сам рычит в унисон, особенно, когда его дубинкой попотчуют.

– Тут не от чего огорчаться, – ответил ксендз. – Птицы свивают себе гнезда в костелах и поют во славу Божью, и никого это не смущает. Каждое животное тоже служитель Божий, а Спаситель сам родился в яслях.

– Кроме того, говорят, – произнес Матвей, – что Господь наш Иисус Христос превратил мельника в медведя, так, может быть, в нем и душа человеческая осталась.

А старый Циприанович вставил:

– В таком случае ведь вы убили мельничиху и должны ответить за это. Его величество король очень заботится о своих медведях и не для того держит лесничих, чтобы они убивали их.

Услышав это, братья сильно обеспокоились, и только после долгого размышления Матвей, желая вступить за общее дело, произнес:

– Ба! Да разве мы не шляхта? И Букоемские нисколько не хуже Собеских.

Но Луке пришла в голову счастливая мысль, и лицо его моментально прояснилось.

– Мы ведь дали рыцарское слово не стрелять в медведей, – проговорил он, – правда? Но мы и не стреляем, а закалываем их.

– Не до медведей теперь его величеству, – вставил Ян, – а кроме того, ему никто не донесет. Пусть бы только кто из лесничих осмелился... Ах! Жалко во всяком случае, что мы похвалились этим перед паном Понговским и паном Гротом. Пан Грот как раз ехал в Варшаву, а так как он часто видится с королем, то может там нечаянно и проболтаться.

– Когда же вы встретили Понговского? – спросил ксендз.

– Вчера. Он провожал пана Грота. Вы знаете, преподобный отец, где находится корчма под названием «Мордовия»? Они заезжали туда, чтобы дать отдохнуть лошадям, и нас застали. Пан Понговский начал расспрашивать нас о различных вещах и, между прочим, о Яцеке.

– Обо мне? – спросил Яцек.

– Да. «Правда ли, – спрашивает, – что Тачевский отправляется на войну?» Мы говорим: «Правда». – «А когда?» – «Вероятно, скоро». А Понговский и говорит: «Это хорошо, но, верно, в пехоту?» Тут мы все рассердились, а Матвей отвечает: «Ваша милость, таких вещей не говорите, потому что Яцек теперь наш друг, и мы будем вынуждены вступить за него». А так как мы начали уже раздражаться, он и смирился и говорит: «Я говорю это вовсе не потому, что питаю к нему нерасположение, а потому, что знаю, что Выромбки – не староство».

– Староство или не староство, ему нет до этого дела! – воскликнул ксендз. – Пусть он этим не забивает себе голову.

Но, по-видимому, пан Понговский судил об этом деле иначе и продолжал думать о Яцеке, ибо час спустя работник внес вместе с новой баклагой вина письмо с печатью и сказал:

– Посланный из Белчончки к вашему преподобию.

Ксендз Войновский взял письмо, распечатал, развернул, ударил ладонью по бумаге и, подойдя к окну, начал читать.

А Яцек даже побледнел от волнения; он точно на радугу уставился на этот лист, ибо предчувствие говорило ему, что речь идет о нем. Мысли, точно ласточки, проносились в его голове: а вдруг да старик раскаялся? Вдруг да извиняется? Так и должно быть и не может быть иначе. Ведь Понговский не имел права сердиться на то, что произошло, больше самих потерпевших. Вот у него и заговорила совесть, он понял всю несправедливость своего поступка, понял, как тяжело обидел невинного человека и теперь хочет искупить свою вину.

Сердце Яцека забилося, как молоток. «Эх, поеду, – размышлял он, – не для меня это счастье. Если даже я и прощу, то все равно забыть не смогу. Но увидеть бы только еще разок перед отъездом эту жестокую и любимую Анулю, еще разок наглядеться на нее, услышать ее голос – в этом не откажи мне, милосердный Боже!»

И мысли его мчались еще быстрее, чем ласточки, но прежде чем они все успели промчатся, случилось нечто совсем неожиданное: ксендз Войновский внезапно смял в руке письмо и схватился за левый бок, точно ища саблю. Лицо его налилось кровью, шея вздулась, а глаза начали метать молнии. Он был так страшен, что Циприановичи и Букоемские с изумлением глядели на него, точно он по какому-то волшебству превратился вдруг в другого человека.

В комнате воцарилось глухое молчание.

Между тем ксендз наклонился к окну, как бы желая через него выглянуть, потом повернулся, посмотрел сначала по стенам, потом на гостей, но, по-видимому, он уже овладел собой и опомнился, ибо лицо его побледнело и пламя в глазах погасло.

– Милостивые государи, – сказал он, – этот человек не только вспыльчивый, но и вообще злой. Ибо наговорить в запальчивости больше, чем позволяет справедливость, это может случиться с каждым, но упорно продолжать оскорблять и глумиться над оскорбленным, это уже не шляхетское и не христианское дело.

С этими словами он, наклонившись, поднял измятое письмо и обратился к Тачевскому:

– Яцек! Если в твоём сердце ещё осталась какая-нибудь заноза, то этим ножом ты удалишь её. Читай, несчастный, читай громко, ибо не ты должен стыдиться, а тот, кто написал подобное письмо. Пусть все узнают, каков этот Понговский.

Яцек схватил дрожащими руками письмо, развернул и прочёл:

«Милостивейшему отцу настоятелю и т. д. и т. д.

Узнав, что Тачевский из Выромбок, бывавший в моём доме, собирается на войну, в память того хлеба, которым я кормил его по его бедности, и тех услуг, которыми мне иногда приходилось от него пользоваться, посылаю ему лошадь и дукат на подковы с тем, чтобы он не истратил его на какие-нибудь другие непотребные вещи.

Остаюсь с совершенным почтением ваш покорный слуга... и т. д. и т. д.».

Прочтя письмо, Яцек побледнел так сильно, что все присутствующие испугались за него, а в особенности ксендз, который не был уверен, не является ли эта бледность предвестницей бешеной вспышки, а он знал, как страшен бывает в гневе этот столь ласковый обычно юноша. Он сейчас же начал успокаивать его.

– Понговский стар и у него нет руки, – торопливо говорил он. – Ты не можешь его вызвать!..

Но Тачевский и не вспыхнул, так как чрезвычайное и горькое изумление взяло в нём в первую минуту верх над всеми другими чувствами.

– Я не могу вызвать его, – как эхо повторил он, – но зачем он продолжает топтать меня?

В эту минуту встал старый Циприанович, взял обе руки Яцека, сильно тряхнул ими, потом поцеловал его в лоб и сказал:

– Себя самого опозорил этим Понговский, а не тебя, и если ты откажешься от мести, то тем сильнее будет каждый восхищаться твоей прекрасной и достойной своего высокого происхождения душой.

– Вот умные слова, – воскликнул ксендз, – и ты должен оказаться достойным их...

В свою очередь обнял Яцека и Станислав Циприанович.

– Поверь мне, – сказал он, – я теперь сильнее люблю тебя...

Братьям Букоемским, которые с момента получения письма не переставали скрежетать зубами, такой оборот дела пришелся совсем не по душе. Но по примеру Станислава и они начали обнимать Яцека.

– Пусть там будет, как вы хотите, – отозвался, наконец, Лука, – но на месте Яцека я поступил бы иначе.

– Как? – спросили с любопытством остальные братья.

– Вот именно, что я еще не знаю, как, но я бы придумал и не спустил бы ему.

– А коли не знаешь, так и не толкуй.

– А вы-то небось знаете?

– Тише! – проговорил ксендз. – Конечно, без ответа мы письма не оставим, а месть это не христианское дело.

– Ба! Однако же и вы, преподобный отец, в первый момент схватились за бок.

– Это потому, что я слишком долго носил на нем саблю. Mea culpa! А, как я уже сказал, здесь примешалось и еще то обстоятельство, что Понговский стар и не имеет руки. Стальная расправа здесь не годится... И скажу вам, господа, что он все больше становится противен мне, так как таким низким способом пользуется своей безнаказанностью.

– Во всяком случае ему тесновато будет теперь в нашем округе, – произнес Ян Букоемский. – Это уж наше дело, чтобы под его кровлей не бывала ни одна живая душа...

– Пока что надо ответить, – прервал ксендз. – И как можно скорее. Однако все призадумались, кто должен ответить: Яцек ли, для которого письмо предназначалось, или ксендз, которому оно было прислано. Решили, что ксендз. Сам Тачевский прекратил всякие сомнения, говоря:

– Для меня весь этот дом и все эти люди как бы умерли, и счастье для них, что я решил это в душе.

– Так оно и есть?! Мосты сожжены! – прибавил ксендз, ища перо и бумагу.

Тут снова вмешался Ян Букоемский:

– Это хорошо, что мосты сожжены, но лучше бы было, если бы и Белчончка превратилась в дым! Так бывало у нас в Украине, когда какой-нибудь чужой пришелец поселится у нас, а с людьми жить не умеет, то самого его убивают, а имение пускают с дымом по ветру.

Однако никто не обратил внимание на эти слова, кроме старого Циприановича, который нетерпеливо махнул рукой и произнес:

– Вы прибыли сюда из Украины, я – из-под Львова, а пан Понговский с Поморья.

Значит, следуя вашему примеру, пан Понговский мог бы всех нас считать за пришельцев. Но вы должны знать, что Речь Посполитая – это один большой дом, в котором живет шляхетская семья и в каждом уголке которого шляхтич у себя дома...

Воцарилось молчание. Только из спальни доносилось скрипение пера и вполголоса произносимые слова, которые ксендз диктовал сам себе.

Тачевский подпер голову руками и сидел так некоторое время неподвижно. Вдруг он выпрямился, обвел глазами присутствующих и произнес:

– Здесь есть нечто такое, чего я никак не могу понять.

– И мы тоже не понимаем, – ответил Лука Букоемский. – Но если ты выпьешь еще меду, то и мы выпьем.

Яцек налил машинально меду в кубки, а сам, следуя течению своих мыслей, продолжал:

– За то, что поединок начался в его доме, Понговский еще мог обидеться, хотя такие вещи случаются всюду. Но теперь он знает, что вызвал не я, что он незаслуженно обидел меня под моим собственным кровом; знает, что я уже помирился со всеми вами; знает, наконец, что я уже больше не появлюсь в его доме – и все-таки продолжает преследовать меня, старается растоптать ногами...

– Правда, это какое-то особенное упрямство, – проговорил старый Циприанович.

– И вы думаете, что здесь что-то есть?

– В чем? – спросил ксендз, вышедший с готовым письмом из спальни и слышавший только последние слова.

– В этой упорной ненависти ко мне.

Ксендз взглянул на полку, на которой, среди других книг, стояло Священное Писание, и сказал:

– Так я тебе скажу то, что говорил уже много раз: здесь замешана женщина.

И, обращаясь к присутствующим, добавил:

– Говорил ли я вам, господа, как отзывается о женщине Екклесиаст?

Но он не закончил, так как Яцек вскочил как ошпаренный, запустил пальцы в волосы и с невыразимой скорбью воскликнул:

– Тогда я тем более не понимаю... Ведь если кто на свете... ведь если кому на свете... если есть кто такой... то ведь я всю душу...

И не мог сказать ничего больше, так как сердечная боль, точно клещами, сдавила ему горло и выступила на глазах в виде двух крупных, горьких и жгучих слезинок, которые медленно скатились по его щекам.

Но ксендз отлично понял его.

– Дорогой мой, – посоветовал он, – лучше дотла выжечь рану, хотя бы это сопровождалось величайшей болью, чем оставить ее гноиться. Поэтому я и не щажу тебя. Эх, и я в свое время был светским воином, а потому многое понимаю в жизни. Знаю, что бывает и так, что воспоминание и жалость, как бы далеко человек ни уехал от них, точно псы тащатся за ним и воем своим не дают спать по ночам. Что же тогда делать? Лучше всего сразу убить их. В данный момент ты чувствуешь, что отдал бы там всю свою кровь, поэтому тебе странно и страшно, что именно месть преследует тебя с той стороны. И все это кажется тебе невозможным, тогда как оно возможно... Ибо знай, что если ты сам раздражил женскую гордость и женское самолюбие, если она думала, что ты взвоешь, а ты не взвыл, если тебя побили, а ты не преклонился, а, наоборот, дернул за цепь и разорвал ее, – знай, что это никогда не простится тебе, и что ненависть, еще более сильная, чем мужская, вечно будет преследовать тебя. А против этого есть только одно средство: переломить свое чувство, хотя бы с болью для сердца, и далеко отбросить его от себя, как треснувший лук. Вот что!

И снова воцарилась глубокая тишина. Старый Циприанович кивал головой, соглашаясь с ксендзом, и, как человек опытный, восторгался мудростью его слов.

Яцек повторил:

– Правда, что я потянул за цепь и разорвал ее... Да, это не Понговский преследует меня!

– Я знаю, что бы я сделал, – отозвался внезапно Лука Букоемский.

– Говори скорее, не скрывай! – воскликнули другие братья.

– А знаете, что говорит заяц?

– Какой заяц? Ты пьян, что ли?

– А тот, что под межой.

И, очевидно подбодренный недоумением окружающих, он встал, уперся руками в бока и запел:

Сидит заяц под межой,
Под межой,
А охотнички-то мимо всей гурьбой,
Все гурьбой.
Сидит заяц, причитает,
Завещанье составляет
Под межой.
Тут он обратился к братьям:

– А знаете, что стоит в завещании?

– Знаем, но приятно послушать!

– Ну, так слушайте:

Поцелуйте меня, милые,
Вы охотнички удалые,

Поцелуйте в нос...

...Вот что написал бы я на месте Яцека всем в Белчончке, а если он этого не сделает, то пусть меня первый янычар выпотрошит, если я этого от своего имени не напишу на прощанье Понговскому.

– О! Ей-богу, прекрасная мысль! – радостно воскликнул Ян.

– И остроумно и к делу!

– Пусть Яцек так и напишет!

– Нет, – проговорил ксендз, вышедший из терпения от разговора братьев, – отвечает не Яцек, а я, а мне не подобает заимствоваться у вас советами.

Тут он обратился к Циприановичам и Яцеку:

– Дело было не легкое, ибо нужно было и злости рога спилить, и с политикой не разойтись, и показать, что мы догадываемся, откуда высунулось жало. Теперь слушайте, а если кто-либо из вас сделает нужное замечание, буду очень рад.

И он начал читать:

– «Его высокоблагородию, благодетелю и любезному брату...»

Тут он ударил ладонью по письму, говоря:

– Заметьте, господа, что я не пишу ему: «милостивый государь», а «любезный брат»...

– Уж достанется ему, – проговорил пан Серафим, – читайте, отец, дальше.

– Ну, слушайте. «Всем гражданам, живущим в Речи Посполитой, известно, что только те умеют во всяких случаях жизни соблюдать политику, которые с детства вращались среди дипломатических сфер, или те, которые, происходя из великопоставленного рода, унаследовали ее от своих предков. А так как ни то, ни другое не дано вашей милости, благодетелю, в удел, то вельможный пан Яцек Тачевский, ex contrario[18] вашей милости, унаследовавший прекрасную душу и кровь от своих славных предков, прощает вам ваши простецкие слова и столь же простецкие дары отправляет обратно. В виду же того, что вы, как компаньон, содержащий постоянные дворы в городах и корчмы на больших дорогах, как бы подаете счет вельможному пану Яцеку Тачевскому за то гостеприимство, которым он пользовался в доме вашей милости, то пан Тачевский готов все expensa[19] вернуть вам с избытком, соответственно прирожденной ему щедрости...»

– Ей-богу! – прервал его старый Циприанович. – Понговский, пожалуй, обольется кровью!

– Надо же было прежде всего покорить его спесь, а что при этом сжигаются все мосты, так ведь сам Яцек этого хотел.

– Да! Да! – лихорадочно воскликнул Тачевский.

– А теперь послушайте, что я ему пишу уже прямо от себя: «К этому вразумлению я сам склонил пана Тачевского, предполагая, что лук, правда, ваш, но отравленная

стрела, которой вы хотели поразить благородного юношу, быть может, вышла не из вашего колчана, ибо разум, равно как и сила, с годами слабеет, и дряхлая старость легко поддается постороннему влиянию, потому и заслуживает тем большего снисхождения. На этом я и кончаю, прибавляя лишь, как священник и служитель Божий, ту мысль, что чем старше человек и конец его ближе, тем меньше подобает ему служить гордости и ненависти, а больше следует думать о спасении души, чего я и себе и вашей милости желаю. Аминь. При чем остаюсь вашим» и проч. и проч.

– Все написано accurate[20], – проговорил пан Серафим. – Ни прибавить, ни убавить.

– Гм! – произнес ксендз. – И вы думаете, что оно соответствует его заслугам?

– Ой-ой! Меня прямо в жар при некоторых словах бросало.

– И меня, – добавил Лука Букоемский. – В самом деле, когда человек слышит такие вещи, то ему пить хочется, как в летний зной.

– Угощай же, Яцек, гостей, а я запечатаю письмо и отправлю.

С этими словами он снял с пальца перстень и пошел в спальню. Однако при запечатывании письма ему, по-видимому, пришли в голову какие-то новые мысли, ибо, вернувшись, старик сказал:

– Готово. Дело сделано. Но не слишком ли будет резко? Вдруг да старик поплатится здоровьем? Раны, нанесенные пером, болят не меньше тех, которые причиняет меч или пуля.

– Правда! Правда! – отозвался Тачевский и стиснул зубы.

Но именно этот невольный крик боли решил вопрос. Старый Циприанович ответил:

– Преподобный отец, благородные это сомнения, но Понговский не имел их. Его письмо метит прямо в сердце, а ваше только клеймит гордость и злобу, поэтому я считаю, что оно должно быть отослано.

И письмо было послано, после чего начались еще более поспешные приготовления к отъезду Яцека.

IX

Однако друзья Яцека не предвидели, что письмо ксендза будет в известном отношении на руку пану Гедеону Понговскому и послужит его домашней политике.

Правда, он принял его не без гнева. Яцек, служивший ему до сих пор только помехой, стал теперь предметом его ненависти, хотя и не был автором письма. Ненависть эта расцвела в его старом, озлобленном сердце, точно ядовитый цветок, но хитрый ум решил воспользоваться ответом ксендза.

И вот, победив свой бешеный гаев и придав лицу выражение презрительной жалости, пан Гедеон отправился с письмом в руке к панне Сенинской.

– За твое жито тебя же побито! – проговорил он. – Я, как человек опытный и знающий людей, не хотел сделать этого; но когда ты начала складывать руки и умолять, говоря, что его обидели, что я был с ним слишком суров и ты тоже, что

лучше, чтобы он не уезжал в гнев, вот я и уступил: послал ему денежное пособие, послал лошадь и дипломатическое письмо. Думал, что он приедет, поклонится, поблагодарит, попросится, как подобает тому, кто провел столько времени под этим кровом, и вдруг, смотри, какой ответ я получил!

С этими словами он вынул из-за пояса письмо ксендза и подал его девушке.

Она начала читать, и вдруг ее темные брови гневно нахмурились. Но когда она дошла до того места, где ксендз говорит, что Понговский хотел унижить Яцека благодаря «постороннему влиянию», руки ее задрожали, и лицо облилось багровым румянцем, а потом девушка побледнела как полотно и так осталась.

Но пан Гедеон, прекрасно видевший все это, притворился, что ничего не заметил.

– Да простит им Бог за то, что они написали *ad personam*[21], – после минутного молчания отозвался он, – ибо только он один знает, действительно ли Понговские настолько хуже Тачевских, о знаменитом роде которых люди больше говорят, чем это есть на самом деле. Но я не могу простить им, что за твое ангельское сердце они отплатили тебе, бедняжка моя, такой черной неблагодарностью.

– Это не Яцек ответил, а ксендз Войновский, – отвечала панна Сенинская, хватаясь за последнюю соломинку.

В ответ на это старый шляхтич вздохнул и спросил:

– Веришь ли ты, девушка, что я люблю тебя?

– Верю, – ответила она, наклоняясь и целуя его руку.

А он с нежностью погладил ее по белокурой головке.

– Хотя и веришь, – заговорил он, – но не знаешь, насколько сильно. Ты единственное мое утешение. Редко я позволяю себе говорить и редко высказываю то, что чувствует мое сердце, так как в нем скрыта старая, глубокая боль. Но ты должна только понять, что ты у меня одна на свете. Не кручину и огорчения, и тем более страдания, а, наоборот, радость и счастье хотел бы я увеличить для тебя в каждую минуту твоей жизни. Я не хочу допытываться, что начало зарождаться в твоём сердце, но скажу тебе только одно: было ли это, как я предполагаю, чисто братское чувство, или что-либо большее, но этот молодой человек не достоин его, так как он отплатил нам неблагодарностью за нашу искреннюю дружбу. Милая моя Ануля, ты сама обманывала бы себя, если бы думала, что ксендз Войновский ответил так без ведома Тачевского. Они вдвоем составляли ответ – и знаешь, почему ответили так гордо? Потому что, как я слышал, Тачевский достал денег у того армянина из Едлинки. Вот чего ему было нужно, а когда у него это есть, ему уже ни до кого и ни до чего нет дела. Такова истина, и ты сама должна признаться в душе, что думать иначе значит умышленно обманывать себя.

– Признаюсь, – прошептала девушка.

Пан Гедеон на мгновение задумался, точно соображая что-то и, наконец, сказал:

– Нет! Говорят, что у стариков уж такой обычай, хвалить былые времена и порицать новейшие. Нет! Это не обычай!.. Портится свет, портятся люди, и в мое время никто бы не поступил так, как Тачевский. Знаешь ли ты, с чего началось все это?

Поводом послужил тот ночлег на дереве, который выставил этого кавалера на всеобщее посмешище... Спешить как будто кому-то на помощь, да самому взлезть со страху на дерево – это, конечно, может случиться, но лучше уж в таких случаях не хвалиться, ибо это просто смешно. Правда, я ни Букоемских, ни Циприановичей тоже не выдаю за каких-нибудь героев: все они пьяницы, бродяги, картежники – знаю! И тогда они больше думали о волчьих шкурах, чем о нашем спасении. Но в Тачевском гнездится такая злоба, что он им и этой невольной помощи не мог простить. Отсюда загорелся и этот поединок. Так пусть же меня судит Бог, если я не имел права сердиться. Ха-ха! Они потом помирились, потому что кавалер, видно, понял, что у Циприановичей можно достать деньги, и предпочел обратиться на нас свою злобу. Спесь, злоба, алчность и неблагодарность, – вот что обнаружилось в нем. И ничего больше! Он обидел меня, Бог с ним, но за что тебя, мой цветочек? Целые годы соседства, целые годы гостеприимства, ежедневные посещения!.. Цыган при таких условиях привяжется, ласточка к стрехе привыкнет, аист сживается с гнездом, – а он плюнул на наш дом, как только почувствовал в кармане армянский грош... Нет, нет! Так бы в мое время никто не поступил!

Панна Сенинская слушала, приложив руки к вискам и устремив неподвижный взгляд прямо перед собой. Заметив это, пан Понговский внимательно посмотрел на нее и спросил:

– О чем ты призадумалась?

– Я не призадумалась, – отвечала она, – только мне так грустно, что я не нахожу слов...

И, не найдя слов, она нашла слезы. Пан Гедеон дал ей наплакаться вволю.

– Лучше пусть твоя грусть, – сказал он, наконец, – выйдет вместе со слезами, чем останется навсегда в сердце. Ну, ничего не поделаешь! Пусть себе едет, пусть бренчит чужими талерами, пусть волочит по грязи конский хвост, разыгрывает пана и ухаживает за варшавскими блудницами. А мы здесь останемся с тобой, моя девочка... И в самом деле, хотя не велика эта утеха, а все-таки утеха, если подумаешь, что никто тебя здесь не обманет, никто не оскорбит, никто сердца твоего не ранит, и что всегда ты будешь здесь как зеница ока для каждого, и твое счастье будет здесь первой заботой, а в то же время и последней мыслью всей моей жизни. Подойди ко мне...

Он протянул к ней руку, а она упала к нему в объятия, растроганная и в то же время благодарная, как дочь отцу, который утешает ее в момент огорчения. Пан Понговский снова начал гладить своей единственной рукой ее белокурую головку, и долго так сидели они молча.

Между тем стемнело. Потом замерзшие стекла заискрились от лунного света и кое-где отозвались на дворе протяжным лаем собаки.

– Встань, дитя мое, – произнес, наконец, пан Гедеон. – Больше не будешь плакать?

– Нет, – отвечала девушка, целуя его руку.

– Вот, видишь! Помни всегда, где у тебя есть тихая пристань и где спокойно тебе будет и уютно. Каждый молодой человек любит гоняться по всему свету, как ветер по полю, а у меня ты одна. Заметь это себе хорошенько!.. Наверное, ты уж не раз думала: «Опекун глядит на всех сурово, как волк, так и ищет, на кого бы

накричать, и не имеет снисхождения к моей молодости». А знаешь ли ты, о чем этот опекун думал и думает? Он думает часто о своем минувшем счастье, о той боли, которая, точно стрела, засела в его сердце, но, кроме того, только о тебе, только о твоей будущей доле, только о том, как бы накопить для тебя побольше добра. С паном Гротом я целыми часами беседовал об этом, так что он иногда даже смеялся, говоря, что у меня только эта одна мысль и осталась. А я забочусь только о том, чтобы после моей смерти обеспечить тебе верный и достаточный кусок хлеба.

– Не дай мне Бог дожить до этого! – воскликнула девушка, снова склоняясь к руке пана Гедеона. В ее голосе прозвучало столько искренности, что суровое лицо шляхтича просияло на мгновение настоящей радостью.

– Любишь ли ты меня хоть немножко?

– Ах, опекун!

– Господь вознаградит тебя, дитя мое. Я еще не так стар, и тело мое, если бы не раны сердца и наружные, было бы достаточно крепким. Но говорят, что смерть всегда сидит у ворот, а когда захочет, стучится в дом. В таком случае ты осталась бы на свете одна с пани Винницкой. Пан Грот человек добрый и состоятельный, и он всегда исполнит мою волю и мое завещание, но что касается остальных родственников моей покойницы жены... кто их там знает! А Белчончку я унаследовал от жены. Вдруг они вздумают протестовать, судиться... Нужно все заранее предвидеть. Пан Грот дал мне совет – пожалуй, и правильный, но странный – и потому я не буду говорить тебе о нем... Я хотел бы увидеть его величество короля, чтобы поручить его опеке тебя и свое завещание. Но король теперь занят сеймом и будущей войной. Пан Грот говорил, что, если будет война, то гетманские войска двинутся первыми, а сам король останется в Кракове... Может быть, тогда... Может быть, соберемся вместе... Но что бы ни случилось, знай, дитя мое, что все мое имущество будет твоим, хотя бы для этого пришлось, действительно, последовать совету пана Грота. Ба!.. Хоть бы даже за час перед смертью!.. Итак, помоги мне Господь! Ведь я не ветрогон, не прощельга, не Тачевский.

Х

Панна Сенинская вернулась к себе, преисполненная благодарности к опекуну, который никогда еще так сердечно не говорил с нею. Она была растрогана и в то же время чувствовала отвращение ко всему свету и к людям. В первый момент она не могла думать спокойно и чувствовала только, что ей причинили тяжкую обиду, великую несправедливость, и что она горько ошиблась.

За ее сердце, за жалость и тоску, за все то, что она сделала, чтобы вновь скрепить разорванный узел, ей оплатили лишь ненавистным подозрением. И ничего уже нельзя было изменить. Не могла же она вторично написать Яцеку, объяснять ему и оправдываться. При одной мысли об этом лицо ее заливалось румянцем стыда и унижения. Кроме того, она была почти уверена, что Яцек уже уехал...

А потом начнется война, может быть, они уже никогда в жизни не увидятся, может быть, он падет на поле брани – и падет уверенный, что в груди ее билось злое, изменчивое сердце. И вдруг ее охватила бесконечная жалость: Яцек, как живой, предстал перед ее глазами, со своим смуглым лицом и печальными глазами, над которыми она не раз насмеялась за то, что они были, как у девушки.

Мысль Анули, словно быстролетная ласточка, летит за путником и зовет его: «Яцек,

ведь я не хотела тебе зла! Яцек! Бог видит мое сердце!» Так зовет она его, а он и не спрашивает: едет себе вперед, а как вспомнит о ней, то только нахмурится и плюнет.

И опять на ресницах девушки задрожали слезинки. На нее нашла какая-то слабость, не то минутная чувствительность, не то рассудительность, и она начала повторять себе: «Ну, ничего не поделаешь!.. Да простит его Бог и направит его, а обо мне не толк!..»

Однако губки ее дрожали, как у ребенка, глаза смотрели, как у замученного птенчика, и где-то там, в скрытом тайничке своей чистой, как слеза, души, она тихонько жаловалась Богу на то, что ее постигло.

Она была теперь уверена, что Яцек никогда не любил ее, и не могла понять почему.

«Опекун говорил правду», – думала она.

Но затем пришло размышление.

«Нет, этого все-таки не могло быть».

Тут она вспомнила слова Яцека, которые, точно на мраморе запечатлелись в ее памяти: «Не ты уйдешь, а я сам уйду, только скажу тебе еще, что хотя я любил тебя много лет больше здоровья, больше жизни, больше собственной души, теперь я уже не вернусь сюда: буду пальцы грызть от боли, но не вернусь, да поможет мне Бог в этом!» Когда он говорил это, он был бледен как мел и почти обезумел от гнева и боли. Не вернулся – правда! Не показался больше, забыл, отрекся от нее, покинул, оскорбил неосновательным подозрением, вместе с ксендзом написал это ужасное письмо – все это правда, и опекун был прав. Но чтобы он никогда не любил ее, чтобы, получив деньги, он мог уехать с легким сердцем, чтобы совсем перестал думать о ней, этого нельзя было никак допустить.

Заботливый опекун мог так думать, но на самом деле было иначе. Не бледнеет, не скрежещет зубами, не грызет пальцев от боли и не терзается тот, кто совершенно не любит...

Правда, девушка подумала, что если даже так, то разница только в том, что страдают двое, а не она одна, но все-таки эта мысль придала ей бодрости и даже вселила некоторую надежду.

Предстоящие дни и месяцы показались ей, может быть, еще более грустными, но зато менее горькими. Слова письма тоже перестали жечь ее как раскаленное железо; хотя она и не сомневалась, что Яцек принимал в нем участие, но ведь одно дело, когда человек делает что-нибудь под влиянием отчаяния и боли, а другое – когда по холодной злобе...

И опять с новой силой охватила ее глубокая жалость к Яцеку, такая глубокая и такая горячая, что это могла, пожалуй, быть и не только жалость. Мысли девушки начали сплетаться в какую-то золотую нить, которая терялась в будущем, но в то же время бросала на него какой-то радостный блеск.

Война кончится и разлука – тоже.

Правда, этот жестокий Янек уже не вернется в Белчончку – о, нет! Такой упрямей

когда что-нибудь скажет, так уж свое слово сдержит, но он вернется в эти края, в Выромбки, будет жить поблизости, а потом случится то, что угодно будет Богу. Быть может, он уезжал со слезами, с болью, быть может, ломал даже руки, так пусть же Господь утешит его!

Домой же всегда возвращаются с ликующим сердцем и с радостью, а в особенности после войны со славю..

Тем временем она потихоньку будет сидеть в Белчончке, где опекун так добр к ней, будет объяснять этому опекуну, что Яцек не такой испорченный, как другие молодые люди, и снова будет плести ту золотую нить, которая опять начала обвиваться вокруг ее сердца.

Снегирь на Данцигских часах в гостиной просвистел уже поздний час, но сон совершенно отлетел от девушки.

Лежа в постели, она устремила глаза в потолок и размышляла: как помочь своему горю и заботе? Если Яцек уже уехал, то ведь только затем, чтобы убежать от нее, так как, насколько она слышала, до войны было еще далеко. Опекун ни слова не упоминал, чтобы молодой Циприанович и Букоемские тоже собирались уехать, значит, можно было побеседовать с ними, узнать что-нибудь о Яцеке, сказать какое-нибудь доброе слово, которое дошло бы через них до него, хотя бы в далеких обозах, во время войны.

Девушка мало надеялась, чтобы они приехали в Белчончку, так как она знала, что они перешли на сторону Яцека и с некоторых пор начали косо поглядывать на пана Понговского, но она рассчитывала на другое.

Дело в том, что через несколько дней предстоял праздник Рождества Богородицы и большое богослужение в приходском костеле в Притыке, куда съезжалась вся окрестная шляхта с женами и детьми. Там она должна была встретить Циприановича и Букоемских, если не возле костела, то на обеде у настоятеля, который в этот день приглашал всех к себе.

Она надеялась, что в толпе ей удастся свободно поговорить с ними и что опекун не помешает ей в этом. Хотя с некоторых пор он не очень жаловал их, однако не мог, в виду оказанной ими услуги, совершенно порвать с ними.

Из Белчончки до Притыка дорога была дальняя, и пан Гедеон, не любивший спешить, совершал ее обыкновенно с ночлегом в Радоме, а если выбирал дорогу через Едльню, то в Едльне.

На этот раз, вследствие разлива вод, они выбрали более дальнюю, но зато безопасную дорогу через Радом и тронулись в путь за день перед праздником. Ехали на колесах, а не на санях, так как зима вдруг совершенно переменялась. За ними шли две тяжело нагруженные подводки со слугами, с запасами провизии, постелями и коврами, которыми кое-как прибирались комнаты на постоялых дворах.

Когда они выезжали из дома, звезды еще мерцали в высоте, а небо только начинало бледнеть на востоке. Пани Винницкая начала напевать в утреннем мраке «Часы», а девушка и пан Гедеон вторили ей еще сонными голосами, так как накануне вечером, вследствие приготовления в путь, они легли поздно спать. Только за деревней и за малым бором, в котором ночевали тысячи ворон, румяная заря осветила столь же румяное личико и заспанные глазки панны Сенинской. Губки ее еще складывались для

зевоты, но когда явился первый солнечный луч и осветил поля и леса, она начала стряхивать с себя сон и веселее смотреть на свет божий, потому что ясное утро наполнило ее душу какой-то доброй надеждой и радостью. День обещал быть прекрасным, теплым и ясным. В воздухе чувствовалось как бы первое дыхание ранней весны.

После небывалых морозов и снегов наступили вдруг, к величайшему изумлению людей, солнечные и теплые дни. Говорили, что после нового года, кто-то как будто «ножом обрезал» зиму, а пастухи предсказывали по реву скота, тоскующего в хлевах, что она уже больше не вернется.

Действительно, была уже настоящая весна. В бороздах, в лесах, под лесом с северной стороны и вдоль речек еще лежали глубокие сугробы снега, но солнце пригревало их сверху, и снизу из-под них вытекали целые ручьи и потоки, образуя в низких местах целые разливы, в которых отражались, как в зеркале, мокрые, безлистные деревья. Влажные рытвины загонов, словно золотые полосы, светились в солнечных лучах. А от времени до времени поднимался сильный ветер, но такой теплый, словно идущий прямо от солнца, и летел над полями, рябил водную гладь, стряхивая в то же время тысячи жемчужин с тонких, черных ветвей.

Благодаря оттепели и «вязкости» земли, а также и вследствие тяжести кареты, которую с трудом тащили шесть лошадей, путешественники подвигались очень медленно. По мере того как солнце поднималось все выше и выше, стало так тепло, что панна Сенинская развязала ленточки своего капора, отодвинула его на затылок и начала расстегивать спереди свою лисью шубку.

– Неужели тебе так жарко? – спросила ее пани Винницкая.

– Весна, тетушка! Настоящая весна! – отвечала девушка.

В этот момент она была так хороша со своей высунувшейся из капора милой, слегка растрепанной головкой, со своими смеющимися глазками и розовым личиком, что суровые глаза пана Понговского тоже смягчились. Он смотрел на нее некоторое время, точно видел ее в первый раз в жизни, а затем сказал не то ей, не то самому себе:

– Ну да и ты не хуже весны! Ей-богу! А она улыбнулась ему в ответ.

– О как медленно мы едем, – проговорила она через минуту. – Страшно тяжелая дорога. Правда, говорят, что, если кому предстоит длинная дорога, тот должен обождать, пока она немного просохнет?

Лицо пана Гедеона снова омрачилось. Он ничего не ответил на вопрос и только, выглянув из кареты, коротко сказал:

– Едльня.

– Может быть, мы зайдем в костел? – спросила пани Винницкая.

– Нет, не зайдем, во-первых, потому, что костел, вероятно, закрыт, ибо ксендз поехал в Притык, а, во-вторых, потому, что он тяжко оскорбил меня, и я не подам ему руки, если он подойдет ко мне. – И, помолчав, прибавил: – А вас и тебя, Ануля, прошу ни в какие разговоры не вступать с ним.

Наступило минутное молчание. Вдруг за каретой раздалось шлепанье лошадиных копыт по грязи, которая с треском отрывалась от увязающих в ней ног, а затем громкие крики послышались с обеих сторон кареты.

– Челом, бьем челом!..

Это были братья Букоемские.

– Челом! – отвечал пан Понговский.

– Ваша милость, едете в Притык?

– Как ежегодно. Я думаю, что и вы к богослужению?

– Разумеется! – отвечал Марк. – Нужно перед войной очиститься от грехов.

– А не слишком ли это рано?

– Почему же слишком рано? – спросил Лука. – Что до сих пор нагрешили, то все после богомолья с плеч свалится, на то и богомолье. А что потом нагрешим, то уже ксендз перед врагом *in partyculo mortis* отпустит.

– Вы хотели, вероятно, сказать *in articulo*?

– Все равно, лишь бы раскаяние было искреннее.

– Как же вы это понимаете? – спросил повеселевший пан Понговский.

– Как понимаю? В последний раз ксендз Виур после исповеди назначил нам по тридцати плетей в виде епитимьи, а мы дали себе по пятидесяти, потому что рассуждали так: если это небесным силам приятно, так пусть потешатся!

При этих словах улыбнулась даже серьезная пани Винницкая, а панна Сенинская совсем спрятала лицо в воротник, словно желая погреть себе носик.

Заметил это Лука, заметили и другие братья, что их ответ возбудил смех, и умолкли, слегка оскорбленные. Некоторое время слышались только лязг цепей у кареты, храпение коней, шлепанье грязи под копытами и карканье ворон, огромные стаи которых утопали в лучах солнца, перелетая из городков и деревень в лес.

– Э! Чуют они, что будет им чем поживиться! – ведя за ними очами, проговорил младший Букоемский.

– Ба! Война для них жатва! – заметил Матвей.

– Они еще не чувт ее, потому что до нее еще далеко, – сказал пан Понговский.

– Далеко ли, близко ли, но война верная!

– А откуда вы это знаете?

– Ведь все знают, о чем была речь на уездном сейме и какие инструкции пойдут на большой сейм.

- Верно, но не известно, всюду ли было то же самое.
- Пан Пржилубский, объездивший почти весь край, говорил, что всюду.
- Что это за пан Пржилубский?
- Из Олькуского... Он стягивает войска для его преподобия епископа Краковского.
- Значит, его преподобие, епископ Краковский, приказал еще до сейма стягивать войска?
- Вот то-то и дело! И как еще! Это лучшее доказательство, что война неизбежна. Его преподобие епископ хочет составить целый полк легкой конницы... ну, и пан Пржилубский специально приехал в нашу сторону... потому что он кое-что слышал о нас.
- Ого-го!.. Широко, видно, слава о вас разошлась по свету... И вы записались?
- Разумеется!
- Все?
- А почему бы не все? Хорошо иметь на войне под рукой друзей, а еще лучше братьев.
- Ну, а молодой Циприанович?

– Циприанович будет служить вместе с Тачевским.

Пан Понговский быстро взглянул на сидевшую на передней скамейке девушку, по щекам которой промелькнул внезапный огонь, и продолжал свои расспросы:

- Такие уж они друзья? А под чьим начальством они будут служить?
- Под начальством пана Збержховского.
- Что же это, драгунский полк?
- Избави, Боже! Что вы говорите? Ведь это гусарский полк королевича Александра.
- Подумаешь, подумаешь!.. Не какой-нибудь полк.
- Тачевский тоже не кто-нибудь.

Пан Понговский уже готов был произнести, что такой голыш в гусарском полку может быть разве только почтовым, но никак не дружинником, но он удержался, опасаясь, чтобы не выяснилось, что его письмо вовсе не было таким политичным, а его помощь такой значительной, как он это говорил панне Сенинской. Он нахмурился и сказал:

- Я слышал о залоге Выромбок. За сколько же они пошли?
- За большую сумму, чем дали бы вы, – резко ответил Марк.

Глаза Понговского сверкнули на минуту гневом, однако он во второй раз сдержался,

так как ему пришло в голову, что дальнейший разговор может послужить ему на пользу.

– Тем лучше, – проговорил он. – Молодой человек, вероятно, очень доволен.

А Букоемские, хотя и бывшие от природы довольно тупыми, начали острить между собой, стараясь показать Понговскому, как мало было дела Тачевскому и до него и до всей Белчончки.

– Ой-ой! – говорил Лука. – Уезжая, он чуть с ума не сошел от радости. А распевал так, что даже свечи в корчме приплясывали. Правда, мы и выпили изрядно.

Пан Понговский снова взглянул на панну Сенинскую и заметил, что румяное, полное жизни и молодости личико ее вдруг точно окаменело. Капор совсем соскользнул с ее головы, глаза были закрыты, точно во сне, и только по движению ноздрей да едва заметному дрожанию подбородка можно было угадать, что она не спит, а слушает, и слушает внимательно.

Жалко было смотреть на нее, но неумолимый шляхтич подумал:

«Если торчит еще в твоём сердце заноза, то я ее вырву».

А вслух сказал:

– Так я и ожидал...

– Чего же вы ожидали?

– Что вы перепьетесь на прощанье и что пан Тачевский уедет с песнями... Хе-хе! Кто гонится за фортуной, тот должен спешить, а кому она улыбается, тот ее, может быть, и поймают...

– Ой-ой! – повторил Лука. А Марк вставил:

– Ксендз Войновский дал ему письмо к пану Збержховскому, как к хорошему знакомому и другу, а там в Збержхове земля такова, что везде можно лук сеять, а кроме того, единственная дочка, которой всего пятнадцать лет. Вы уж, ваша милость, о Тачевском не беспокойтесь. Он уж устроится и без вас и без здешних радомских песков.

– Да я и не беспокоюсь, – сухо отвечал пан Понговский. – Но вы, господа, может быть, торопитесь, а карета, точно черепаха, тащится по грязи.

– В таком случае, бьем челом!

– Челом! Челом! Ваш покорный слуга.

– И мы тоже!..

С этими словами они погнали лошадей, но, отъехав на расстоянии выстрела из лука от кареты, снова замедлили шаг и начали оживленно разговаривать.

– Видели? – спрашивал Лука. – Два раза сказал я «ой-ой!» и два раза точно меч ему всадило... он чуть не лопнул...

– Я им еще лучше угодил, – произнес Марк, – сразу и старику и девушке.

– Чем? Говори, не скрывай! – воскликнули братья.

– А разве вы не слышали?

– Слышали, да ты повтори.

– Тем, что сказал о панне Збержховской. Заметили, как она сразу побледнела? Смотрю: рука у нее лежит на колене, а она ее то сожмет, то разожмет, то сожмет, то разожмет... Совсем как кошка, которая собирается царапаться. Так в ней, видно, злость кипела...

Но Матвей удержал лошадь, говоря:

– А мне ее было жаль... Такой это нежный цветочек... И помните, что говорил старый Циприанович?..

– Что? – с любопытством спросили Лука, Марк и Ян, тоже останавливая коней.

Но он обвел их своими выпуклыми глазами и с сожалением произнес:

– Дело в том, что и я забыл.

Между тем в карете не только пан Понговский, но даже и пани Винницкая, обыкновенно мало знавшая, что вокруг нее творится, обратила внимание на изменившееся личико девушки и спросила:

– Что с тобой, Ануля? Не холодно ли тебе?

– Нет! – каким-то сонным, не своим голосом ответила девушка. – Со мной ничего, только этот воздух как-то странно подействовал на меня... так странно...

И хотя голос ее вдруг оборвался, но в глазах не было слез. Наоборот, в сухих зрачках ее светились какие-то искры, странные, необычайные, и лицо точно вдруг постарело.

Видя это, пан Понговский подумал в душе:

«Не ковать ли уж железо, пока оно горячо?»

XI

На богомолье съехалась вся шляхта из ближайших и даже из дальних околиц. Были Кохановские, Подгаевские, Сильницкие, Потворовские, Сульгостовские, Циприанович с сыном, Букоемские и многие другие. Но наибольшее любопытство возбудил приезд сандомирского воеводы Чарторыжского, который остановился в Притыке проездом в Варшаву, на сейм, и, в ожидании богослужения, уже несколько дней отдыхал здесь. Все радовались его присутствию, ибо он придавал блеск торжеству, а кроме того, от него можно было немало разузнать о политике. Сам он разговаривал очень охотно. Рассказывал об обидах, какие причинила Порта Речи Посполитой при разграничении Подолии, о чамбулах, которые вопреки трактату опустошали русские земли, и предсказывал неизбежную войну. Он утверждал, что союз с австрийским императором будет заключен наверное и что даже сторонники французов не выступят

против него открыто, так как и сам французский двор, хотя и враждебный императору, понимает опасность, которая грозит Речи Посполитой. Нападут ли сначала турки на Краков или на Вену, этого князь Михаил сказать не мог, но зато ему было известно, что неприятель под Адрианополем и что, кроме тех, которые уже стянуты под предводительством Текеля под Кошицами, да и во всей Венгрии, стягиваются войска тысячами из Румынии и Азии, даже с берегов Евфрата и Тигра, а также и из Африки от берегов Красного моря вплоть до волн неизмеримого океана.

Шляхта жадно прислушивалась к этим рассказам: старики, знавшие, как велика сила неверных, с печатью заботы на лицах, молодые с огнем в очах и нахмуренными бровями. Но преобладали бодрость и вдохновение, ибо свежа еще была память о Хотине, под которым тот же самый милостиво царствующий ныне король, а тогда еще гетман, во главе незначительных польских сил атаковал гораздо большие турецкие силы и разбил их саблями и растоптал копытами. Все радовались при мысли, что турки, с неудержимой отвагой нападавшие на войска всяких других народов, трепетали, однако, когда в чистом поле им приходилось стать лицом к лицу с страшной кавалерией Лехистана.

Еще большую бодрость и вдохновение вызвала проповедь ксендза Войновского. Пан Понговский слегка опасался, что в этой проповеди будет порицание грехов и какие-нибудь намеки, которые он мог бы отнести к себе и к своему поступку с Яцеком Тачевским, но ничего подобного не случилось. Вся душа и сердце ксендза были поглощены войной и миссией Речи Посполитой.

– Тебя, – говорил он, – Христос выбрал между всеми народами, тебя поставил на страже других, тебе повелел лечь костями под своим крестом и кровью, этим фундаментом жизни, защищать веру до последней ее капли, до последнего вздыхания. Перед тобой лежит поле славы, и если даже кровью истекает тело твое, если торчат в нем стрелы и дротики, встань, Божий лев, тряхни гривой и зарычи так, чтобы от этого рычания страх заморозил мозг в костях неверных и все полумесяцы и бунчуки пали перед ним, как падает лес под напором ветра!

Так говорил он своим рыцарским слушателям, а так как и сам он был старым солдатом, который всю жизнь сражался и видел перед собой поле брани, то, когда он заговорил о войне, присутствующим казалось, что они смотрят на картины в королевском замке в Варшаве, на которых, как живые, были изображены битвы и победы польские.

– Вот уже двинулись полки, рыцари наклонили копья к конскому уху, вот они наклонились на седлах... Крик ужаса среди неверных и радость на Небе! Но Мать Пресвятая подбегает к окошку и кричит: «Смотри, Сыночек, как поляки сражаются!» Господь Иисус Христос благословляет их святым крестом. «Господи! – восклицает он. – Вот это шляхта! Вот это воины! И награда для них уже готова!» А святой Михаил Архангел даже себя по бедрам ударяет: «Бей их, нехристей!» Так они там радуются, а поляки косят и косят, валят людей, лошадей, целые полки, шагают по телам янычаров, по взятым оружием, по испорченным полумесяцам, – идут к славе, к заслуге, к исполненному предназначению, к спасению и бессмертию!..

Когда он, наконец, закончил словами: «И вас призывает уже Христос и вам пора уже на поле славы!» – в костеле поднялся страшный шум и бряцание саблями, а во время богослужения, когда при чтении Евангелия все клинки заскрипели в ножнах и сталь засверкала в лучах солнца, чувствительным женщинам показалось, что война уже началась, и они разрыдались, поручая своих отцов, мужей и братьев опеке Пресвятой Девы.

Тогда, пошептавшись между собой, братья Букоемские порешили ехать сейчас же после богомолья и дали обет до Светлого Христова Воскресения не брать в рот ни воды, ни молока, ни даже пива и довольствоваться только теми напитками, которые поддерживают жар в крови, а вместе с ним и отвагу.

Всеобщее воодушевление было так велико, что против него не устоял даже суровый и холодный пан Понговский. В голове его мелькнула мысль, что хотя у него и нет левой руки, но ведь он мог бы держать поводья зубами, а правой еще раз в жизни отомстить за все обиды, причиненные ему проклятым племенем, а кстати и обновить свои прежние заслуги перед Речью Посполитой.

Однако решения он окончательного не принял, оставляя этот вопрос для дальнейшего обсуждения.

Между тем богослужение проходило с пышной торжественностью. На кладбище стреляли из пушек, которые брали в высокаторжественные праздники у Кохановских. На колокольне гремели раскачавшиеся колокола; ручной медведь с такой силой надувал органные мехи, что оловянные трубы едва не вылетали из своих мест; костел наполнился дымом кадил и дрожал от человеческих голосов. Позднюю обедню служил прелат Творковский из Радома, ученый, преисполненный сентенций, цитат, пословиц и поговорок, и в то же время веселый, прекрасно знающий свет, вследствие чего к нему со всех сторон постоянно съезжались за советом.

Так сделал и пан Понговский, бывший, кстати, его другом. Накануне богослужения он был у него на исповеди, но когда он начал признаваться ему в своих намерениях, целью которых была панна Сенинская, ксендз отложил этот вопрос до другого раза, говоря, что ему едва хватит времени, чтобы выслушать грехи людские. Он посоветовал ему на обратном пути с богомолья отправить женщин в Белчончку, а самому остановиться у него в Радоме, где он сможет свободно выслушать его.

Пан Понговский так и сделал, и на другой день оба сидели перед баклагой венгерского вина и тарелкой поджаренного миндаля, который ксендз охотно употреблял к вину.

– Я слушаю, – проговорил он, – говорите, ваша милость!

Пан Гедеон отпил вина и с некоторым недружелюбием взглянул своими железными глазами на прелата, точно упрекая его за то, что соответствующим вступлением он не облегчает ему разговора.

– Гм! Неловко мне как-то, и вижу, что мне будет труднее, чем я думал.

– Так я помогу вашей милости. Не хотите ли вы говорить об одном из святых?

– О святом?

– Да. О таком, у которого две головы и четыре ноги.

– Что же это за святой? – с изумлением спросил пан Гедеон.

– Это загадка. Угадайте, ваша милость!

– Преподобный отец мой, у кого серьезные вещи в голове, у того нет времени для загадок.

– Ба, а вы подумайте, ваша милость!..

– Святой, у которого две головы и четыре ноги?!

– Ну да!

– Ей-богу, не знаю.

– Ну, святой брачный союз. Разве это не так?

– Как Бог свят, правда! Да, да, именно об этом я и хочу говорить...

– Дело идет об Ануле Сенинской?

– Именно о ней. Видите ли, преподобный отец, хотя она мне и не родственница, а если и родственница, то такая дальняя, что этого уж никто не установит, но я привязался к ней, ибо сам воспитал ее и обязан благодарностью ее роду. Ведь все, что Понговские имели на Руси, так же как и Жулкевские и Даниловичи и Собеские, они имели от Сенинских или после Сенинских... Я хотел бы оставить сироте все, что имею, но, откровенно говоря, настоящие богатства Понговских исчезли при татарских набегах, а у меня осталось только состояние жены... Оно мое, ибо я получил его по завещанию, но у жены много родственников. Во-первых, пан Грот, староста райгородский... Ну... его я еще не боюсь, ибо он человек добрый и весьма состоятельный... Наконец он сам подал мне эту мысль, хотя она уж не раз приходила и раньше мне в голову, ибо желание дремало на дне сердца... а он только разбудил его... Но, кроме пана Грота, есть Сульговстовские, Кржепецкие, есть Забежовские... Эти уж и теперь неприязненно посматривают на девушку, а что же будет после моей смерти? Я сделаю завещание, перепишу на нее, а они пойдут по судам, начнутся процессы, волокита по инстанциям... Как же она, бедная, справится со всем этим? А ведь я не могу ее так оставить... Есть во мне привязанность, есть жалость, есть благодарность, – сильные это звенья, которые заставляют спросить мою совесть: не должен ли я обеспечить ее хотя бы и таким образом?..

Ксендз разгрыз миндаль и половинку показал пану Гедеоу.

– Знаете ли вы, ваша милость, почему мне кажется этот миндаль вкусным? Потому что он свежий. Если бы он был гнилым, я бы его не ел.

– Ну, и что же?

– А то, что Ануля нравится вашей милости, ибо и она тоже своего рода миндаль... Э, да еще и какой! А вот если бы ей было этак лет пятьдесят, то, вероятно, ваша совесть не беспокоилась бы так о ее будущем.

Пан Понговский смутился, а ксендз продолжал:

– Я совсем не виню вас в этом, ибо все должно иметь смысл, и таков уж порядок у Бога, что каждый предпочитает молодую репу старой. Только с вином дело обстоит иначе, и потому, что касается вина, мы охотно миримся с приговором судьбы...

– Да, правда! Всегда все лучше молодое, за исключением вина, и пан Кохановский

недаром в шутку написал, что старый муж, как старый дуб, выше молодого. Но мне важно одно, что когда я оставляю ей свое состояние, как своей жене, то никто не посмеет и пальцем пошевелить, а оставляю ей как воспитаннице, то сейчас же начнутся споры, ссоры, процессы, а может быть, и набеги, перед которыми некому будет защитить ее, не защитница же пани Винницкая!

– Совершенно правильно.

– Но я не пустой человек и не ветрогон и не хотел решать этого своим умом. Поэтому я и приехал к вам, чтобы вы подтвердили, что я хорошо делаю, и подкрепили меня своим советом. Ксендз подумал и произнес:

– Видите ли, ваша милость, в таких вопросах трудно советовать. Стремления ваши, насколько вы могли воспылать в ваши годы горячим чувством, вполне могут быть оправданы, а поскольку они проистекают из забот о благе девушки, они даже похвальны. Но не будет ли при этом нанесена девушке какая-нибудь обида, не придется ли ее насилием или угрозами вести к алтарю? Ибо я слышал, что она и Яцек Тачевский любят друг друга, и, откровенно говоря, я и сам, часто бывая у вас, видел это.

– Что же вы видели? – порывисто спросил Понговский.

– Ничего грешного, но такие признаки, по которым легко узнается любовь. Видел я не раз, как они держали друг друга за руки дольше, чем это полагается, как следили друг за другом глазами, видел, как он раз сидел на дереве и бросал ей в фартук вишни и так оба засмотрелись друг на друга, что вишня падала вместо фартучка на землю; видел, как заглядевшись на летящих аистов, она как будто нечаянно прижалась к нему, а потом (ведь женщины хитры) еще пробирала его, что он слишком приблизился.. И что еще? Ну, словом, различные подобные поступки, свидетельствующие о тайных желаниях. Вы скажете, ваша милость, что это пустяки? Конечно, пустяки! Но что она питала к нему чувства, может быть, еще более сильные, чем он к ней, этого может только разве слепой не заметить, и я удивляюсь, что вы этого не видали, а еще больше, если вы видели, но это не заставило вас обуздать свои намерения.

Пан Понговский все видел и все знал, и все-таки слова прелата произвели на него страшное впечатление.

Одно дело, когда человек таит боль глубоко в своем сердце, а другое дело, когда в грудь проникнет чужая рука и разбередит эту боль. Лицо пана Понговского покраснело, глаза налились кровью, жилы надулись на лбу, и старик так засопел и начал дышать так тяжело, что обеспокоенный прелат даже спросил:

– Что с вами?

Пан Понговский махнул рукой, но ничего не ответил.

– Выпейте, ваша милость, вина! – воскликнул ксендз. Понговский протянул дрожащую руку, взял кубок и поднес его к губам, потом выпил, кашлянул и прошептал:

– Затмение на меня нашло.

– Из-за того, что я сказал?..

– Нет. С некоторых пор это со мной часто случается, а теперь я изнурен постом, дорогой и ранней, неожиданной весной.

– Тогда не лучше ли, не дожидаясь мая, пустить теперь же кровь?

– Так я и сделаю, а теперь вот отдохну немного, и вернемся к делу.

Но прошло довольно много времени, прежде чем Понговский совершенно пришел в себя. Наконец он успокоился, жилы на лбу сгладились и сердце начало биться обычным темпом. Он заговорил снова:

– Не скажу, чтобы мне не доставало сил, и если бы вот этой оставшейся у меня рукой я попробовал сжать этот серебряный кубок, я бы легко смял его. Но здоровье и силы это не одно и то же, хотя то и другое в руках Божьих.

– Да, хрупкая штука – человеческая жизнь.

– Но именно поэтому, если что задумал сделать, то надо спешить. Вы говорите, ваше преподобие, о Тачевском и о чувствах, какие молодые люди могли питать друг к другу. Скажу откровенно: я не был слеп. Видел и я, что между ними начинается, но только в самое последнее время. Не забудьте, что до сих пор это была совсем зеленая ягодка, которая и теперь еще не вполне созрела. Правда, он приходил каждый день! Но ведь у него дома нечего было есть, и я принимал его из жалости. Ксендз Войновский обучал его латыни и фехтовальному искусству, а я кормил его. Вот и все. Он тоже только с прошлого года стал взрослым молодым человеком. Так я и смотрел на них, как на детей, а шалости их и проделки считал обычным явлением. Но чтобы такой нищий смел подумать, да еще о ком? О панне Сенинской, это, признаюсь, никогда не приходило мне в голову, и только в последнее время я начал кое о чем догадываться.

– Ба! Нищий-то нищий, но все-таки Тачевский...

– Да ведь он Гладомор!.. Нет, благодетель! Тот, кто вылизывает чужие кастрюли, может разве только с псами водить компанию. И вот, когда я сообразил, в чем тут дело, я начал внимательнее смотреть за ними, и знаете, что открыл? Что он не только гольш и ветрогон, но и гад ядовитый, всегда готовый ужалить ту руку, которая его кормит. Слава Богу, нет его больше, уехал, но на прощанье лягнул не только меня, но и эту невинную девушку.

– Неужели? – спросил прелат.

И пан Понговский начал рассказывать ему, как и что было, такими черными красками рисуя поступки Тачевского, что его тотчас следовало бы повесить.

– Но не беспокойтесь, благодетель, – заключил он, – Букоемские подлили ей масла в огонь по дороге в Притык. Ого! Так переполнили, что даже через край пошло, и даже до того, что никогда еще эта девушка не чувствовала ни к одному Божьему творению такого отвращения, как к этому хлысту, к этому выродку, к этому негодяю!

– Не горячитесь, ваша милость, вы опять взбудоражите себе кровь.

– Правда. И не о нем хотел я говорить, а о том, что я ни обижать девушку, ни принуждать ее не хочу. Уговор – это другое дело. Но сделать это должен человек

посторонний ей и мой приятель, в то же время человек уважаемый и умный, который может и деликатно поговорить, и сердце тронуть, и на разум повлиять. Вот я и хотел попросить вас, мой любезный благодетель. Вы не откажете мне не только из дружбы ко мне, но и ради того, что дело это справедливое и правильное.

– Вопрос касается вашего и ее блага, а потому я не отказываю вам, – проговорил прелат, – но я хотел бы иметь время подумать, как это сделать наилучшим образом..

– Ну, я пойду к цирюльнику, велю себе пустить кровь, чтобы вернуться домой спокойным, а вы составьте план действий. Не трудно вам это будет, а я думаю, что и с той стороны не последует никаких возражений.

– Возражение может быть только одно, любезный брат.

– Какое?

– Друзья должны говорить правду, а потому я скажу вам откровенно. Честный вы человек, – я это знаю! Но немного слишком суровый. Такая уж у вас репутация, и приобрели вы ее потому, что все, кто зависит от вас, страшно боятся вас. Не только крестьяне, из-за которых вы разошлись с ксендзом Войновским, не только челядь и служащие, но даже и домашние. Боялся вас Тачевский, боится пани Винницкая, боится и девушка. Обыкновенно сваты приезжают вдвоем, так я и сделаю, но не испортит ли мне этот другой всего дела, не ручаюсь.

– О чем вы говорите? Какой другой сват?

А ксендз ответил:

– Страх.

XII

Однако они не могли в тот же день выехать в Белчончку, ибо Понговский после кровопускания значительно ослабел и сам говорил, что нуждается в отдыхе. Зато на другой день он чувствовал себя свежее и как будто моложе и с бодрой надеждой, хотя и с некоторым беспокойством приближался к дому. Совершенно поглощенный своими мыслями, он мало разговаривал по дороге с ксендзом, но когда уже подъезжали к деревне, он почувствовал, что беспокойство овладевает им все сильнее, и сказал:

– Странно мне как-то! Раньше я возвращался в свой дом как человек, который чувствует себя господином, и другие заботились о том, как я с ними поздороваюсь, а теперь я беспокоюсь, как меня встретят.

– Вергилий сказал: «Amor omnia vincit»[22], – ответил ксендз, – но забыл прибавить, что и *mutât*[23]. Волос вам ваша Далила не острижет, ибо вы лысы, но что я еще увижу вас прядущим пряжу у ее ног, как Геркулес пряд у ног Омфалы, это верно.

– Ну, не такова моя натура! Я всегда умел держать в руках и челядь и семью.

– Так и люди говорят, но тем более следует, чтобы кто-нибудь прибрал вашу милость к рукам.

– Милые это ручки! – с несвойственной ему веселостью отвечал Понговский.

Ехали очень медленно, так как грязь в деревне была страшная, а так как из Радома тронулись после полудня, то их застала в дороге ночь. В окнах изб по обеим сторонам дороги светилась лучина, от которой поперек дороги ложились красные полосы. То тут, то там возле плетня мелькала фигура бабы или мужика, который, завидя едущих, поспешно снимал шапку и кланялся в пояс. Видно было по этим низким поклонам, что Понговский умел держать людей в ежовых рукавицах и что ксендз Войновский не без основания громил его за излишнюю суровость. Но в этот момент старый шляхтич чувствовал в своей груди более мягкое сердце. Глядя на эти склоненные фигуры и на запавшие в землю оконца изб, он сказал:

– Дам кое-какие льготы и крепостным, за которых она постоянно заступалась.

– Вот, вот! – отвечал прелат.

И оба умолкли. Пан Гедеон некоторое время собирался с мыслями и потом снова заговорил:

– Я знаю, что вам, благодетель, не нужно давать советов, но вы должны сказать ей, что это благодеяние делается для нее и что я прежде всего думаю о ней, а в случае сопротивления, которого я, впрочем, не ожидаю, но... чего не бывает? можно, пожалуй, и припугнуть слегка...

– Но вы же сказали, ваша милость, что не хотите ее принуждать...

– Сказал, но одно дело, если бы грозил и пугал ее я, а другое, когда ее неблагодарность поставит ей на вид кто-нибудь другой, а к тому же еще духовное лицо.

– Ну, положитесь уж, ваша милость, на меня. Если я взялся за дело, то приложу все старания, чтобы привести к наилучшему концу. Во всяком случае, скажу вам, что я поговорю с девушкой *delicatissime*.

– Хорошо! Хорошо! Только еще одно слово. Она чувствует сильное отвращение к Тачевскому, но если бы понадобилось упомянуть о нем, то следовало бы еще подкрасить...

– Если он поступил так, как вы говорите, то он негодяй.

– Подъезжаем. Ну, во имя Отца и Сына...

– И Духа Святого, – аминь!

Они подъехали. Но никто не вышел им навстречу, так как благодаря грязи колеса совершенно не гремели, а собаки не лаяли, узнав своих людей и лошадей. В сенях было темно, так как челядь сидела, по-видимому, в кухне, и случилось так, что на первый возглас Понговского: «Ей! Есть там кто-нибудь!» не показался никто, а на вторичный, сделанный более строгим голосом, вышла сама паненка.

Она вышла, защищая рукой пламя свечи, но так как она находилась в полосе света, а они в тени, то в первый момент она не могла никого разглядеть и остановилась у двери. А они тоже сначала не произнесли ни слова, ибо в первый момент ее появление показалось им добрым предзнаменованием, а, кроме того, ее красота так поразила их, точно они никогда не видели ее раньше. Пальчики, которыми она

заслоняла свечу, казались розовыми и прозрачными; пламя свечи падало на грудь, освещая ее уста и маленькое личико, которое казалось несколько печальным и заспанным, может быть, потому, что глаза оставались в тени. Однако лоб и прекрасные белокурые волосы, образовавшие точно корону над ним, были ярко освещены. И, окутанная мраком, а сама светлая и тихая, она стояла перед ними, точно ангел, сотворенный из розового света.

– О, клянусь Богом, настоящее видение! – проговорил прелат. Понговский воскликнул:

– Ануля!

Тогда девушка подбежала к ним и, поставив свечу на камин, начала радостно приветствовать их. Понговский нежно прижал ее к сердцу и приказал радоваться прибытию такого благородного гостя, знаменитого во всех делах советника. Когда же приветствия окончились и они вошли в столовую, старый шляхтич спросил девушку:

– А вы уже поужинали?

– Нет. Челядь как раз должна была подавать к столу, и потому никого в сенях не было.

– А ксендз взглянул на старого шляхтича и спросил:

– Так, может быть, не дожидаясь ужина?

– Нет, нет, – поспешно сказал Понговский. – Пани Винницкая сейчас все приготовит.

Действительно, пани Винницкая занялась делом, и через четверть часа на столе уже стояли яичница и разогретое вино. Ксендз Творковский пил и ел очень усердно, но к концу ужина лицо его стало серьезным, и он обратился вдруг к девушке:

– Милая моя барышня! Богу известно, почему люди называют меня советчиком и почему они так часто советуются со мной, но раз и опекун ваш поступил так, то я должен поговорить с вами об одном важном деле, которое он доверил моему ничтожному уму.

У Понговского при этих словах жилы снова надулись на лбу, а девушка побледнела и тревожно привстала, так как ей почему-то показалось, что ксендз будет говорить с ней о Яцеке.

Прелат сказал:

– Прошу вас поговорить со мной наедине.

И они вышли.

Пан Понговский несколько раз глубоко вздохнул, побарабанил пальцами по столу, потом встал и, чувствуя потребность умерить свое волнение какими бы то ни было словами, обратился к пани Винницкой:

– Заметили ли вы когда-нибудь, как все родственники моей покойной жены ненавидят

Анулю?

– В особенности Кржепецкие, – отвечала пани Винницкая.

– Ого! Они чуть зубами не скрежещут при виде нее, но скоро они заскрежещут и еще сильнее.

– Почему же так?..

– Скоро вы узнаете, а пока нужно подумать о ночлеге для прелата!

И через минуту пан Понговский остался один. Двое слуг вошли в комнату, чтобы убрать посуду со стола, но он с внезапно разгоревшимся гневом приказал им идти прочь, и в комнате воцарилась тишина, только большие данцигские часы повторяли угрюмо и громко: «Тик-так, тик-так...»

Понговский положил руку на лысину и начал ходить по комнате. Он подошел к двери, за которой прелат разговаривал с панной Сенинской, но услышал только голос, в котором сейчас же узнал голос ксендза, но слов разобрать не мог. Он то ходил, то останавливался. Подошел к окну, потому что ему казалось, что там ему будет менее душно, и посмотрел бессмысленными глазами на небо, по которому ветер гнал разорванные весенние тучи со светлыми гривами, по которым луна, казалось, взбиралась все выше и выше. Всякий раз, когда луна скрывалась, пана Понговского охватывало злое предчувствие. Он видел через окно черные ветви ближайших деревьев, точно в муках трепетавшие от ветра, и также трепетали его мысли беспорядочные, злые, похожие не то на угрызения совести, не то на глухие предчувствия, что совершается что-то недоброе, за что его ожидает близкая кара.. Но когда на дворе прояснялось, в него снова вступала некоторая надежда. Ведь каждый имеет право думать о своем счастье, а что касается до Тачевского, – то велико ли дело! Еще не такими люди пользуются уловками. Ведь в чем тут дело? Дело идет о благе и спокойном будущем девушки, а если при этом и ему жизнь слегка улыбнется на старости, так он этого заслужил. И только это одно верно, а все остальное – ветер, ветер!..

Он опять почувствовал головокружение, и черные круги замелькали перед его глазами, но это продолжалось недолго. Он снова зашагал по комнате, то и дело подходя к двери, за которой решалась его судьба. Между тем свечи на столе начали догорать, и в комнате потемнело. Моментами голос ксендза становился громче, так что, может быть, слова и доходили бы до ушей пана Понговского, если бы не эти постоянные «тик-так!» часов. Легко было понять, что такой разговор не может окончиться быстро, а между тем беспокойство пана Гедеона все возрастало, принимая вид каких-то странных вопросов, связанных с прошлым, с воспоминаниями не только давних страданий и горя, но и давних, неведомых до сих пор вин, давних тяжелых грехов и новых обид, причиненных не только Тачевскому, но и другим людям.

«За что и почему ты будешь теперь счастлив?» – спрашивала его совесть.

И в этот момент он не весть что отдал бы, чтобы хоть пани Винницкая вернулась в комнату и чтобы он не оставался наедине со своими мыслями. Но пани Винницкая была занята чем-то в другом конце дома, а в этой комнате только часы повторяли: «Тик-так! тик-так!» да совесть допрашивала старого шляхтича:

«За что должен вознаграждать тебя Бог?»

И пан Понговский чувствовал, что, если теперь эта девушка, похожая и на цветок и на ангела, откажет ему, в жизни его воцарятся сумерки, которые будут продолжаться до тех пор, пока не наступит ночь – смерть...

Но вдруг дверь быстро отворилась, и вошла панна Сенинская, бледная, со слезами на глазах, а за нею – ксендз.

– Ты плачешь? – хриплым, полусдавленным голосом спросил пан Понговский.

– Это слезы благодарности, благодетель! – воскликнула она, протягивая к нему руки.

И она припала к его коленям.

XIII

В тот же самый вечер, но уже совсем поздно, пани Винницкая вошла в комнату своей родственницы и, найдя девушку еще одетой, начала беседовать с нею.

– Я не могу прийти в себя от удивления, – говорила она, – и скорее ожидала бы смерти, чем той мысли, которая пришла в голову его милости.

– И я не ожидала.

– Так как же это? И это уже наверное? Я сама не знаю, что и думать: радоваться или нет? Ведь сам ксендз-настоятель как духовное лицо, имеющий больше разума, чем человек светский, говорит, что у тебя будет до самой смерти кровля над головой, и вдобавок своя собственная, а не чужая; но с другой стороны, его милость человек в летах и... – тут пани Винницкая понизила голос, – разве тебе не страшно?

– Теперь уже кончено и не о чем говорить! – отвечала панна Сенинская.

– Как же ты это говоришь?

– Я говорю, что обязана ему благодарностью за убежище, за кусок хлеба, а оплата моей собственной персоной, по-моему, даже слишком ничтожна, тем более, что никто другой не пожелал ее, а если он желает, то это еще его милость!

– Да он-то уж давно хотел, – таинственно произнесла старушка. – Сегодня, после разговора с тобой, он позвал меня к себе. Я уж думала, что ужин был плохой и мне достанется, а он – ничего! Вижу, что он веселый и вдруг сообщает мне новость. А у меня даже ноги задрожали. Он и говорит: «Что это вы, точно жена Лота, превратились в соляной столб? Неужели я уж такой старый гриб?» Нет, отвечаю я, только это так неожиданно! А он опять: «Старая это мысль, а только сидела она, точно рыба, на дне, пока не нашелся человек, который помог ей выплыть наружу... И знаете, кто этот человек?» Я была уверена, что это ксендз Творковский, а он и говорит: «Вовсе не ксендз Творковский, а пан Грот...» Воцарилось молчание.

– А я думала, что пан Тачевский, – сквозь стиснутые зубы проговорила панна Сенинская.

– Вот тебе раз! Почему же Тачевский?

– Чтобы показать, что я ему не нужна.

– Но ведь ты знаешь, что Тачевский не виделся с его милостью.

И девушка начала с лихорадочной поспешностью повторять:

– Да, я знаю! У него было другое в голове! Но не в том дело! Я ничего не хочу знать! Не хочу! Не хочу! Что сделано, то сделано и все хорошо!

Сухой, спазматический вопль всколыхнул ее грудь. Она еще раз повторила: «И все хорошо!», потом опустилась на колени и начала молиться вместе с пани Винницкой, как они это делали каждый день.

На другой день она вошла уже со спокойным лицом в светлицу. Однако что-то изменилось в ней, что-то осталось недоговоренным, что-то замкнулось. Она не была грустна; но стала сразу на несколько лет старше и как будто серьезнее, так что пан Понговский, считавшийся до сих пор только с самим собой, начал невольно считаться и с нею. Вообще он как-то не мог разобраться во всем этом, и в особенности странным показалось ему то, что он почувствовал точно какую-то зависимость от нее. Он начал опасаться мыслей, которых она не высказала, но которые могла хранить в душе, и старался предотвратить их, а на их место подsunуть ей другие, какие были ему желательны. Даже молчание пани Винницкой тяготило его и казалось ему подозрительным. Он изощрялся, разговаривал, шутил, но моментами искры нетерпения мелькали в его стальных глазах.

Между тем весть о его сватовстве разошлась по всей округе. Впрочем, он и не делал из этого тайны и даже сам письменно известил об этом Циприановича в Едлинке и ближайших соседей, разослал письма Кохановским, Подлодовским, Сульгостовским, пану Гроту и Кржепецким и даже дальним жениным родственникам с приглашением на обручение, после которого сейчас же должна была состояться свадьба.

Правда, пан Понговский предпочел бы отказаться даже и от оглашения в костеле, но, к несчастью, это был Великий пост, и нужно было ждать, пока он пройдет. Он взял обеих женщин и поехал с ними в Радом, где девушка должна была сделать себе приданое, а он закупить лошадей, более шикарных, чем те, которые стояли в белчончских конюшнях.

В Радоме до него дошли слухи, что между родственниками, надеявшимися получить после него все принадлежавшее ему и его покойной жене имущество, идет шум, как в улье, но это только обрадовало его, так как в душе он всех их ненавидел и всегда думал о том, какой бы причинить им вред. Эти известия об их съездах, перешептываниях и советах сокращали ему время в Радоме, а когда, наконец, приданое было готово и цуговые лошади вместе с новыми хомутами куплены, они вернулись в Белчончку к самой заутрене. Гости тоже начали съезжаться почти одновременно с ними, так как обручение было назначено на третий день праздника.

Первыми приехали Кржепецкие, ближайшие родственники и соседи: отец, почти восьмидесятилетний старик, с лицом коршуна, славившийся своей скупостью, три дочери, из которых младшая, хорошенькая и веселая, называлась Текла, а две другие, сварливые старые девы, с вечно красными пятнами на щеках – Агнеса и Иоганна и, наконец, сын Мартьян, прозванный в округе Чурбаном.

Он вполне заслужил свое прозвище, ибо на первый взгляд, действительно,

производил впечатление толстого пня. Плечи и грудь у него были широкие, а ноги кривые и коротенькие, так что он был похож на карлика. Зато руки доходили ему до колен. Некоторые считали его горбатым, однако он не был им, только голова его была совсем лишена шеи и сидела так низко на туловище, что высокие плечи доходили у него почти до ушей. Из этой головы смотрели выпуклые, сладострастные глаза и лицо было похоже на козлиное. Сходство это еще больше увеличивалось небольшой бородкой, которую он точно умышленно отпускал вопреки общему обычаю.

В войсках он не служил, потому что товарищи над ним насмехались, вследствие чего он в свое время часто дрался на поединках.

В этом коротком, квадратном теле заключалась необыкновенная сила, и люди всюду боялись его, так как это был задира и скандалист, всегда искавший приключений и во всех столкновениях всегда проявлявший какую-то звериную запальчивость. Однажды он тяжело ранил в Радоме своего двоюродного брата Кржепецкого, красивого и доброго юношу, который едва не умер от ран. Его боялись сестры и даже отец, а он чувствовал уважение только к Тачевскому за его ловкость в фехтовании и к Букоемским, один из которых, а именно Лука, перекинул его когда-то, точно куль соломы, через забор в Едльне.

Вслед за Кржепецкими приехали Сульгостовские, два брата-близнеца, так похожие друг на друга, что когда они надевали одинаковые кунтуши, никто не мог различить их; затем прибыли трое дальних Сульгостовских из-за Притыка и многочисленная, состоящая из девяти человек, семья Забежовских. Из соседей приехал пан Циприанович один, так как сын его уже отправился в полк; пан староста Подлодовский, когда-то уполномоченный могущественного владельца Замостья; господа Кохановские, князя из Притыка, ксендз Творковский из Радомы, который должен был благословить обручальные кольца, и множество мелкой шляхты из ближайших и дальних мест. Некоторые приехали даже без приглашения, предполагая, что гость, даже и совсем незнакомый, всегда будет принят с распростертыми объятиями, и что когда случается возможность попить и поесть, то никак не следует пренебрегать ею.

Двор в Белчончке наполнился бричками и экипажами, конюшни – лошадьми, флигеля – бесчисленной челядью, а дом – разноцветными кунтушами, саблями, бритыми головами. Всюду слышался латинский язык, женское щебетанье, шелест робронов. Девушки-служанки носились с горячей водой, пьяная челядь – с баклагами дорогих вин, из кухни с утра до вечера шел дым, точно из смолварни, а окна дома пылали по вечерам так ярко, что весь двор был освещен, как днем. А среди всего этого шума по комнатам расхаживал пан Понговский, слегка напыщенный, серьезный, но в то же время как будто помолодевший, одетый в малиновый кунтуш и с сверкающей драгоценными камнями саблей, которую панна Сенинская получила в приданое от своих когда-то богатых предков. Он расхаживал, приглашал всех веселиться, а когда чувствовал иногда головокружение, опирался руками о ручки кресел и снова ходил, угощал именитых гостей, шаркал ногами, приближаясь к старым дамам, но больше всего водил влюбленными глазами за «своей Анулей», которая цвела точно белая лилия среди этой пестрой толпы, среди часто завистливых, часто недоброжелательных, а иногда и сладострастных взглядов, нежная, несколько грустная, а может быть, только проникнутая важностью предстоящего момента.

Наконец на третий день, вечером, во вторник, загрели на дворе домашние мортиры, извещающие гостей и крестьян о наступлении торжественной минуты обручения.

Все гости собрались в светлице и стали полукругом, женщины и мужчины в великолепных нарядах, точно радуга переливавшихся при блеске восковых свечей, а перед ними встал пан Понговский с панной Сенинской. Воцарилась глубокая тишина, только глаза всех были устремлены на невесту, стоявшую с опущенными глазами. Лицо ее было сосредоточенно и серьезно; она не улыбалась, но и не была печальной, и лицо ее скорее напоминало лицо спящей.

Ксендз Творковский, одетый в стихарь, выдвинулся из круга в сопровождении Текли Кржепецкой, державшей серебряный поднос с обручальными кольцами, и обратился к будущим новобрачным с речью. Он говорил учено, долго и вразумительно, объясняя, какое огромное значение придавала церковь обручению с первых дней христианства. Цитировал Тертуллиана и постановления Тридентского собора и мнения разных ученых канонистов, после чего, обратившись, наконец, к пану Понговскому и панне Сенинской, начал объяснять им, как мудро их решение, какое большое оказывают они друг другу благодеяние и что будущее их счастье зависит только от них самих.

Собравшиеся с изумлением слушали его, а в то же время и выходили из терпения, так как, будучи родственниками, они лишались таким путем наследства, и потому с неудовольствием смотрели на этот брак. Сам пан Гедеон, у которого от продолжительного стояния начиналось головокружение, начал переступать с ноги на ногу и делать прелату знаки глазами, чтобы тот поскорее окончил. Последний не скоро заметил это, но благословил, наконец, кольца и надел их на пальцы обрученных.

Тогда снова загремели на дворе выстрелы, а на хорах в столовой грянул оркестр музыкантов, состоящий из пяти скромно играющих радомских жидков. Гости начали по очереди поздравлять хозяина дома и его будущую молодую жену, по большей части кисло и неискренне. Две старшие сестры Кржепецкие сделали насмешливый реверанс «тетушке», а пан Мартьян поцеловал ее руку и, поручая себя ее будущему покровительству, окинул девушку таким козлиным взглядом, что пан Понговский мог бы его за это вышвырнуть из дома.

Но другие, более дальние родственники, но менее алчные люди, поздравляли искренне и горячо. Между тем двери в столовую широко распахнулись. Пан Понговский подал руку невесте, а за ними двинулись и остальные пары. Пламя свечей мерцало и колебалось от ветра, врывавшегося в комнату из открытых дверей сеней. Из этих сеней входила полупьяная уже челядь, неся бесчисленное множество блюд и баклаг с вином. От постоянного открывания и закрывания дверей в столовой было так холодно, что, садясь к столу, гости почувствовали в первый момент, как их охватывает дрожь, а от неустанного колебания пламени свечей вся комната, несмотря на прекрасную сервировку стола, показалась им темной и мрачной. Но надо было надеяться, что вино живо разогреет кровь в жилах, а вина не жалел пан Понговский. Обыкновенно этот человек был довольно скуп, но в исключительных случаях он любил отличиться так, что потом долго говорили о нем. Так случилось и теперь. Позади каждого гостя стоял слуга с покрытой мхом баклагой и даже под столом сидело несколько человек с бутылками, на тот случай, чтобы, когда гость, не могущий больше пить, опустит свой кубок между колен, тотчас наполнить его. Огромные «запойные» стаканы, чарки и кубки сверкали перед каждым гостем, только перед дамами стояли маленькие итальянские или французские рюмки.

Гости не заняли всего стола, ибо пан Понговский приказал накрыть больше приборов, чем было в наличии людей. Ксендз Творковский окинул глазами эти пустые места и начал превозносить гостеприимство хозяина дома, а так как голос у него был весьма громкий и, кроме того, он приподнялся с места, чтобы распрямить

складки своей сутаны, то присутствующие подумали, что он хочет провозгласить первый тост, и все насторожились.

– Слушаем, – отозвалось несколько голосов.

– Э, нечего слушать, – весело отвечал ксендз. – Это еще не тост, хотя скоро придет и для него время, ибо я вижу, что многие уже трут себе заблаговременно лбы, а пан Кохановский шепчет что-то и на пальцах считает. Ничего не поделаешь, судари мои! От кого же и ждать нам рифм, как не от Кохановского! А я хотел только сказать, что весьма хвалю этот старопольский обычай ставить приборы для неожиданных гостей.

– Ба! – проговорил пан Понговский. – Когда дом ночью светится, то из темноты всегда кто-нибудь может заехать...

– А может быть, кто-нибудь и едет, – отозвался пан Кохановский.

– Может быт, пан Грот?

– Нет... пан Грот на сейме. Если кто и приедет, то совсем неожиданный.

– Но мы его не услышим, потому что земля размякла.

– А вот собака лает под окном. Вдруг да кто-нибудь явится.

– С этой стороны никто не может явиться, так как эти окна в сад.

– И то правда, да и собака не лает, а воет.

Так и было на самом деле. Собака тьякнула раз, и другой, и третий, а потом лай ее превратился в глухой мрачный вой.

Пан Понговский невольно вздрогнул, припомнив, как много-много лет тому назад, в другом месте, на его дворе, лежавшем на расстоянии мили от поморянского замка, на Руси, точно так же завывали собаки перед внезапным нашествием татар.

А панне Сенинской пришло в голову, что ей уже некого ждать и кто бы ни приехал теперь из мрака на освещенный двор, он приедет слишком поздно.

Между тем и другие почувствовали себя как-то странно, тем более что к первой собаке присоединилась другая, и под окном раздалось двойное завывание.

Все невольно начали прислушиваться в тягостном молчании, которое прервал, наконец, Мартьян Кржепецкий.

– Что нам за дело до того гостя, на которого псы воют, – проговорил он.

– Вина! – воскликнул пан Понговский.

Но бокалы у всех были полны, и не нужно было наливать. Старый Кржепецкий, отец Мартьяна, тяжело поднялся с кресла, желая, по-видимому, произнести речь. Все обратили на него глаза, а старики прижали ладони к ушам, чтобы лучше слышать, что он скажет, а он только долго шевелил губами, причем подбородок его почти достигал носа, так как у старика совсем не было зубов.

Между тем с другой стороны двора, несмотря на оттепель и размокшую землю, послышался глухой топот и продолжался довольно долго, точно кто-то два раза объезжал вокруг дома. Старый Кржепецкий, поднявший уже, было, бокал, поставил его опять на стол и воззрился на дверь.

А за ним начали смотреть и другие.

– Посмотри, кто приехал! – сказал слуге пан Понговский.

Тот побежал и сейчас же вернулся.

– Никого нет, – отвечал он.

– Странно, – отозвался прелат Творковский, – было ясно слышно.

– Мы все слышали, – вставил один из близнецов Сульгостовских.

– И псы перестали выть, – добавил другой.

В этот момент дверь в сени, очевидно, плохо прикрытая слугой, сама собой распахнулась и в комнату ворвался такой сильный ветер, что сразу погасил много свечей.

– Что такое? Закрывайте двери! Свечи гаснут! – отозвалось несколько голосов.

Но вместе с ветром в комнату влетел и страх. Пани Винницкая, женщина боязливая и суеверная, начала креститься, громко приговаривая:

– Во имя Отца и Сына, и Духа...

– Тише, господа! – проговорил пан Понговский.

Потом, повернувшись к Ануле, он поцеловал ей руку.

– Никакая погасшая свеча не нарушит моей радости, – сказал он, – и дай Бог, чтобы и до конца жизни я был так же счастлив, как в эту минуту, правда, Ануля?

А она тоже склонилась к его руке.

– Правда, опекун, – отвечала она.

– Аминь, – dokonчил прелат. И, поднявшись, проговорил:

– Милостивые государи! В виду того, что неожиданные звуки смешали мысли пана Кржепецкого, я позволю себе первому высказать те чувства, которыми преисполнены наши сердца по отношению к новобрачным. Итак, прежде чем мы воскликнем: «O, Нупен, о, Нупенаios!», прежде чем, по римскому обычаю, мы начнем призывать прекрасного юношу Фалеса, – дай Бог, чтобы это случилось как можно скорее, – провозгласим этот первый тост за их благополучие и за их будущее счастье.

– Vivant! Vivant! – загремели многочисленные голоса.

Снова грянул радомский оркестр, а за окнами возницы начали щелкать в темноте

бичами. По всему дому разнеслись крики челяди, а в комнате, среди неумолкаемых криков, не переставая раздавалось:

– Vivant, vivant!

Долго продолжались крики, топанье ног, звуки музыки и щелкание бичей, пока, наконец, пан Понговский не прекратил их. Встав со своего места, он поднял бокал и громко произнес:

– Милостивые и любезные сердцу моему государи, гости мои и родственники!.. Прежде чем я выскажу вам свою благодарность некрасноречивыми словами своими, бью вам челом за ваше братское и соседское благорасположение ко мне, которое вы проявили, собравшись в таком большом количестве под моим убогим кровом..

Но слова «под моим убогим кровом» он произнес каким-то странным, тихим и как бы смиренным голосом, после чего сел и склонил голову так низко, что лбом почти прислонился к столу. Гости удивились, что этот обычно столь гордый и холодный человек заговорил вдруг с такой сердечностью.

Однако они подумали, что большое счастье смягчает даже и самые твердые сердца и, ожидая, что он скажет дальше, смотрели на его седую голову, все еще опиравшуюся о край стола.

– Тише! Мы слушаем! – отозвались отдельные голоса.

И действительно, воцарилась глубокая тишина.

Но пан Понговский даже не шевельнулся.

– Что с вами? Что случилось!.. Господи!..

– Говорите, ваша милость! – воскликнул прелат.

Но пан Понговский ответил только страшным хрипением, причем шея и плечи его начали внезапно передергиваться.

Панна Сенинская вскочила со своего места бледная как мел и закричала испуганным голосом:

– Опекун! Опекун!..

За столом поднялся шум и замешательство. Раздались восклицания, вопросы. Понговского окружили тесным кольцом; прелат схватил его за плечи и перегнул к спинке стула. Одни начали обливать его водой, другие кричали, что его надо перенести на постель и как можно скорее пустить ему кровь. Некоторые из женщин становились на колени, другие, точно безумные, бегали по комнате, пронзительно крича и причитая, а пан Понговский сидел с откинутой назад головой, с надувшимися, как канаты, жилами на лбу, с закрытыми глазами и хрипел все сильнее...

Действительно, нежданный гость пришел из мрака и вошел в его дом, страшный, неумолимый.

По приказанию прелата челядь подняла больного и перенесла его на другой конец дома в «канцелярию», служившую в то же время Понговскому спальней. Между тем послали в деревню за кузнецом, который умел пускать кровь и пускал ее с одинаковым успехом, как людям, так и животным. Оказалось, что кузнец находился тут же, перед домом, в толпе людей, собравшихся на угощение, но, к несчастью, он был совершенно пьян. Пани Винницкая вспомнила, что ксендз Войновский славится по всему округу, как прекрасный доктор, и поспешила отправить и за ним колымагу, приказав гнать лошадей, что есть духу, хотя было совершенно очевидно, что все это напрасно и что для больного уже нет спасения.

Так оно и было на самом деле.

Кроме панны Сенинской, пани Винницкой, двух панов Кржепецких и пана Забежовского, который немного знал медицину, ксендз Творковский никого не впустил в «канцелярию», чтобы излишний шум не тревожил больного. Но все гости, как женщины, так и мужчины, собрались в соседней большой, где были приготовлены постели для мужчин, и стояли там, точно стадо испуганных овец, преисполненные беспокойства, опасения и любопытства и, поглядывая на двери, ожидали известий, а некоторые потихоньку обменивались замечаниями по поводу ужасного происшествия и различных примет, которые предвещали несчастье.

– Вы заметили, как трепетали свечи и лучи их были какие-то красные? Это уж, видно, смерть их заслоняла, – шепотом проговорил один из Сульгостовских.

– Она была среди нас, а мы об этом не знали.

– Собаки на нее выли.

– А тот топот! Может быть, это она и приехала.

– Видно, сам Бог не хотел допустить этого брака, обидного для всей фамилии.

Дальнейший шепот был прерван появлением пани Винницкой и Мартьяна Кржепецкого. Она быстро пробежала через комнату, торопясь за реликвиями, охраняющими от вторжения злых духов, а его сейчас же окружили кольцом.

– Ну, что там? Как он себя чувствует?

А Мартьян пожал плечами, подняв их так, что голова очутилась совсем на груди, и ответил:

– Еще хрипит.

– Нет спасения?

– Нет.

В этот момент сквозь приоткрытую дверь ясно донеслись торжественные слова прелата Творковского:

– Ego te absolvo a peccatis tuis et ab omnibus censuris, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Тогда все опустились на колени и начали молиться. Пани Винницкая прошла между

колени преклоненными, обеими руками придерживая реликвии. Мартьян вошел за нею и закрыл дверь.

Но она недолго оставалась закрытой, ибо через четверть часа в ней снова показался Мартьян и воскликнул своим скрипучим, высоким голосом:

– Скончался!

Тогда со словами «вечная память» все гости один за другим двинулись в «канцелярию», чтобы бросить последний, прощальный взгляд на покойника.

Между тем на другом конце дома, в столовой, начали твориться омерзительные вещи. Челядь в Белчончке настолько же ненавидела пана Понговского, насколько боялась его, и вот теперь ей показалось, что вместе с его смертью наступает для них час облегчения, радости и безнаказанного своеволия. Приезжим слугам тоже представилась возможность погулять, и вот вся челядь, как местная, так и чужая, более или менее пьяная уже от полудня, набросилась на кушанья и вина. Одни опрокидывали в рот целые бутылки данцигского вина, мальвазии и венгерского; другие, более жадные на еду, вырывали друг у друга из рук куски мяса и пирогов. Белоснежная скатерть в одно мгновение оросилась целыми потоками различных напитков. В смятении люди переворачивали стулья в комнате и подсвечники на столе. Резные бокалы и стаканы выскальзывали из пьяных рук и с треском разбивались об пол. Тут и там возникли ссоры, драки; некоторые просто растаскивали столовую утварь. Словом, началась оргия, отголоски которой долетели даже на другую половину дома.

На крики прибежал Мартьян Кржепецкий, за ним двое Сульгостовских, молодой Забежовский и еще один из гостей. Увидев, что здесь происходит, они все схватились за сабли. В первую минуту замешательство еще больше усилилось. Сульгостовские ограничились потасовкой пьяниц, но Мартьяна Кржепецкого охватило прямо безумие бешенства. Выпуклые глаза его вылезли еще больше наружу, зубы засверкали из-под усов, и он начал рубить направо и налево. Несколько человек из слуг упали, обливаясь кровью, другие спрятались под стол, а остальные столпились в беспорядочном бегстве в дверях, и он рубил их сплеча и кричал:

– Лентяи! Собачьи дети! Я здесь господин! Я здесь хозяин!

И он выбежал за ними в сени, откуда донесся его пронзительный голос:

– Палок! Розог!..

А оставшиеся в комнате стояли, точно среди развалин, глядя друг на друга огорченными взглядами и качая головами.

– Я в жизни не видат ничего подобного, – отозвался, наконец, один из Сульгостовских.

А другой сказал:

– Странная смерть и странная обстановка ее. Посмотрите, ведь тут можно подумать, что татары напали.

– Или злые духи, – добавил Забежовский. – Какая ужасная ночь.

Они приказали вылезти из-под стола спрятавшейся там челяди и привести комнату хоть в относительный порядок. Слуги вышли совершенно отрезвевшие от страха и усердно принялись за работу. Между тем вернулся Мартьян.

Он уже несколько успокоился, только губы его еще дрожали от гнева.

– Они у меня попомнят! – проговорил он, обращаясь к присутствующим. – Но я благодарю вас, что вы помогли мне наказать этих негодяев. Не лучше им здесь будет, чем при покойнике! Ручаюсь своей головой!

Оба Сульгостовские быстро взглянули на него, и один из них сказал:

– Вам не за что благодарить нас, равно как и нам вас. – Ну?

– И почему это вы считаете себя здесь единственным распорядителем? – спросил второй из близнецов.

Пан Мартьян тотчас начал подпрыгивать на своих коротких ногах, точно желая допрыгнуть до их глаз, и ответил:

– Потому что я имею право! Имею право! Имею право!

– Какое право?

– Да побольше вашего!

– Это отчего же? Вы читали завещание?

– Что мне завещание? – Тут он подул на ладонь. – Вот что! Ветер! Кому записал? Жене? А какая такая жена? Где она? Вот что! Я здесь – самый близкий! Мы – Кржепецкие, а не вы!

– Это мы еще посмотрим! Чтоб вам лопнуть!

– Вам, чтоб лопнуть! Ступайте вон!

– Ах ты козел! Ах ты пес! Подождешь еще! Говоришь, вон!.. Лучше сам береги свой козлиный лоб!

– Ты мне грозишь?

Пан Мартьян загремел саблей и начал наступать на братьев, а они тоже схватились за рукоятки.

– Но в эту минуту позади них раздался огорченный голос ксендза Творковского:

– Господа! Ведь покойник еще не успел остыть. Сульгостовские страшно смутились, а один из них проговорил:

– Ваше преподобие, мы тут ни при чем. У нас есть свой кусок хлеба, а чужого мы не желаем. Но эта змея уже начинает шипеть и людей гнать.

– Каких людей? Кого?

– Кого ни попало. Сегодня нас, – он уже приказал нам уходить, а завтра, может быть, погонит и этих женщин-сирот, которые живут под этой кровлей.

– Вот и неправда! Неправда! – воскликнул Мартьян.

И, свернувшись внезапно в клубок, он усмехнулся, начал потирать руки, кланяться и говорить с какой-то ядовитой любезностью:

– Наоборот, наоборот! Я всех приглашаю на похороны и поминки! Покорнейше прошу! Мы оба с отцом покорнейше просим. А что касается панны Сенинской, она всегда найдет здесь кров и опеку! Всегда! Всегда!

Сказав это, он продолжал самодовольно потирать себе руки.

XV

Действительно, пан Мартьян и сам решил объявить панне Сенинской, что она может считать Белчончку своим собственным домом, но он отложил этот разговор до окончания похоронных церемоний. Ему хотелось сначала посоветоваться с отцом, который всю жизнь вел непрекращающиеся процессы и потому прекрасно знал законы и умел заранее предупреждать всякие затруднения. Впрочем, они оба были убеждены, что дело их верное, и на другой день после ужасного происшествия, в тот самый момент, когда Понговского клали в гроб, они заперлись в боковой комнате и начали с одинаковой бодростью совещаться.

– Само Провидение за нас! – говорил старик. – Прямо Провидение. И Понговский тяжко ответит перед ним за то, что хотел обмануть нас.

– И пусть себе отвечает! – заметил Мартьян. – Наше счастье, что он только хотел, но не успел, а теперь мы все заберем в свои руки. Сульгостовские уже успели поспорить со мной, но прежде я вырву у них душу, чем они вырвут у меня хоть один загон в Белчончке.

– Ах, шельмы! Такие-сякие! Чтоб их скривило!.. Да я и не их боюсь, а завещания. Ты выпытывал у ксендза Творковского? Если кто что-нибудь и знает, так это он.

– Неудобно мне было вчера, потому что он застал меня вчера за ссорой с Сульгостовскими и сказал нам: «Покойник еще не остыл!..» Потом он поехал за гробом и за ксендзами, а сегодня не было времени.

– Вдруг да Понговский все этой козе записал.

– Не имел права, потому что это имущество осталось от его покойной жены, нашей ближайшей родственницы.

– Это и сделает завещание недействительным, но будут расходы, беготня по инстанциям... и бог знает что!

– Ведь вы уж привыкли к процессам, а я составил такой план, что, пожалуй, не понадобится никаких процессов, а пока блажен кто верует, поэтому я из Белчончки теперь не тронусь. И послал уже за нашей челядью. Пусть меня потом гонят Сульгостовские либо Забежовские!

– Однако что скажет девушка, если ей все записано?

– А кто за нее вступится? Она одна, как палец, на всем свете, ни родных, ни друзей, одно слово – сирота. Кому охота подставлять из-за нее шею, нарываться на неприятности, поединки? Кому какое дело до нее? Тачевский был в нее влюблен, но Тачевского нет. Он, может быть, и совсем не вернется, а если бы даже и вернулся, то ведь он гол, как сокол, и в процессах столько же понимает, сколько мой конь. Откровенно говоря, положение сейчас таково, что если бы даже не Понговский, а родной отец завещал ей Белчончку, то и тогда мы могли бы приехать и распорядиться, как нам заблагорассудится под видом опеки над сиротой. Я думаю, что Понговский только собирался все переписать на нее и потому или совсем не окажется завещания, или окажется такое, где старик все оставляет панне Сенинской, как своей воспитаннице...

– Ну, а такое нам не страшно, – отвечал старик, – ручаюсь в том головою! Конечно, без процесса не обойдется.

– Почему же? Я слушаю, что вы говорите, но думаю, что обойдемся и так.

– Но видишь ли, в том-то и дело, что, говоря между нами, покойница Понговская была дура... (царство ей небесное) взяла да и записала все на мужа, значит, он имел право оставлять кому хотел. – Последние слова старик Кржепецкий произнес шепотом, оглядываясь во все стороны, хотя он и знал, что в комнате, кроме них, нет никого.

Но сын спросил:

– Как же она могла записать на него все имущество, когда она погибла внезапной смертью?..

– Дата поставлена через год после венчания. Очевидно, Понговский выманил у нее завещание, потому что там, где они жили, была опасная местность и никто не знал, когда татары запоют ему вечную память. Они сделали взаимное завещание и засвидетельствовали его в Поморьянах, откуда Понговский и привез его сюда. Я хотел тогда судиться с ним, но знал, что ничего не выиграю. Теперь совсем другое дело.

– Теперь обойдемся совсем без процесса.

– Если обойдемся, то тем лучше, но нужно быть готовым...

– Э... не нужно!

– Как же это будет?

– Да уж без вас справлюсь.

Услышав это, старый пан Кржепецкий рассердился:

– Ты справишься? Что? Как? Ты уж мне, пожалуйста, не порть дела. Он справится!.. Не ты ли советовал мне оставить в покое Сильницких и Дронжков, потому что ничего не выйдет?.. Ничего не выйдет... Почему... Свидетелей заставили присягать на местной земле... Великая штука! Я приказал людям насыпать в сапоги земли с моего двора – ну и что? И они пошли на землю Сильницких и ни один не присягал ложно, когда говорил: «Клянусь, что земля, на которой я стою, принадлежит пану Кржепецкому!» А ты бы целый год думал и ничего подобного не выдумал. Ты справишься? Смотри,

какой выискался!..

И старик начал сердито шевелить беззубыми челюстями, точно жуя что-то, причем подбородок его совершенно сходил с загнутым, как у хищной птицы, носом.

А сын отвечал:

– Успокойтесь, отец, и выслушайте меня. Когда дело идет о судах и тяжбах, то я всегда вам уступлю, но что касается женщин, то я в этом более сведущ и больше надеюсь на себя.

– Ну?..

– Поэтому, если дело и дойдет до процесса с панной Сенинской, то никак не в суде.

– Что же ты такое замышляешь?

– Нетрудно угадать. Разве мне уж не пора? И разве другую такую девку вы найдете во всей округе...

С этими словами пан Мартьян задрал голову кверху и уставился отцу в глаза, а тот тоже пытливо посмотрел на него, пожевал губами и спросил:

– Ты так думаешь?

– А почему бы и нет? У меня это уже со вчерашнего дня засело в голове.

– Отчего бы нет? Потому что она бедна, как Лазарь.

– Но зато я войду в Белчончку с пением и без малейших препятствий. Она бедна, но зато эта девушка из знатного рода... А помните ли вы, что говорил Понговский, что если бы хорошенько разобраться в документах Сенинских, то можно бы отсудить почти полвоеводства. Ведь и Собеские поднялись благодаря им, поэтому была бы и протекция у короля... Сам король должен бы подумать о таком деле... А мне девушка уже давно приглянулась...

И он запрыгал на своих коротких ногах, облизывая усы, причем казался таким противным, что старый Кржепецкий не мог не сказать:

– Она не захочет выйти за тебя.

– А за старого Понговского хотела? Что? А мало было таких, которые хотели идти за меня? Теперь много молодых людей ушли в войска, и девушек можно будет покупать грудями, как гвозди для подков.

– Ну, а если все-таки она тебя не захочет, тогда что?

В глазах Мартьяна сверкнули злые огоньки.

– Тогда, – с ударением ответил он, – с девкой можно безо всякой опеки поступить так, что она сама запросится в костел...

Но старик испугался его слов.

– Эй! – проговорил он, – а знаешь ли ты, что это уголовное дело?

– Я знаю только, что за Сенинскую никто бы не заступился!

– А я тебе говорю: берегись! И так уж на тебя все нападают. Процесс об имуществе выиграешь или проиграешь, все равно останешься честным, а ведь это преступление, понимаешь?

– Да до этого и не дойдет, разве если сама захочет. Только вы не мешайте мне, а делайте так, как я скажу. После похорон возьмите, отец, Теклю домой, а если удастся, то прихватите и старуху Винницкую, а я тут останусь при девушке с Агнешкой и Иоганной. Эти гадины ненавидят каждую, кто моложе и красивее их. Они уж и вчера начали жалить эту несчастную, а что же будет, если они поселятся с нею под одной кровлей? То-то начнут они ее колоть, то-то кусать, да унижать, да упрекать в куске хлеба! Я вижу все это, как в книжке, а эта вода пойдет на мою мельницу.

– Что же ты на ней смелешь?

– Что смелю? А то, что нарочно буду вмешиваться в их ссоры, буду ругать этих змей, а иногда и по роже дам, дескать: «Не смей!», а ей буду ручки целовать: «Я твой покровитель, я твой брат, твой истинный друг и ты здесь единственная госпожа!» И неужели вы думаете, отец, что ее сердце не растает, что она не полюбит того, кто будет ее заступником и покровителем, кто станет отирать ее слезы и день и ночь охранять ее?

Наступило минутное молчание.

– Тогда скажи Агнешке и Иоганне, чтобы они поступали по твоей воле!

– Им-то? Им ничего не надо говорить и нечему учить, потому что достаточно их характера. Только Текля одна голубь, а они – коршуны.

И действительно, пан Мартьян не ошибся, так как сестры его, каждая по-своему, уже занялись панной Сенинской. Текля то и дело обнимала ее и плакала вместе в нею, а Иоганна и Агнеса тоже утешали ее, но только иначе.

– Что не удалось, то не удалось, – говорила старшая, – но вы успокойтесь. Вы не будете нашей тетушкой, потому что сам Бог не захотел этого, но никто вас здесь не обидит и куска хлеба не пожалеет.

– И никто не заставит вас работать, – продолжала другая, – потому что мы знаем, что вы к этому не привыкли. Когда вы успокоитесь и сами захотите работать, тогда другое дело, но не торопитесь с этим. Пусть сначала уляжется ваше горе, потому что в самом деле вас постигло большое несчастье. Вы должны были стать здесь госпожой, выйти замуж, а теперь у вас нет никого, кроме нас. Но поверьте, что хотя мы с вами и не родственники, мы будем считать вас за родную.

Потом снова заговорила Иоганна:

– Примиритесь с волей Божьей! Господь послал вам это испытание, но зато он отпустит вам другие грехи. Если вы, может быть, чересчур надеялись на свою красоту или стремились к богатству и нарядам (ведь все мы грешны, потому я и

говоря это), то одно за другое сочтется.

– Аминь, – закончила Агнеса. – Пожертвуйте за душу усопшего на костел какую-нибудь драгоценную вещицу из приданого, ведь оно теперь не нужно вам, а уж мы попросим нашего отца, чтобы он вам позволил это.

Говоря это, они начали внимательно разглядывать платья, разложенные на столе, бросая взгляды на сундуки с приданым. Им так сильно хотелось посмотреть, что находится там внутри, что Иоганна, наконец, не выдержала и сказала:

– Может быть, помочь вам поискать?

С этими словами сестры набросились на сундуки, коробки и ящики, в которых лежали еще не распакованные по приезду из Радома платья и стали их развертывать, рассматривать при свете и примерять.

А панна Сенинская, точно оглушенная, сидела в объятиях нежной Текли, ничего не слыша и не видя, что с нею и вокруг нее происходит.

XVI

Еще став невестой, панна Сенинская испытала такое чувство, будто в ее жизни что-то смеркается, что-то гаснет, обрывается и замыкается и поэтому предстоящая перемена не пробуждала в ее сердце радости. Она согласилась на нее только потому, что такова была воля Понговского и что так ей подсказывала благодарность за опеку, а главным образом еще и потому, что с отъездом Яцека в ее сердце остались только горечь, сожаление, обида и та мысль, что, кроме опекуна, у нее нет никого на всем свете, и если бы не он, то она блуждала бы круглой сиротой среди чужих и неприязненных ей людей. Но вот внезапно грянул гром в тот очаг, возле которого ей предстояло сидеть, хотя и в печальном спокойствии, и не стало единственного человека, бывшего для нее хоть чем-нибудь на свете. Неудивительно поэтому, что этот гром оглушил ее в первую минуту и что все мысли смешались в ее голове, а в сердце осталось только одно чувство сожаления об этой единственной близкой ей душе, в соединении с чувством изумления и страха.

Поэтому слова двух старших сестер Кржепецких, начавших уже расхищать ее приданое, были для нее пустыми звуками, не имевшими никакого значения. Потом пришел пан Мартьян, кланялся, потирал руки, подпрыгивал, что-то долго говорил, но она не понимала, как его, так и всех остальных гостей, которые, следуя обычаю, подходили к ней со словами участия, тем более выразительного, чем меньше его было в их сердцах. Только когда пан Циприанович положил ей по-отечески руку на голову и сказал: «Господь не оставит тебя, сиротка!», что-то вдруг зашевелилось в ней, и на глаза набегали слезы. И в первый раз ей пришла в голову мысль, что она теперь точно жалкий листок, предоставленный на произвол ветра.

Между тем начались погребальные церемонии, а так как пан Понговский был крупным лицом в своей округе, то они продолжались, по обычаю, около десяти дней. В обручении принимали участие, за некоторыми исключениями, только приглашенные, а на похороны съехались все близкие и дальние соседи, и дом совершенно переполнился людьми, а приемы, речи, поездки в костел и возвращения из него следовали одни за другими. В первые дни всеобщее внимание было обращено на осиротевшую девушку, но потом, когда люди заметили, что Кржепецкие завладели всем домом, и что они выступают здесь в качестве хозяев, перестали обращать на нее внимание, а под конец погребальных церемоний и совсем стали смотреть на нее, как на обыкновенную приживалку.

Думал о ней только пан Циприанович, которого тронули ее слезы и ее печальная судьба. Слуги уже начали шептаться о том, что две панны Кржепецкие растащили все приданое, а старый пан спрятал в шкатулку ее драгоценности и что в доме уже начинают помыкать девушкой. Когда эти слухи дошли и до ушей пана Серафима, они задели его сердце, и старик решил поговорить об этом с ксендзом Войновским.

Но ксендз Войновский был сильно предубежден против девушки из-за Тачевского и с первых же слов заявил:

– Жаль мне ее, потому что она такая бедная и несчастная, и что смогу, я сделаю для нее, но, говоря между нами, – это Господь покарал ее за моего Яцека.

– Да, но ведь Яцек уехал, как и мой Станислав, а она осталась здесь сиротой.

– Уехал-то уехал, но как? Ваша милость видели его перед отъездом, а я провожал его дальше и скажу вам, что бедняга только зубы стиснул, а сердце так обливалось у него кровью, что и слова не мог выговорить. Эх, он любил эту девушку так, как только прежние люди любить умели, а теперешние не умеют!

– Но руками-то он еще может двигать, потому что я слышал, что сейчас же за Радомом у него было какое-то столкновение, и он изрубил какого-то проезжего шляхтича или даже двух.

– Потому что у него такое девичье лицо, каждый проходимец думает, что легко от него отделаться. К нему пристали какие-то пьяные, что же ему было делать? Я сделаю ему за это выговор, непременно сделаю, но подумайте, ваша милость, ведь человек с разбитым сердцем все равно, что лев, попавший в сети.

– Совершенно правильно, но что касается девушки, – эх, благодетель! Бог знает, действительно ли она так виновата, как мы думали.

– Женщина всегда виновата!

– Виновата или не виновата, а только когда я узнал, что Понговский хочет жениться, мне сейчас же пришло в голову, что он, пожалуй, главный виновник всего, потому что ему было весьма важно раз и навсегда избавиться от Яцека.

Но ксендз покачал головой:

– Нет. Ведь мы заключили из его письма, что оно было написано по ее наущению. Я прекрасно помню его и мог бы вашей милости повторить каждое слово.

– Помню и я, но мы не могли знать, что говорил ей пан Понговский и как он ей изобразил поступки Яцека. Букоемские признались мне, например, что, встретив ее вместе с покойником на дороге в Радом, они умышленно говорили им, что Яцек уехал после обильных возлияний, смеющийся и веселый и вдобавок чрезвычайно заинтересованный дочерью пана Зберхховского, к которому ваше преподобие дали ему письмо.

– Вот так налгали! И зачем?

– А затем, чтобы показать девушке и пану Понговскому, что Яцеку нет до них никакого дела. Но подумайте, ваше преподобие, если Букоемские могли столько

наговорить из дружбы к Яцеку, то что мог наговорить ей покойник из вражды?

– Понятно, что он не пощадил его. Но если даже она и менее виновата, чем мы это думали, скажите, ваша милость, что же из этого следует? Яцек уехал и, может быть, совсем не вернется, ибо, насколько я его знаю, он еще меньше будет беречь свою жизнь, чем Понговский его репутацию.

– Тачевский все равно бы уехал, – отвечал пан Циприанович.

– И если он даже не вернется, я не разорву на себе сутану. Смерть за отчизну и к тому же в борьбе против магометанской нечестивости – это достойный конец христианского рыцаря, кончина, достойная великого рода. Но я предпочел бы, чтобы он уехал не с такой болезненной стрелой, которая засела в его сердце, вот и все.

– Но ведь и мой единственный сын тоже не знал в жизни особенного счастья, однако и он пошел и, может быть, не вернется, – отвечал пан Циприанович.

И оба призадумались, ибо и тот и другой от всей души любили своих юношей.

В той же задумчивости застал их прелат Творковский, а узнав, что они только что говорили о будущем панны Сенинской, сказал:

– Скажу вам, но пусть это будет по секрету, что покойник никакого завещания не оставил и что Кржепецкие имели право овладеть его состоянием. Я знаю, что он хотел составить брачный договор в пользу жены и записать все на нее, но не успел. Только не проговоритесь об этом перед Кржепецкими.

– А вы сами ничего им не сказали?

– Да зачем же? Кржепецкие злые люди, а мне нужно было, чтобы они относились к ней помягче и потому, я не только ничего не сказал им, а еще вставил: «Не только Бог человека, но и человек человека иногда хочет испытать!» Услышав это, они сильно встревожились и давай спрашивать: «Да в чем дело? Да, может быть, вы что-нибудь знаете?» А я отвечаю: «Что должно быть, то и будет. Только помните одно, что покойник имел право записать свое имущество, кому хотел».

Тут прелат засмеялся и, заложив руки за фиолетовый пояс, продолжал:

– Ну, скажу я вам, у старика Кржепецкого даже икры затряслись, когда он услышал это. Он начал протестовать: «Не может быть! Он не имел права! Ни Бог, ни люди не согласились бы на это!» А я сурово взглянул на него и говорю: «Это хорошо, что вы вспоминаете Божье имя, ибо в ваши годы следует заботиться о его милосердии, но к человеческому суду лучше не прибегайте, так как вы легко можете не дождаться конца...» Старик страшно перепугался, а я еще добавил: «И к сироте будьте добры, чтобы Бог не наказал вас раньше, чем вы думаете».

Ксендз Войновский, доброе сердце которого тронулось судьбою девушки, тотчас заключил прелата в свои объятия.

– Благодетель! – воскликнул он. – Канцлером бы вам быть с вашей головой! Понимаю, понимаю! Вы ничего не сказали, с правдой не разминулись, но встревожили Кржепецких, которые, предполагая, что завещание, может быть, и есть, да еще, пожалуй, находится в ваших руках, должны теперь считаться с этим и сдерживать себя по отношению к сироте.

А прелат, довольный похвалой, постучал себя пальцем по голове и сказал:

– Не совсем еще дырявый орех, а?

– Ба! Да в этой голове столько разуму, что ему трудно в ней поместиться.

– Хе-хе! Хорошо, когда Господь захочет, а пока что, я думаю, что и в самом деле защитил сироту. С другой стороны, я не могу не признаться, что Кржепецкие, против моего ожидания, по-человечески и даже довольно сочувственно отзывались о панне Сенинской. Барышни, кажется, растащили там у нее разные тряпки, но отец сказал, что велит им отдать обратно.

– Хотя бы Кржепецкие были даже самыми скверными людьми, – отозвался пан Циприанович, но они не посмеют обидеть сироту, которой покровительствует такой умный и добрый духовник. Но теперь я хотел бы попросить ваше преподобие о другом: сделайте такое одолжение и заезжайте теперь ко мне в Едлинку. Удостойте меня чести угостить под моей кровлей такого знаменитого человека, беседа с которым подобна меду политики и всяческой премудрости. Ксендз Войновский уже обещал мне это, и вот вечером мы потолкуем наедине.

– Я знаю ваше гостеприимство, – любезно ответил прелат, – и отказаться от него было бы для меня истинным огорчением, а так как пост, считающийся самым неприятным временем, миновал, то я охотно заеду на денек к вашей милости. Итак, пойдемте попрощаемся с Кржепецкими, а прежде всего с сиротой, чтобы Кржепецкие видели, как мы относимся к ней.

И они пошли, а застав девушку одну, начали ободрять ее добрыми сердечными словами. Пан Циприанович погладил ее по белокурой головке, точно мать, которая хочет успокоить огорченного ребенка. Прелат Творковский сделал то же самое, а почтенного ксендза Войновского так тронуло ее изменившееся личико и ее печальная красота, напоминающая полевой цветок, преждевременно скошенный косой, что и он отечески обнял ее голову и, думая постоянно о Тачевском, проговорил, обращаясь не то к ней, не то к самому себе:

– Можно ли удивляться Яцеку, когда это такая картинка... И все налгали Букоемские, что он весело уехал. Ой, как налгали!

Услышав это, девушка порывисто прижалась губами к его руке и долго не могла оторвать их. Сердечные рыдания потрясли ее еще детскую грудь, и они оставили ее так, в неутолимых слезах и печали.

А час спустя они уже были в Едлинке, где их ожидали добрые вести. Приехал слуга, присланный с письмом от Станислава. Молодой Циприанович сообщал, что они поступили вместе с Яцеком в гусарский полк королевича Александра, что они оба здоровы, и что Яцек, хотя все еще печалится, однако немного приободрился и не забывается уже так, как в первое время. Кроме того, наряду со словами сыновней любви, в письме было одно известие, сильно удивившее пана Серафима. «Если вы, дорогой отец и благодетель, – писал Станислав, – увидите вернувшихся домой Букоемских, то не удивляйтесь и помогите им своим участием. С ними случилось странное происшествие, и мы уже не можем ни в чем помочь им. Если бы им не предстояло идти на войну, они бы, вероятно, давно умерли от огорчения, которое и так чуть не уморило их».

В течение следующих месяцев пан Циприанович несколько раз заезжал в Белчончку, желая узнать, что делается с панной Сенинской. Им не руководили никакие особые виды, так как его сын Станислав не был в нее влюблен, а с Яцеком было все порвано. Он делал это только по доброте душевной, а отчасти и из любопытства, желая проверить, каким образом и насколько девушка была причиной этого разрыва.

Однако это ему удавалось с трудом. Правда, Кржепецкие уважали его за богатство и гостеприимно принимали его, но гостеприимство это было такое осторожное, такое неотступное и назойливое, что пану Циприановичу не удавалось ни на минуту остаться наедине с девушкой.

Он понимал, что они не хотят, чтобы он расспрашивал ее о том, как они с нею обходятся, и это заставляло его призадуматься, так как он не замечал, чтобы с нею обходились плохо или слишком помыкали ею. Правда, он заставлял ее раза два за чисткой хлебной коркой белых атласных башмаков таких размеров, что они не могли быть с ее ноги, или по вечерам за штопкой чулок, но панны Кржепецкие делали то же самое, следовательно, здесь не было желания унижить сироту какой-нибудь черной работой. Барышни бывали иногда язвительны и колючи вроде крапивы, но пан Серафим вскоре заметил, что таков уж у них характер и что они не всегда могут удержаться и огрызаются даже с братом, которого боялись до такой степени, что достаточно было ему посмотреть на какую-нибудь из них, чтобы она сейчас же спрятала высунутое уже, было, жало. Сам Мартьян был любезен и вежлив с девушкой, но без навязчивости, а после отъезда отца и Текли стал еще любезнее.

Однако этот отъезд не понравился пану Циприановичу, хотя было вполне понятно, что старика, уже несколько слабого на ноги, нельзя было оставлять без женского ухода и что для ведения двух хозяйств семья Кржепецких должна была разделиться. Конечно, пан Серафим предпочел, чтобы Текля осталась с сиротой, но когда при удобном случае он намекнул на большее соответствие их возрастов, этот намек был принят крайне неприязненно старшими сестрами.

– Панна Сенинская, – проговорила Иоганна, – показала уже всему свету, что она не считается с возрастом, доказательством чему может служить покойный дядя и пани Винницкая, поэтому и мы не слишком стары для нее.

– Мы настолько же старше ее, насколько Текля моложе, да и то не знаю, – добавила другая, – кроме того, это уже наше дело, как устраиваться с хозяйством.

Но Мартьян вмешался в разговор и сказал:

– Отцу приятнее услуги Текли. Он любит ее больше всех, чему нельзя и удивляться. Мы думали послать и панну Сенинскую с ними, но она привыкла к этому дому, и я думаю, что ей здесь будет лучше, а что касается нашей опеки, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы ее ничто не тяготило.

С этими словами он приблизился, шаркая ногами, к девушке и хотел поцеловать у нее руку, но она быстро отдернула ее как бы с тревогой. Пан Серафим подумал, что не следовало бы увозить из дома пани Винницкую, но оставил это замечание при себе, не желая вмешиваться в чужие дела.

Он не раз замечал, что на лице панны Сенинской рядом с печалью часто появляется и страх, но не удивлялся этому, ибо доля ее стала действительно тяжела. Сирота, без единой близкой души, без крова над головой, она принуждена была жить из милости у неприятных ей людей, пользующихся к тому же нехорошей репутацией,

должна была тосковать о минувшем светлом прошлом и беспокоиться за настоящее. Кроме того, даже если человеку и очень плохо, но он имеет надежды на лучшее будущее, это может служить ему утешением. Но она не могла ни на что надеяться и не ждала ничего. Завтра предстояло ей точно такое же, как сегодня, а впереди долгие годы вечно одинакового сиротства, одиночества и жизни на чужих хлебах.

Пан Серафим часто беседовал об этом с ксендзом Войновским, с которым он виделся почти ежедневно, так как им приятно было разговаривать о своих молодых воинах. Но ксендз Войновский только пожимал сочувственно плечами и восхищался политикой ксендза Творковского, который, намекнув о завещании, занес как бы дамоклов меч над головами Кржепецких, чем предохранил сироту от слишком сурового обращения последних.

– Вот это так политик! – говорил он. – Кажется, что его держишь, а он уж ускользнул. Иногда мне кажется, что он и нам не открыл всей правды и что, может быть, в его руках и, действительно, есть завещание, с которым он неожиданно выступит.

– И мне это приходило в голову, но зачем же он стал бы его скрывать?

– Не знаю, может быть, чтобы испытать человеческую натуру. Я думаю только, что покойный Понговский был человек весьма предусмотрительный, и мне не верится, чтобы он давно уже не составил какого-нибудь распоряжения.

Но через некоторое время внимание обоих стариков обратилось в совершенно иную сторону. Дело в том, что приехали, или, вернее, пришли пешком из Радома братья Букоемские. Они появились в один прекрасный вечер в Едлинке, правда, при саблях, но в таких изорванных кафтанах, в худых сапогах и с такими огорченными лицами, что если бы пан Серафим не подждал их, он, наверное, страшно бы испугался, думая, что они принесли ему известие о смерти сына.

Братья начали по очереди обнимать его колени и целовать руки, а он, глядя на их горе, ударил себя по бедрам и воскликнул:

– Стах писал мне, что с вами случилась беда, но побойтесь же Бога!

– Согрешили, благодетель! – ответил, ударяя себя в грудь, Марк. А за ним и другие начали повторять:

– Согрешили! согрешили! согрешили!

– Говорите же, что? как? Как поживает Стах? Он писал мне, что спасал вас. Что же случилось?

– Стах здоров, благодетель, и оба с Тачевским они блестят как два солнца...

– Слава Богу! Слава Богу! Спасибо за доброе известие. Письма у вас нет?

– Он написал, но нам не дал, – говорит, вы можете потерять.

– А не голодны ли вы? Побойтесь вы Бога.

– Нет, мы не голодны! Угощение у каждого шляхтича готово, но мы несчастны.

– Ну, садитесь. Выпейте чего-нибудь горячего, а пока вино не разогрето, расскажите, что вас постигло. Где вы были?

– В Варшаве, – ответил Матвей, – но это прескверное место.

– Почему же?

– Потому что там страшно много шулеров и пьяниц, а на Долгой и в Старом Городе, что ни шаг, то веха[24].

– И что же?

– Вот и уговорил один собачий сын Луку сыграть с ним в кости. Чтоб его нечестивые на первый кол посадили!

– И обыграл его?

– Выиграл сначала все его наличные, а потом и наши. Мы пришли в отчаяние и хотели отыграться, но проиграли ему еще лошадь с седлом и с пистолетами в футлярах... Ну прямо скажу вашей милости, мы думали, что Лука пырнет себя ножом!.. И что было делать? Как же не утешить брата? Вот мы и продали второго коня, чтобы Луке хоть было с кем идти пешком.

– Ну теперь уж я понимаю, что случилось!

– Так оно и было, благодетель... Когда мы протрезвились, нас охватило еще большее отчаяние, что нет уже двух коней... Тут еще нужнее оказалось утешение...

– И так вы утешались вплоть до четвертого коня...

– До четвертого! Согрешили! Согрешили! – повторяли сокрушенные братья.

– Но, по крайней мере, на этом окончилось? – спросил пан Циприанович.

– Где там, отец наш и благодетель! Встретили мы этого шулера, некоего Порадзского, а он и давай оскорблять нас. «Так, говорит, всегда баранов стригут! Но вы парни здоровые, говорит, и я возьму вас к себе на службу, так как я как раз записался в войска!» Заплакал тут Лука, что тот поднимает нас на смех, да хватить его саблей по роже! Тот упал! На помощь к нему подскочили приятели, а мы вступились за Луку и давай рубить, а тут подходит маршальская стража – и на нас! Наши враги давай вопить: «Господа! Здесь попирают свободу и всю Речь Посполитую оскорбляют в нашем лице! Давайте помирился!» Так мы и сделали, и Господь благословил нас и мы в один момент изрубили восьмерых, троих из них насмерть, а остальные удрали...

Пан Циприанович схватился за голову, а Марк продолжал:

– Да! Теперь мы знаем! Господь видел нашу невинность, и только когда люди начали кричать, что под боком у короля совершается преступление, что это уголовщина, мы испугались и бросились бежать. Нас хотели поймать, но мы, по-старому, вlepили кому по лбу, кому по шее и удрали. Станислав спас нас, одолжив нам лошадей своей челяди, но и так мы едва унесли головы, так как погоня продолжалась до самого Сенкоцина, и если бы лошади оказались скверные, нас бы уже не было на свете. К счастью, там никто не знал нашего имени и потому из этого не может возникнуть

никакого дела.

Наступило продолжительное молчание, после чего пан Серафим спросил:

– Где же эти лошади Станислава?

А братья принялись в третий раз повторять:

– Согрешили, благодетель! Согрешили!

– Теперь я понимаю, – проговорил старый Циприанович, – почему вы не привезли письма от Стаха. Он писал мне, что вас постигли различные несчастья, и сообщал мне о вашем приезде, предполагая, что вы будете нуждаться в деньгах на лошадей и вооружение, но как все это кончится, он не мог предвидеть...

– Совершенно правильно, благодетель! – отвечал Ян.

Между тем принесли разогретое вино, за которое братья принялись с большой охотой, так как были сильно утомлены дорогой. Однако их беспокоило молчание хозяина, который все время расхаживал по комнате с опечаленным и строгим липом. Поэтому Марк заговорил снова:

– Вы спрашиваете, милостивый благодетель наш, о конях Станислава. Два из них сбили себе ноги, прежде чем мы успели доехать до Гройца, так как мы ехали все время вскачь и во время сильного ветра. Мы продали их за бесценок жидам-фурманам, потому что они все равно уж никуда не годились, а у нас не было ни гроша за душой, так как Станислав, вследствие внезапности бегства, не успел снабдить нас. Тогда, подкрепившись кое-как, мы поехали дальше по двое на одной лошади. Вы представляете себе это, ваша милость? Появится из-за угла какой-нибудь шляхтич и сейчас же хватается за бока: «Что же это, спрашивает, за иерусалимские дворяне?» А мы от такого горя уж на все были готовы. Начались постоянные столкновения, драки, пока, наконец, в Бялобжегах, ради своего спокойствия, мы продали и эти две последние клячи. Когда же кто-нибудь удивлялся, что мы идем пешком, мы отвечали, что это благодаря обету... Вы уж, того, благодетель, простите нас по-отцовски, ведь более несчастных людей, вероятно, нет и на свете.

– Правда! Правда! – воскликнули Лука и Матвей.

А Ян, расчувствовавшийся при воспоминании о пережитых несчастьях и своей виновности, поднял руки кверху и воскликнул:

– Сироты мы Божьи! Что же у нас осталось на свете?

– Ничего, кроме братской любви! – ответил Марк.

И братья начали обнимать друг друга, проливая при этом обильные слезы, а потом все сразу двинулись к пану Серафиму. Марк первый обнял его колени.

– Отец, – говорил он, – опекун наш первородный, не сердитесь на нас! Одолжите нам еще раз денег для поступления в войска, а мы, Бог даст, отдадим вам из добычи. А не одолжите, так и не надо, только не сердитесь на нас и простите. Простите ради великой дружбы, которую мы питаем к вашему Стаху, потому что, откровенно скажу вам, если бы кто-нибудь поднял на него хоть только палец, мы

разнесли бы его на саблях. Не правда ли, братья мои дорогие, на саблях?..

– Подавайте нам его сюда, собачьего сына! – воскликнули Матвей, Лука и Ян.

А пан Циприанович остановился перед ними, приложил руку ко лбу и ответил им так:

– Сержусь я – это верно, но еще больше грустно мне. Как подумаю я, что таких, как вы, много есть в Речи Посполитой, так сжимается мое сердце и в душе вырастает вопрос: способна ли будет мать наша с такими детьми отразить все те несчастья, которые угрожают ей? Вы извиняетесь передо мною и ожидаете моего прощения. Но, Господи Боже мой! Не во мне и не в моих конях тут дело, а в чем-то в сто раз более серьезном, ибо дело идет об общественном благе, о будущем всей Речи Посполитой; а что вы этого не понимаете, что вам такая мысль не пришла даже в голову и что таких, как вы, тысячи, то тем больше мое сожаление, тем сильнее скорбь и сильнее отчаяние и мое и каждого благородного сына нашей отчины.

– Ради Бога, благодетель наш! Чем же мы так согрешили перед отчиной?

– Чем? Бесчинством, своеволием, распущенностью и пьянством... Эх! Легко у нас люди относятся к подобным вещам и не видят, как распространяется эта зараза, не видят, как разваливаются стены этого великолепного здания и потолок грозит обрушиться на наши головы. Перед нами война и неизвестно, не против ли нас обратят язычники свои силы, а вы – воины христианские – что вы делаете? Трубы уже призывают к бою, а у вас в голове только вино и распутство! И вы с веселым сердцем рубите защитников того права, которое поддерживает хоть относительный порядок! Кто же установил это право? – Шляхта! А кто его попирает? – Шляхта же! Кто же выступит на поле славы за этот край, во славу Божью, когда не солдаты, а пьяницы, не граждане, а своевольники и забияки живут в нем?!

Тут пан Серафим оборвал и, прижав руку к лбу, снова заходил большими шагами по комнате, а они начали смущенно переглядываться, так как не ожидали услышать что-либо подобное из его уст.

А старик, тяжело вздохнув, продолжал так:

– Вы призваны были идти против крови языческой, а пролили христианскую. Вы призваны были защищать свою родину, а выступили как враги ее, ибо само собой понятно, что чем больше беспорядка в крепости, тем и крепость слабее!.. Есть еще, к счастью, у этой матери и благородные дети, но и таких, как вы, есть легион, и потому не свобода процветает здесь, а своеволие, не послушание, а безнаказанность, не суровый обычай, а распущенность, не любовь к родине, а своекорыстие, потому срываются у нас сеймы, и пустует казна, и растут неурядицы, и междоусобные войны, как разнузданные кони, топчут отечество, а судьбой его управляют пьяные головы, и подданные живут в стеснении, и кругом царит лишь бесправие, – вот почему обливается кровью мое сердце и я опасаюсь несчастий и Божьего гнева!..

– О Господи! Что же нам остается теперь, только повеситься? – воскликнул Лука.

А пан Циприанович еще несколько раз измерил шагами комнату и продолжал, но уже обращаясь не к Букоемским, а как бы про себя:

– Вдоль и поперек всей Речи Посполитой идет один великий пир, а на стене невидимая рука уже написала! Мене... текел... фарес!.. Сейчас льется вино, а скоро

польется кровь и слезы. Я это вижу. Не я один это предсказываю, но напрасно слепому ставить перед глазами свечи или глухому петь песни...

Воцарилось молчание. Братья продолжали посматривать то друг на друга, то на пана Серафима, все больше и больше приходя в смущение. Наконец Лука прошептал:

– Чтоб мне лопнуть, если я что-нибудь понимаю!

– И я!

– И я!..

– Потому что, если мы раза два подвыпили...

– Тише, не вспоминай...

– Едемте домой!..

– Едемте...

– Бьем челом вашей милости, благодетелю!.. – проговорил Марк, выступая вперед и склоняясь к ногам пана Серафима.

– Куда же вы?

– В Лесничевку. Господь нам поможет...

– И я помогу, – отвечал пан Циприанович, – только скорбь наполнила мое сердце, и я должен был излить ее. Ступайте наверх, отдохните, а потом я скажу вам, что я решил.

Час спустя он приказал запрячь лошадей и поехал к ксендзу Войновскому.

Ксендз тоже сильно огорчился поступками Букоемских, но моментами не мог удержаться от смеха, так как, прослужив долгие годы в войске, он вспоминал теперь различные приключения, которые случались и с ним, и с его товарищами. Однако тот факт, что они пропили лошадей, он никак не мог простить братьям.

– Солдат часто позволяет себе повольничать, – проговорил он, – но это уже слишком, ибо пропить лошадь, все равно что изменить службе. Букоемским я скажу, что был бы очень рад, если бы маршальский суд снимал с них головы, и, правда, такой пример пригодился бы всем своевольникам, но вам признаюсь, что мне было бы их жаль, ибо все четверо парни хоть куда... Я кое-что понимаю в этом и заранее могу сказать, кто чего стоит. И вот, что касается этих Букоемских, то не поздоровится тем язычникам, которые столкнутся с ними грудь с грудью. Как же вы думаете поступить с ними?

– Конечно, я не оставлю их без помощи, но боюсь, если я отправлю их одних, как бы с ними вторично не приключилось то же самое...

– Верно! – согласился ксендз.

– Поэтому и пришло мне в голову поехать вместе с ними и отдать их прямо в руки вахмистру. Очутившись в полку, они уже не смогут позволить себе ничего

подобного.

– Правильно! Это прямо замечательная мысль! Проводите их, ваша милость, до Кракова, так как там будут стягиваться полки. Ба! Может быть, и я выберусь заодно с вами... Таким образом мы повидаем наших молодых людей, а потом, успокоенные, вернемся обратно.

Пан Циприанович улынулся и сказал:

– Нет, уж вам придется вернуться одному.

– Почему же так?

– Потому что я тоже поступлю в войско...

– Вы хотите служить в войске? – с изумлением спросил ксендз Войновский.

– И да и нет, ибо одно дело поступить на военную службу и сделать из этого свое занятие, а другое – отправиться только в одну экспедицию. Стар я уже, правда, но и старше меня часто становились в ряды при одном звуке трубы Градыва. Я послал единственного сына – и это правда, но ведь для отчизны не может быть слишком большой жертвы. Так рассуждали и мои родители, и за это вознаградила их наша мать-отчизна величайшей честью, какую она могла оказать. Итак, для нее нужно отдать хотя бы последний грош, хотя бы последнюю каплю крови. А если бы даже пришлось умереть, подумайте, ваше преподобие, какое это великое счастье, какая прекрасная смерть! Раз нужно все равно умереть, так не лучше ли на поле славы, рядом с сыном, чем на постели, и от сабли или от пули, чем от болезни, а вдобавок еще умереть в борьбе за веру и родину?..

Тут пан Циприанович сам растрогался собственными словами и, подняв руки, начал повторять: «Дай-то Бог! Дай-то Бог!», а ксендз Войновский обнял его и сказал:

– Дай Бог, чтобы в Речи Посполитой было как можно больше граждан, похожих на вашу милость, ибо столь же благородных найдется в ней немного, а еще более благородных, пожалуй, и вовсе нет. Разумеется, шляхтичу гораздо пристойнее умереть на поле брани, чем на собственной постели, и раньше все так думали, но теперь наступили плохие времена. Отчизна и вера – это один большой алтарь, а человек – это капля мирры, которой предназначено сгореть во славу алтаря!.. Да!.. Теперь плохие времена... Война для вашей милости ведь тоже не новость – правда?

Пан Серафим погладил себя по груди.

– Да, есть тут немало шрамов от сабель и выстрелов с давних времен.

– И мне приятнее было бы служить в полку, чем выслушивать здесь признания в бабьих грехах. Другая придет и наболтает не весть что, да так скоро, точно она пришла блох перед исповедальной вытряхивать. Мужик, если уж нагрешит, так, по крайней мере, есть в чем исповедоваться... а солдат и тем более. Уже надев на себя вот это духовное одеяние, я был священником в гусарском полку пана Модлишевского... И сейчас даже приятно вспомнить... Между одним и другим отпущением грехов поднимешь иногда ружье к лицу, а то и приклад пустишь в ход. Ого! Теперь много потребуется капелланов. Хотелось бы и мне отправиться, но приход большой, работы масса, а викарий у меня нерасторопный, а главное, есть у меня одна такая

рана, которую я давным-давно получил и которая мне больше получаса не позволяет просидеть на лошади.

– Я был бы счастлив иметь такого товарища, – ответил пан Серафим, – но понимаю, что, если бы даже и не эта рана, ваше преподобие все равно не смогли бы покинуть прихода.

– А ну посмотрим!.. Сяду денька на два на мерина и попробую, как долго я удержусь на седле. Может быть, там как-нибудь и уладится. А кто же у вас в доме останется хозяйствовать?

– Есть у меня один лесник, человек простой, но такой честный, что почти святой..

– Знаю, это тот, за которым ходят лесные звери. Люди называют его колдуном, но вы, конечно, знаете лучше. Но ведь это старый человек и больной.

– Я хочу также взять к себе Вильчепольского, который раньше служил у Понговского. Может быть, вы помните? Молодой шляхтич без ноги, но человек деятельный и смелый. Кржепецкий удалил его, потому что он гордо держался с ним. Он был у меня два дня назад, предлагая свои услуги, и сегодня я, вероятно, покончу с ним. Понговский недолюбливал его, потому что парень не давал себя в обиду, но хвалил его верность и усердие.

– А что там слышно в Белчончке?

– Я уже давно там не был. Вильчепольский не хвалит Кржепецких, но подробно я не имел времени расспросить его.

– Завтра я загляну туда, хотя они не очень рады меня видеть, а потом заеду к вашей милости прочесть нотацию этим Букоемским. Велю им исповедаться и наложу на них епитимью. Пусть дадут друг дружке по пятьдесят плетей, это им пригодится!

– Конечно, пригодится, но теперь я должен попрощаться с вами, так как меня ждет этот Вильчепольский.

С этими словами пан Циприанович укоротил ремень, чтобы сабля не мешала ему сесть в экипаж, и минуту спустя ехал уже в свою Едлинку, размышляя по дороге о будущей поездке и улыбаясь при мысли, что будет плечо в плечо со своим единственным сыном сражаться против неверных. Проехав Белчончку, он встретил двух вьючных лошадей и бричку с вещами, на которой ехал Вильчепольский.

Он пригласил его пересесть к себе и спросил:

– Вы уже совсем из Белчончки?

А Вильчепольский указал на узлы и, желая показать, что хотя дело и идет о службе, однако он не совсем простой человек, сказал:

– Вот, ваша милость: *omnia mea mecum porto*.

– Разве вам так было спешно?

– Не столько спешно, сколько необходимо. Поэтому я с радостью соглашаюсь на все условия вашей милости, и в случае вашего отъезда, о котором вы упоминали, буду

верно оберегать ваш дом и имущество.

Пану Серафиму понравился этот ответ и дерзкое самоуверенное лицо молодого человека. После минутного раздумья он обратился к нему:

– В верности вашей я не сомневаюсь, так как знаю, что вы шляхтич, но только опасаясь неосторожности и неопытности вашей. В Едлинке нужно сидеть сиднем, бодрствовать и день и ночь, так как она находится почти в самом лесу, а там нет недостатка в разбойниках, которые иногда нападают даже и на дома.

– Едлинке я не желаю нападения, но себе желал бы его, чтобы убедить вашу милость, что у меня хватит бдительности и сердца...

– Это сразу видно по вас! – отвечал пан Циприанович. Он умолк, а через минуту заговорил снова:

– Я хочу предостеречь вас еще в одном важном деле. Пан Понговский предстал перед судом Божьим, но всем известно, что он был суров к подданным. Ксендз Войновский порицал его за это, из чего и возникла их вражда. Не жалели там мужицкого труда, а наказания были строги и расправа коротка. Надо сказать правду: там все были угнетены, и служащие тоже привыкли слишком строго обращаться с людьми. И вот, я говорю вам, что у меня этого нет. Наказания должны быть, но отеческие, а слишком большую строгость я считаю тяжким грехом против Бога и отчизны. Запомните хорошенько, что крестьянин не творог и слишком сильно его выжимать нельзя. Я не хочу жить человеческими слезами и всегда помню о том, что перед Богом мы все равны.

Снова воцарилось молчание. Потом Вильчепольский схватил руку пана Серафима и поднес ее к губам.

– Вижу, что вы понимаете меня, – проговорил пан Циприанович.

– Понимаю, благодетель мой, – отвечал молодой человек, – и отвечу вам на это: много раз хотел я прямо сказать пану Понговскому, чтобы он искал другого эконома, что я хочу уйти от него, но что же делать, когда я не мог.

– Почему же? Ведь работы всюду много.

А Вильчепольский смутился и заговорит, запинаясь:

– Не... пришлось... все не мог!.. Так вот со дня на день откладывал... А кроме того, была строгость... и не было ее...

– То есть как же это?

– Правда, работы требовали слишком много, и никто не мог ничего с этим поделать, но что касается наказаний, что касается побоев, скажу коротко: вместо розог были соломенные веревки...

– Кто же там был такой жалостливый? Вы сами?

– Нет. Но я предпочитал повиноваться ангельской, а не дьявольской воле.

– Понимаю, но скажите, чья же это была воля?

– Панны Сенинской.

– А-а! Так вот какая она была!

– Настоящий ангел! Она тоже боялась покойника, который только за последнее время начал обращать внимание на ее слова. Но все так сильно любили ее, что каждый предпочитал навлечь на себя гнев покойника, чем не исполнить ее просьбу.

– Благослови ее Господь за это! Итак, вы были в заговоре против Понговского?

– Да, ваша милость.

– И это ни разу не обнаружилось?

– Один раз обнаружилось, но я не выдал девушку. Покойник сам высек меня, потому что я сказал ему, что если это сделает кто-либо другой, или если мне, как шляхтичу, не подложат ковра, то я подожгу дом, а его самого застрелю. Так я бы и сделал, хотя бы потом мне пришлось уйти в лес к разбойникам.

– За это вы мне нравитесь, – отвечал пан Серафим. А Вильчепольский добавил:

– Тяжело подчас приходилось с паном Понговским, но был в доме, можно сказать, настоящий херувим Божий, и потому хотя я давно хотел уйти, но все оставался. А потом, когда девушка выросла, покойник начал больше обращать на нее внимания, а в последнее время даже и совсем считался с нею. Часто он знал, что она приказала выдать бедным зерна из амбара или, как я уже сказал, заменить розги веревками, а то пропустить день барщины, и притворялся, что не видит. В конце концов, он уже так стыдился ее, что ей не приходилось ни в чем скрываться перед ним. Это была настоящая покровительница людей, да благословит ее Господь и спасет ее от напасти!

– Почему вы сказали «спасет ее»? – спросил пан Циприанович.

– Потому что ей теперь хуже, чем раньше.

– Боже мой! В чем же дело?

– Панны – настоящие язвы, а молодой Кржепецкий якобы удерживает их, но я-то знаю, зачем он это делает, и пусть он лучше остерегается, чтобы кто-нибудь не застрелил его, как собаку!

Была уже поздняя ночь, но кругом было совсем светло, потому что на небе сияла полная луна, и при ее свете пан Циприанович заметил, что глаза молодого эконома загорелись, как у волка.

– Что же вы знаете об этом? – с любопытством спросил он.

– Знаю, что он удалил меня не только за мою дерзость, но и потому, что я внимательно смотрел и прислушивался к тому, что говорят в доме... Я вынужден был уйти, но до Белчонки недалеко, и в случае чего...

Он замолчал, и на дороге слышался только шум сосен, колеблемых ночным ветром.

XVII

В Белчончке девушке было не только плохо, но и с каждым днем все хуже. Поселившись под одной кровлей с девушкой и видя ее ежедневно, пан Мартьян полюбил ее по-своему, то есть какой-то запальчивой, животной любовью, на которую он только и был способен. В его планах тоже произошла перемена. Сначала он намеревался, опозорив девушку, жениться на ней только в том случае, если бы оказалось завещание в ее пользу. Теперь он готов был пойти с нею под венец во всех случаях, только бы получить право всегда обладать ею. Подстрекаемый желанием, рассудок становился его услужливым покровителем. Он-то и внушал ему, что панна Сенинская, даже и без состояния, является весьма завидной партией. Но даже если бы разум говорил противное, пан Мартьян все равно не послушал бы его, ибо с каждым днем терял самообладание. Он пылал страстью и безумствовал, и если до сих пор еще сдерживал себя от насилия, то только потому, что даже самое сильное желание стремится к добровольному согласию и наслаждается мыслью о взаимности, и в ней видит величайшее наслаждение, и обманывает себя даже в тех случаях, когда для этого нет ни малейшего основания. Так обманывал себя и Кржепецкий и так наслаждался мыслью о той минуте, когда девушка сама упадет в его объятия.

Однако он боялся поставить все сразу на карту, опасаясь проигрыша, а когда в душе задавал себе вопрос, что бы из этого могло произойти, его охватывал ужас перед самим собой и перед той грозой, которая повисла бы над ним, так как законы, охраняющие женскую честь, были в Речи Посполитой очень строги, а кроме того, кругом были сотни сабель, которые безусловно засверкали бы над его головой. Но в то же время он чувствовал, что может наступить такой час, когда он уже ни на что не станет обращать внимания, а так как в его дикой и самонадеянной душе всегда горело стремление к борьбе и любовь к опасностям, то для него не лишена была прелести мысль о толпе шляхтичей, окружающей Белчончку, о зареве пожара над головой и о красном палаче, стоящем с топором в руках где-то там, как бы в тумане, в каком-то далеком городе.

Таким образом страсть, опасение и желание борьбы трепали его точно три ветра. Между тем, желая дать выход этой буре и в то же время охладить свою кровь, кипевшую в нем, точно кипяток, он бесился, загонял лошадей, задирали людей и пил до бесчувствия во всех домах, какие были в Едльне, в Радоме и Притыке. Он собрал себе компанию бродяг, не ушедших на войну вследствие своей испорченной репутации или по недостатку средств, которой он платил и которую тиранил. Он делал это, также предполагая, что такая компания может пригодиться ему в будущем. Однако он никого не допускал до фамильярности и никогда не упоминал в этой компании имени девушки, а когда однажды какой-то Выш из какого-то Вышкова грубо и двусмысленно намекнул на нее, он хватил его саблей по лицу и обагрил кровью.

Домой он обыкновенно возвращался на рассвете, мчась сломя голову, но эта бешеная езда совершенно отрезвляла его. Тогда он падал не раздеваясь на конскую шкуру, которой была прикрыта его постель, и засыпал как убитый; проспав несколько часов, он надевал на себя самые лучшие платья, отправлялся к женщинам и старался понравиться девушке, с которой он ни на минуту не спускал глаз.

А панна Сенинская боялась его так, как боятся медведя или волка, и с трудом скрывала отвращение, переполнявшее ее при его виде. Несмотря на пестрые одежды, в которые он охотно наряжался, несмотря на драгоценности, блестящие на его шее и богатое оружие, которое он никогда не выпускал из рук, он становился с каждым днем все противнее и безобразнее. Бессонные ночи, пьянство и пламенные страсти оставили на нем свой отпечаток: он похудел, плечи его опустились, благодаря чему

длинные от природы руки его сделались еще длиннее, так что ладони заходили у него ниже колен. Его гигантское туловище уподобилось суковатому чурбану, а короткие, кривые ноги еще больше изогнулись от бешеной верховой езды. Кроме того, кожа его лица приобрела какой-то зеленоватый оттенок, а благодаря впавшим щекам, глаза и губы совсем выпятились вперед. В особенности он становился страшен, когда смеялся, потому что в такие минуты в его лице проглядывали какие-то непобедимое озлобление и угроза.

Но сознание своего несчастья, глубокая тоска и горе выработали в девушке какую-то серьезность, которой прежде не было и следа и которая импонировала Кржепецкому. Раньше это была щебетунья, трещавшая по целым дням, точно ветряная мельница; теперь же она научилась молчать, и взор ее приобрел некоторую твердость. И вот, хотя не раз сердце ее дрожало при виде Кржепецкого, она сдерживала его молчанием и спокойным взглядом, а он отступал перед нею, точно боясь оскорбить какую-то святыню. Правда, она казалась ему все более желанной, но в то же время и менее доступной.

Наконец, предчувствуя, что ей грозит с его стороны огромная опасность, а затем и совершенно уверенная в этом, она старалась избегать его, как можно меньше оставаться с ним наедине, отводить разговор от таких вопросов, которые могли облегчить ему признание, а иногда осмеливалась даже намекать на то, что она совсем не так страшно покинута всеми на свете и предоставлена судьбе, как это кажется.

Однако она тщательно избегала воспоминаний о Яцеке Тачевском, понимая, что после того, что произошло между ними, он уже не был и никогда не мог быть ее защитником. Кроме того, она чувствовала, что каждое слово о нем возбуждало гнев и озлобление в Мартьяне. Но, заметив, что Кржепецкие остерегаются ксендза Творковского и смотрят на него как бы с затаенным опасением, она часто давала им понять, что находится под его специальным покровительством, проистекающим из тайного договора, заключенного с ним на всякий случай покойным паном Понговским. Прелат же, от времени до времени посещавший Кржепецких, прекрасно помогал ей в этом, играя с ними для собственного удовольствия в политику, таинственно выражаясь, двусмысленно цитируя латинские сентенции и позволяя Мартьяну догадываться о различных вещах, которые последний мог объяснять себе как угодно.

Но главным образом, паненку любили все слуги и вся деревня. Люди считали Кржепецких самозванцами, а ее настоящей хозяйкой. Мартьяна же боялись все, за исключением Вильчепольского. Но даже и по удалении молодого шляхтича девушку окружала как бы невидимая опека всего народа, и Мартьян понимал, что возбуждаемый им страх имеет свою границу, за которой для него начиналась настоящая опасность. Он догадывался также, что Вильчепольский, «из глаз которого смотрела дерзость», далеко не уйдет, и в случае, если девушке потребуется его защита, не остановится ни перед чем, и потому в душе сознавал, что она действительно не так уж покинута всеми, как он сам думал сначала и как уверял в свое время отца.

– Кто за нее заступится? – говорил он отцу в то время, когда тот напоминал ему о страшных наказаниях, какими закон Речи Посполитой грозил за посягательство на женскую честь.

Теперь же он понимал, что такие, пожалуй, нашлись бы.

Это прибавляло только еще одно затруднение, но всякие затруднения и опасности

только разжигали такую натуру, как его. Он надеялся еще, что сумеет расположить к себе девушку, однако были моменты, когда он как на ладони видел, что ничего не добьется, и «бесился», как выражались товарищи его ночных походов, и безумствовал. Если бы не глухое, но сильное и непреодолимое предчувствие, что, попытавшись силой овладеть девушкой, он навсегда потеряет ее, он уже давно разнуздал бы в себе дикого зверя.

В такие именно минуты он пил без меры и памяти.

А между тем отношения в Белчонке становились все более несносными, проникнутыми ядом и злобой. Панна Кржепецкие возненавидели девушку не только за то, что она была моложе и красивее их, но и за то, что ее все любили, и даже Мартьян заступался за нее. В конце концов, они воспылали неумолимой ненавистью к брату, а заметив, что панна Сенинская никогда не жалуется ему, начали мучить ее еще беспощаднее. Однажды Агнеса, будто бы нечаянно, обожгла ее раскаленной кочергой. Узнав об этом от слуг, Мартьян отправился просить прощения у девушки и умолял ее всегда обращаться к его защите.

Обе «девицы», как их называли в Белчонке, не жалели для девушки колкостей, явных оскорблений и унижений, вымещая на ней, таким образом, все, что они переносили от брата. Но из ненависти к последнему они предостерегали ее от него и в то же время, видя, что ничем не могут больше задеть ее и унижить, подозревали ее в поощрении его желаний. Благодаря всему этому, дом превратился для девушки в настоящий ад, а каждый час пребывания в нем – в пытку. Ненависть к этим людям, которые сами ненавидели друг друга, начала отравлять ее сердце. Она начала мечтать уже о монастыре, на таила свою мечту, зная, что ее не пустят и что, разбудив гнев Мартьяна, она только подвергнет себя страшной опасности. Страдания и тревога навсегда поселились в ее сердце и пробудили в нем желание, которого оно еще никогда не знало – желание смерти.

Между тем каждый новый день подливал новые капли горечи в чашу ее страданий.

Больше всего на свете панна Сенинская боялась любви Мартьяна. А он все больше подвигался к ней, приставал все настойчивее и бессовестнее и все лакомее поглядывал на нее. Чувствовалось, что он уже перестает владеть собой, что дикое желание треплет его, как вихрь дерево, и каждую минуту может вырваться наружу.

И действительно, такая минута вскоре наступила.

Однажды, когда наступили теплые дни, панна Сенинская хотела выкупаться поутру в скрытом под сенью кустов ручье. Но, не успев еще раздеться, она увидела высунувшееся сквозь густую листву лицо Мартьяна. Тогда девушка, не переводя дыхания, бросилась бежать, а он погнался за нею, но, желая перескочить ручей, оступился и попал в воду. Чуть не захлебнувшись, он вернулся домой промокший до нитки и взбешенный. Перед обедом он избил нескольких слуг до крови, а во время обеда не проронил ни слова и только в конце его обратился к сестрам:

– Оставьте меня наедине с панной Сенинской. Мне нужно поговорить с нею о важных делах.

Услышав это, сестры начали многозначительно поглядывать на нее. Девушка побледнела от ужаса. Правда, он и раньше ловил каждую минуту, когда мог остаться с нею наедине, но так открыто он еще никогда не позволял себе этого требовать.

Когда сестры удалились, Мартьян заглянул в одну дверь и в другую, чтобы убедиться, что его не подслушивают, потом подошел к девушке и сказал:

– Протяните мне руку в знак мира.

А она невольно отдернула обе руки и отодвинулась от него.

Мартьян, по-видимому, старался сохранить спокойствие; подпрыгнув раза два на своих кривых ногах, – от этой привычки он никогда не мог удержаться, – он произнес сдавленным голосом:

– Не хотите! А я из-за вас чуть не утонул сегодня. Я извиняюсь перед вами за тот испуг, но поверьте, что это случилось не из-за какой-нибудь скверной мысли. Дело в том, что со вчерашнего дня между Белчончкой и Выромбками бродят бешеные собаки, и я пошел с ружьем охранять вашу безопасность.

Ноги молодой девушки слегка задрожали, но она ответила довольно спокойно и сдержанно:

– Я не хочу защиты, которой надо стыдиться.

– А я хотел бы не только теперь, но и вечно защищать вас... до самой смерти... и безо всякой обиды, а, наоборот, с Божьего благословения! Вы понимаете меня?

Воцарилось минутное молчание. Через открытые окна доносился только стук топора, которым старый, хромой работник рубил дрова возле кухни.

– Не понимаю, – отвечала девушка.

– Потому что не хотите! – отвечал Мартьян. – Вы давно видите, что я не могу без вас жить! Вы необходимы мне, как воздух для дыхания! Вы милее и дороже мне всего на свете! Не могу!.. Я сгорю без вас... пропаду! Если бы я не сдерживал себя, то давно бы схватил вас, как ястреб голубя. Без вас у меня пересыхает в горле, как без воды!.. Все дрожит во мне! Я не могу ни спать, ни жить!.. Смотрите, вот и теперь...

Он оборвал, так как зубы его застучали, как в лихорадке. Он съезжился, схватился костлявыми руками за спинку стула, словно боясь упасть, и некоторое время громко сопел.

Потом снова заговорил:

– У вас нет состояния – это не беда... У меня есть достаточно. Мне нужны вы, а не богатство! Хотите ли вы быть госпожой этого дома? Вы собирались выйти за Понговского, а ведь я не хуже. Только не говорите мне: «нет»! Ради всего святого, не говорите: «нет», иначе я не ручаюсь за себя!.. Вы моя чудная!

С этими словами он вдруг упал на колени и, обняв ее ноги, прижал их к своей груди. Но, неожиданно для нее самой, страх ее в тот же момент исчез без следа. В ней заиграла рыцарская кровь, пробудилась готовность бороться до последнего вздоха. Она начала изо всех сил отталкивать его орошенное потом лицо, прижимавшееся к ее коленям.

– Нет! Нет! Лучше тысячу раз умереть! Нет!

Тогда он поднялся весь бледный, с ошетинившимися волосами, преисполненный холодного бешенства. Усы его, из-под которых были видны длинные, гнилые зубы, заметно дрожали. Но он еще владел собой, сознание еще не совсем покинуло его. Однако, когда девушка бросилась внезапно к дверям, он заступил ей дорогу.

– Да? – хрипло спросил он, – вы не хотите меня? Повторите мне это прямо в глаза! Не хотите?

– Не хочу! И вы не грозите мне, потому что я не боюсь!

– Я не грожу вам, а хочу жениться на вас! Да! Еще раз прошу, опомнитесь, ради Бога! Опомнитесь!

– В чем мне опомниться? Я вольна распоряжаться собой, потому что я дворянка. И я прямо говорю вам: никогда!

А он придвинулся к ней так близко, что лицо его почти прикасалось к ее лицу, и продолжал:

– Тогда, может быть, вместо того, чтобы быть госпожой, вы желаете лучше носить дрова на кухню? Тоже не хотите? Как же так можно дворянке? В какое свое имение вы отправитесь отсюда? А если останетесь здесь, то чей хлеб будете есть? На чьей милости жить? В чьей вы будете власти? Чье то ложе и чья комната, в которой вы спите? Что будет, если я прикажу снять задвижку? А вы меня спрашиваете, в чем опомниться? А в том, что выбрать: или венец или без венца...

– Подлец! – воскликнула панна Сенинская.

Но тут случилось нечто невообразимое. Охваченный внезапным бешенством, Кржепецкий рявкнул нечеловеческим голосом и, схватив девушку за волосы, начал с каким-то зверским наслаждением бить ее без милосердия и без памяти. Чем дольше владел он собой до сих пор, тем сильнее и страшнее становилось теперь его бешенство. Он, наверное, убил бы ее, если бы на ее крик о помощи не сбежалась вся дворня. Первым прибежал работник, рубивший дрова возле кухни, который влез в комнату через окно с топором в руке; за ним прибежали кухонные мужики, потом обе панны Кржепецкие, ключник и двое из прежней челяди пана Понговского.

Ключник был шляхтич из далекой усадьбы на Мазурах, а кроме того, человек необыкновенной силы, хотя и старый. Схватив Мартьяна сзади за плечи, он сжал их так, что локти почти сошлись у него за спиной, и сказал:

– Так нельзя, ваша милость! Стыдно!..

– Пусти! – прорычал Кржепецкий.

Но железные руки держали его точно в клещах, и мрачный, сдержанный голос проговорил возле самого его уха:

– Успокойтесь, ваша милость, а не то... кости поломаю!

Между тем сестры Кржепецкие схватили девушку и вывели, или, вернее, вынесли ее из столовой. Ключник продолжал:

– Пожалуйте, ваша милость, в канцелярию... отдохнуть. Очень советую вам..

И он начал подталкивать его вперед, как ребенка, а тот, правда, скрежетал зубами, брыкался короткими ногами, требовал веревок и палача, но не мог вырваться, так как после своей вспышки он вдруг так ослаб, что не мог даже держаться на ногах без посторонней помощи.

Поэтому, когда ключник, придя в канцелярию, бросил его на покрытую конской шкурой постель, он даже не попробовал подняться и лежал неподвижно, как колода, тяжело сопя и раздувая бока, как усталая лошадь.

– Пить! – прохрипел он.

Ключник приоткрыл дверь, позвал слугу и, шепнув ему на ухо несколько слов, отдал ему ключи, а тот моментально вернулся, неся флягу с водкой и огромную кружку.

Шляхтич налил ее доверху, понюхал и, подойдя к Мартьяну, сказал:

– Пейте, ваша милость.

Кржепецкий схватил ее обеими руками, но они у него так дрожали, что жидкость полилась ему на грудь. Тогда ключник приподнял его на постели, поднес кружку к его губам и начал постепенно наклонять.

Мартьян пил не отрываясь, жадно придерживая кружку, когда шляхтич пробовал отнять ее от его губ.

Наконец он опорожнил ее до дна и упал навзничь.

– Не будет ли слишком много? – проговорил ключник. – Но ведь ваша милость очень ослабли.

Мартьян хотел ответить, но только громко втянул в себя воздух, как человек, обжегший губы чем-то горячим. А шляхтич продолжал:

– Эй, ваша милость! Вы должны мне поставить добрый магарыч, потому что я оказал вам немалую услугу... Вдруг бы, упаси Господи, что случилось?... Ведь за такое дело топор и палач, не говоря уже о том, что и сейчас могло бы приключиться несчастье. Люди здесь страшно любят девушку... И перед ксендзом Творковским трудно будет скрыть, хотя я и прикажу слугам молчать. Как вы себя чувствуете?

А Мартьян смотрел на него помутившимися зрачками, не переставая ловить воздух открытым ртом. Он пытался что-то сказать, но у него сделалась икота и, закрыв глаза, он захрипел, как умирающий.

А ключник посмотрел на него и потом пробормотал:

– Спи, а то и околевой, плюгавый пес!

И, выйдя из комнаты, он отправился на фольварк, но через полчаса снова вернулся в дом и постучал в комнату панны Сенинской. Застав там обеих сестер Мартьяна, ключник сказал им:

– Не заглянете ли вы, сударыни, в канцелярию к молодому пану, а то он страшно

ослабел. Только, если он спит, не надо его будить.

Потом, оставшись наедине с панной Сенинской, он склонился к ее ногам и сказал:

– Нужно бежать из этого дома! Все уже готово!

Несмотря на то что девушка была страшно избита и еле держалась на ногах, она моментально вскочила:

– Хорошо! Я тоже готова! Спасите меня!

– Запряженная коляска стоит за ручьем. Я провожу вас. Сегодня же ночью привезу и одежду... Пан Кржепецкий пьян как стелька и до завтра пролежит пластом. Наденьте только юбку и едем. Никто не задержит нас, не бойтесь!

– Бог вас вознаградит! Бог вас вознаградит! – лихорадочно повторяла она.

Они вышли, направляясь через сад к той калитке, через которую обыкновенно приходил Тачевский из Выромбок. По дороге ключник говорил:

– Вильчепольский уже давно приготовил это. Он уговорился с дворней, что если здесь будет сделано на вас какое-нибудь нападение, то они должны поджечь гумно. Пан Кржепецкий бросился бы тогда на пожар, а вы могли бы выскочить через сад к ручью, где Вильчепольский должен был специально ожидать вас с повозкой. Но лучше, что обошлось без поджога, ведь это все-таки уголовное. Говорю вам, что Кржепецкий будет до утра лежать как пласт, поэтому вам нечего бояться никакой погони.

– Куда же я поеду?

– К пану Циприановичу, потому что там вы всегда найдете защиту. Там Вильчепольский, там братья Букоемские и лесничие. Кржепецкий наверное захочет отбить вас, но это ему не удастся. А куда потом пан Циприанович отвезет вас – в Радом или еще дальше, об этом он посоветуется с ксендзами... Вот и телега. Погони не бойтесь, до Едлинки недалеко, да и вечер Господь дал прекрасный. Я сегодня же привезу одежду, а если они вздумают препятствовать, я не посмотрю на них. Ну, благослови вас Мать Пресвятая Богородица, защитница и покровительница сирот!

С этими словами он взял ее как ребенка на руки и, усадив в коляску, крикнул вознице:

– Трогай!

Сумерки уже сгущались, и вечерняя заря начала гаснуть, только от последних ее лучей розовели еще звезды на ясном небе. Тихий вечер был напоен запахами земли, листьев и цветущей сирени, а соловьи, точно теплым весенним дождем, заливали сад, и ольхи, и всю окрестность своим пением.

XVIII

В такой именно вечер сидел на крыльце своего дома пан Циприанович, угощая ксендза Войновского, приехавшего навестить его после вечерни, и четырех братьев Букоемских, постоянно обретавшихся в Едлинке. Перед ними стоял на козлах стол, а на нем баклага меду и стаканы. Все они, прислушиваясь к тихому шуму пущи, медленно попивали мед, поглядывая на небо, на котором ярко блестел серп луны, и

разговаривали о войне.

– Благодаря Богу и вашей милости, благодетелю, мы уже скоро снова будем готовы в путь, – говорил Матвей Букоемский. – Что там было, то было! Ведь и святые грешили, а что же можно требовать от слабого человека, который без Милости Божией не может обойтись? Но когда я взгляну на этот месяц, который служит эмблемой для турок, так у меня сейчас же начинают кулаки зудеть, точно их комары искусают. Ну, дай только Бог поскорее, – одно осталось утешение!

Младший из Букоемских призадумался на минуту и сказал:

– Почему это, преподобный отец, турки молятся на луну и носят изображение ее на знаменах?

– А разве псы не молятся на луну? – спросил ксендз.

– Совершенно правильно, но почему же и турки?

– Потому что они собачьи дети.

– А ведь, ей-богу, правильно! – отвечал молодой человек, с удивлением глядя на ксендза.

– Но луна не виновата в этом, – заметил хозяин, – и каждому приятно смотреть, как в ночной тишине она озаряет своим светом деревья, точно обсыпая их серебром. Люблю я сидеть в такую ночь, любоваться на небо и восторгаться всемогуществом Божьим.

– Да, верно! В такие моменты душа человеческая точно на крыльях возносится к своему Творцу, – отвечал ксендз. – Милосердный Бог сотворил точно так же луну, как и солнце, – и это величайшее благодеяние... Ибо, что касается солнца, так ведь днем и так видно, а вот если бы не было луны, сколько бы люди посвораживали себе шеи, блуждая по ночам, не говоря уже о том, что впотьмах и шалости дьявольские значительно увеличились бы.

Все на минуту замолчали, водя глазами по ясному небу; потом ксендз понюхал табак и прибавил:

– Заметьте, господа, как милостивое Провидение заботится не только о нуждах, но и о удобствах людей.

Дальнейший разговор был прерван стуком колес, явственно долетевшим до их ушей среди ночной тишины. Пан Циприанович поднялся со скамейки и сказал:

– Бог посылает нам какого-то гостя, так как свои все дома. Любопытно, кто бы это мог быть?

– Вдруг да кто-нибудь с известиями от наших детей? – ответил ксендз. Все встали со своих мест, а между тем коляска, запряженная парю лошадей, въехала в открытые ворота.

– Какая-то женщина, глядите! – воскликнул Лука Букоемский.

– Правда!

Объехав половину двора, коляска остановилась перед крыльцом. Пан Серафим взглянул на лицо приезжей и, узнав ее при свете луны, воскликнул:

– Панна Сенинская!..

И он почти на руках вынес ее из коляски, а она склонилась к его коленям и разразилась плачем.

– Сирота, – воскликнула она, – умоляет вас о приюте и спасении!..

С этими словами она прижалась к его коленям, все сильнее обнимая их и рыдая все жалобнее. Всех обуяло такое изумление, что в первое время никто не мог произнести ни слова. Наконец пан Циприанович приподнял ее, прижал к своему сердцу и воскликнул:

– Пока я жив, я буду твоим отцом, сиротка моя бедная! Но что случилось? Неужели тебя прогнали из Белчончки?

– Кржепецкий избил меня и грозил опозорить! – едва слышно отвечала она.

Но ксендз Войновский, стоявший возле пана Серафима, услышал ее ответ и, схватив себя за волосы, воскликнул:

– Иисусе Назарийский, царь Иудейский!..

А четыре брата Букоемские смотрели на все с открытыми ртами и вытаращенными глазами, совершенно не понимая, что вокруг них происходит. Правда, сердца их сразу тронулись слезами сироты, но, с другой стороны, они помнили, что панна Сенинская глубоко обидела их друга, Тачевского, помнили также поучение ксендза Войновского, что причиной всех зол на свете является *mulier*, и потому начали вопросительно переглядываться, точно надеясь, что если не одному, то другому придет какая-нибудь счастливая мысль в голову.

Наконец заговорил Марк:

– Ну уж эти мне Кржепецкие!.. Мы этого Мартьяна во всяком случае... Не так ли?

Он схватился за левый бок, а по его примеру и остальные братья загремели саблями.

Между тем пан Циприанович отвел девушку в комнату и поручил ее экономке, пани Дзвонковской, женщине доброй, но неудержимо болтливой, приказав ей заняться ею как самой почетной гостьей. Он велел отдать ей свою собственную спальню, зажечь свечи, развести огонь в кухне, разыскать успокоительные снадобья и мазь от синяков, приготовить похлебку и другие кушанья, а девушке посоветовал лечь в постель, пока все это не будет готово, и отдохнуть, отложив более подробный разговор до завтра.

Но она хотела сейчас же открыть свое сердце перед теми людьми, у которых она искала спасения. Хотела сразу выбросить из души ту боль, которая накоплялась в ней издавна, и рассказать о всех муках, страданиях, стыде и унижениях, которые она испытала в Белчончке. Заперевшись в комнате с паном Серафимом и ксендзом Войновским, она рассказала им все, как на исповеди или как родному отцу.

Призналась во всем, и в своей тоске по Тачевскому, и в том, что хотела выйти за опекуна – и только потому, что думала, что Яцек пренебрег ею, и потому, что она слышала от Букоемских, что он собирается жениться на панне Збержховской; наконец рассказала, как она жила или, вернее, страдала в Белчончке, рассказала о невыносимой злости сестер Кржепецких, и о страшных приставаниях пана Мартьяна, и о том, что произошло в последний день и что послужило поводом к ее бегству.

А они, слушая ее, хватались за головы. Ксендз Войновский, как бывший воин, машинально тянулся рукой, по примеру Букоемских, к левому боку, хотя уже давно не носил на нем сабли, а почтенный пан Серафим то и дело обнимал руками голову девушки и повторял:

– Пусть он только попробует отнять тебя! У меня был раньше сын, а теперь Господь послал мне дочь...

Но ксендза Войновского задело больше всего то, что она говорила о Яцке. Вспоминая все, что произошло, он не мог теперь разобраться во всем этом.

Старик долго размышлял, поглаживал всей ладонью свои белые волосы, и, наконец, спросил:

– А знали ли вы о письме, которое покойник написал к Яцеку?

– Как же, я сама упросила опекуна написать его!

– Тогда я совсем ничего не понимаю! Зачем же это?

– Потому что я хотела, чтобы он вернулся.

– Как же он мог вернуться? – уже с гневом воскликнул ксендз. – Письмо было так написано, что именно из-за него Яцек и поспешил уехать с разбитым сердцем на край света, чтобы забыть обо всем и выбросить из сердца ту любовь, которую вы растоптали.

А она удивленно заморгала глазами и сложила руки, как для молитвы.

– Опекун говорил мне, что это было отеческое письмо!.. Мать Пресвятая Богородица!.. Что же в нем было?

– Презрение, оскорбление и попрание чести! Понимаете!

Но тут из сердца девушки вырвался такой болезненный и искренний вопль, что благородное сердце ксендза дрогнуло. Он подошел к девушке, отвел руки, закрывавшие ее лицо, и воскликнул:

– Так вы не знали?

– Не знала! Не знала!

– И хотели, чтобы Яцек вернулся?

– Да.

– Господи Боже мой! Но зачем это вам было?

Тогда из-под опущенных ресниц девушки снова покатались слезы, обильные и быстрые, и крупные, как жемчуг. Лицо ее загорелось девичьим стыдом. Она начала ловить открытым ртом воздух, сердечко ее забилось, как у пойманной птицы, и наконец девушка прошептала с усилием:

– Потому что... я... люблю его...

– Побойся Бога, дитя мое! – воскликнул ксендз.

Но голос его вдруг оборвался, потому что его тоже душили слезы.

Им овладели одновременно и радость, и неизмеримая жалость к девушке, и изумление, что «mulier» не является в таком случае причиной всех зол, а оказывается невинным ягненком, на которого, Бог знает почему, свалилось столько несчастий.

И, обняв девушку, он прижал ее к своей груди и начал не переставая повторять:

– Дитя мое! Дитя мое!

Между тем братья Букоемские перебрались вместе со стаканами и баклагой меда в столовую, старательно уничтожили весь мед и ожидали ксендза и пана Серафима в надежде, что с их приходом будет подан ужин.

Наконец вернулись и они, взволнованные и с влажными от слез глазами. Циприанович глубоко вздохнул и сказал:

– Пани Дзвонковская укладывает сейчас бедняжку в постель... Прямо не верится собственным ушам!.. Мы тоже отчасти виноваты, но Кржепецкие... Это прямо позор, срам! Этого нельзя оставить безнаказанно!

– Это с удовольствием! – отвечал Марк. – Мы потолкуем об этом с Чурбаном! Ой-ой-ой!

Потом он обратился к ксендзу Войновскому:

– Нам искренне жаль ее, но я все-таки думаю, что это ее Господь наказал за нашего Яцека. Не так ли?

А ксендз ответил ему:

– Глупый вы человек!

– А тогда как же? В чем же дело?

А старик, сердце которого было переполнено жалостью, быстро и запальчиво заговорил о невинности и страданиях девушки, как бы желая таким образом вознаградить ее за ту несправедливость, которую он допустил по отношению к ней. Но вскоре рассказ его был прерван появлением пани Дзвонковской, точно бомба, влетевшей в комнату.

Лицо пани Дзвонковской было залито слезами, точно она окунула его в ведро с водой. Вытянув вперед руки, она закричала прямо с порога:

– Люди, кто в Бога верует! Отмщения, справедливости! Ради Бога! Все плечики в синяках, беленькие плечики, как снег... волосики все горстями повыдерганы, золотистые волосики... голубочек мой милый, цветочек дорогой, овечка моя невинная!..

Услышав это, взволнованный уже рассказом ксендза, Матвей Букоемский вдруг заревел, а за ним Марк, Лука и Ян... Так что челядь сбежалась в комнату и собаки залаяли в сенях. Но Вильчепольский, вернувшийся вскоре с ночного объезда стогов сена, нашел уже братьев в другом настроении. Волосы у них ощетинились, глаза побелели от бешенства, а руки сжимали рукоятки сабель.

– Крови! – вопил Лука.

– Давайте его сюда, собачьего сына!

– Бей!

– На саблях разнесем!

И все, как один человек, двинулись к выходу, но пан Циприанович загородил им дорогу.

– Стой! – воскликнул он. – Он заслуживает не сабли, а палача!

XIX

Долго пришлось пану Серафиму успокаивать братьев. Он объяснил им, что если бы они сразу убили пана Кржепецкого – это был бы не шляхетский, а разбойничий поступок.

– Во-первых, – говорил он, – нужно объехать соседей, посоветоваться с ксендзом Творковским, заручиться согласием шляхты и духовенства, собрать свидетельские показания челяди в Белчончке, потом внести дело в трибунал, и только когда приговор будет утвержден, подкрепить его силой. Если бы вы сейчас разнесли его на саблях, – говорил он, – старый Кржепецкий не преминул бы разгласить, что вы сделали это по подстрекательству панны Сенинской, почему репутация ее могла бы пострадать, а на вас старик бы подал иск, и вместо того, чтобы идти на войну, вам пришлось бы таскаться по судам, так как, не состоя еще на гетманской службе, вы не могли бы уклониться от суда. Вот какое дело.

– Как? – с сожалением спросил Ян. – Так, значит, мы должны оставить безнаказанной обиду этой голубки?

– А вы думаете, – заметил ксендз, – что Мартьяну Кржепецкому будет мила жизнь, когда над ним повиснет позор или меч палача, а к тому же, когда на него обрушится всеобщее презрение? Это еще худшая пытка, чем скорая смерть, и я не согласился бы за все олькушское серебро очутиться сейчас в его шкуре.

– А если он вывернется? – спросил Марк. – Отец его – старый пройдоха, выигравший уже не один процесс.

– Если же он вывернется, то Яцек по возвращении шепнет ему на ухо одно словечко... Вы еще не знаете Яцека! У него девичьи глаза, но безопаснее вынуть медвежонка из-под медведицы, чем задеть его за живое.

Но тут мрачно заговорил молчавший до сих пор Вильчепольский:

– Пан Кржепецкий уже сам подписал себе приговор, и кто знает, дождется ли он возвращения пана Тачевского. Но я скажу вам другое: он, наверно, захочет вернуть девушку вооруженной силой и тогда...

– Тогда увидим! – перебил пан Циприанович. – Пусть он только попробует! Это другое дело!

И старик грозно загремел саблей, а Букоемские заскрежетали зубами, повторяя:

– Пусть попробует! Пусть попробует!

А Вильчепольский добавил:

– Только ведь вы уезжаете на войну...

– Это уж как-нибудь устроится! – отвечал ксендз Войновский.

Дальнейший разговор был прерван появлением ключника. Он привез коробки с вещами девушки, что, как он говорил, досталось ему не без труда. Панна Кржепецкие пробовали протестовать и даже хотели разбудить брата, чтобы он не давал. Но они не могли добудиться его, а шляхтич внушил им, что это необходимо сделать и для их собственного блага и для блага их брата, иначе их обвинят в грабеже чужого имущества и их привлекут к суду. Тогда они испугались, как женщины, не знающие законов, и позволили увезти вещи. Ключник также предполагал, что Мартьян постарается вернуть девушку, но не допускал, чтобы он сразу прибегнул к насилию.

– Его удержит от этого, – говорил он, – старый пан Кржепецкий, который понимает, чем пахнет такое дело. Он еще ничего не знает о случившемся, но я прямо поеду отсюда к нему и изложу ему все дело, и сделаю это по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы он удержал пана Мартьяна, а во-вторых, потому, что я не хочу быть завтра в Белчончке в тот момент, когда пан Мартьян проснется и узнает, что это я устроил побег девушки. Он бы непременно накинулся на меня, и тогда одному из нас могло быть очень скверно.

Пан Серафим и ксендз Войновский похвалили находчивость ключника и, видя, что это человек добрый, а кроме того, опытный и знающий законы, пригласили его обсудить все дело с ними вместе. Тогда были устроены два совещания, так как другое устроили братья Букоемские на свой страх.

Зная, каким образом можно сократить их воинственный пыл и удержать их дома, пан Циприанович послал им во флигель порядочную флягу травника, за которую они тотчас охотно засели и начали пить за здоровье друг друга. Они все были сильно взволнованы и невольно вспоминали ту ночь, когда панна Сенинская в первый раз переступила порог дома в Едлинке. Братья начали напоминать друг другу, как они тотчас влюбились в нее и как поссорились из-за нее, а потом предназначили ее Станиславу Циприановичу, принося собственные желания в жертву дружбе.

В конце концов, Матвей хлебнул вина, положил голову на руки, вздохнул и сказал:

– В ту ночь Яцек сидел, точно белка, на дереве. Кто же мог бы тогда догадаться, что именно ему Господь Бог предназначил ее.

– А нам приказал оставаться сиротами! – добавил Марк.

– Помните, – спросил Лука, – как тогда стало светло от нее во всех комнатах? Светлее не стало бы и от сотни ярких свечей. А она то сядет, то встанет, то улыбнется... А как взглянет на тебя, так сразу тепло внутри станет, точно ты горячего вина выпил!.. Выпьем-ка, братцы, за наше неутешное горе!

Они снова выпили, после чего Матвей ударил кулаком по столу и воскликнул:

– Эх! Если бы она так не любила этого Яцека!

– Так что бы было? – ворчливо спросил Ян. – Думаешь, что она бы моментально влюбилась в тебя? Смотрите, какой красавец!

– Хорошо, что ты не красавец! – отвечал Матвей.

И братья начали недружелюбно поглядывать друг на друга. Но Лука, обычно очень склонный ко всяким стычкам, начал их успокаивать:

– Ни для тебя, ни для тебя и ни для кого из нас! Другой получит ее и поведет к алтарю.

– Вот нам и тяжело и горько! – отвечал Марк.

– Так будем же, по крайней мере, любить друг друга. Никто нас на свете не любит! Никто!..

– Никто! Никто! – повторяли братья, мешая вино со слезами.

– А она спит себе там! – внезапно отозвался Ян.

– Спи, бедняжка! – в тон ему добавил Лука. – Лежи, как подкошенный цветочек, как овечка, растерзанная безжалостным волком. Братья мои родные, неужели этого волка никто даже за вихры не оттаскает?

– Не может быть! – воскликнули Матвей, Марк и Ян.

И снова начали ссориться, а чем больше пили, тем чаще то тот, то другой огрызался или ударял кулаком по столу.

– Я придумал! – воскликнул самый младший.

– Говори! Ради бога!

– А вот как! Мы обещали пану Циприановичу не изрубить Чурбана! Правда?

– Правда, да ты говори, не спрашивай!

– Но все-таки отомстить за нее необходимо. Сюда приедет, как здесь говорилось, старый Кржепецкий попробовать, не отдаст ли ему пан Циприанович девушку добровольно. Но мы-то знаем, что не отдаст! А?

– Не отдаст! Не отдаст!

– Ну то-то, а как вы думаете, не выскочит ли Мартьян навстречу возвращающемуся отцу, чтобы посмотреть и расспросить, чего он достиг?

– Как Бог свят, выскочит!

– Ну, а на половине дороги от Белчончки до Едлинки возле самой дороги находится смоловарня. Не подождать ли нам Мартьяна в той смоловарне?..

– Хорошо! Но к чему?

– Только шш!.. Тихо!

– Шш!..

И братья начали озираться по комнате, хотя и знали, что, кроме них, там не было ни живой души, и перешептываться. Шептались долго, то тише, то громче, наконец, лица их просияли, они допили залпом вино, обнялись и потихоньку, гуськом вышли из комнаты.

С величайшими предосторожностями оседлав лошадей, братья вывели их за уздцы из ворот, сели и поехали стремя в стремя, пока не добрались до большой дороги. Там Ян, на сей раз командовавший братьями, проговорил:

– Теперь я с Марком отправлюсь в смоловарню, а вы привезите еще до рассвета бочку с перьями.

XX

Как и предполагал ключник, старый Кржепецкий приехал на другой же день после полудня в Едлинку, но против всех ожиданий приехал с таким веселым и добродушным лицом, что пан Циприанович, имевший обыкновение дремать после обеда и потому несколько сонный, сразу точно отрезвел от удивления при его виде. Старая лисица с самого своего вступления на порог заговорила о соседской дружбе и о том, как приятно было бы для него почаще навещать друг друга, он благодарил за гостеприимство и, только покончив со всеми этими любезностями, приступил к самому делу.

– Любезный сосед, – проговорил он, – я приехал к вам с поклоном и в то же время, как вы уже, вероятно, догадались, и с просьбой, которую вы, принимая во внимание мои годы, не откажетесь любезно выслушать.

– Я рад исполнить каждое справедливое желание вашей милости, – отвечал пан Серафим.

А старик начал потирать руки.

– Я так и знал! Наперед знал! – проговорил он. – Хорошо иметь дело с умным человеком. Сразу можно поладить. Я и сыну сказал так. Поручи это мне. Если дело касается пана Циприановича, то все будет хорошо, ибо другого такого же не только умного, но и честного человека, не найти во всей округе.

– Вы слишком льстите мне!

– Нет! Нет! Я говорю еще слишком мало!.. Но приступим к делу!

– Приступим!

Старый Кржепецкий с минуту помолчал, точно ища слов, и только шевелил губами, так что подбородок сходил у него с носом, наконец, весело улыбнулся, положил руку на колено пана Стефана и сказал:

– Благодетель... вы знаете, что у нас улетел щегленок из клетки?

– Знаю! Видно, испугался кота!

– Ну, разве это не удовольствие беседовать с таким человеком! – воскликнул, потирая руки, старик. – Вот это остроумно! Ксендз Творковский лопнет от зависти, вот ей-богу.

– Я слушаю вас...

– Ну вот, просто с места, нам хотелось бы этого щегленка вернуть обратно.

– Почему бы и нет?

Пан Кржепецкий несколько раз повел подбородком в сторону носа, так как его встревожило, что дело идет слишком гладко. Однако он захлопал в ладоши и воскликнул с притворной радостью:

– Ну вот и дело с концом. Дай Бог, чтобы таких людей было побольше!

– Со мной-то кончено, – отвечал пан Серафим, – но нужно будет спросить эту птичку, захочет ли она вернуться, а сегодня этого сделать нельзя, потому что ваш сын так придушил ее, что она едва дышит...

– Она больна?

– Больна и лежит в постели.

– А не притворяется ли она?

Лицо пана Серафима внезапно омрачилось.

– Милостивый государь, – заговорил он, – поговорим серьезно. Ваш сын Мартьян поступил с панной Сенинской недостойно, не по-человечески, неблагородно и вообще позорно, да и вы тяжело провинились перед Богом и людьми, отдав сироту в такие руки и доверив ее такому бессовестному злодею!..

– Нет и четвертой доли правды во всем том, что она говорит! – воскликнул старик.

– Как! Ведь вы даже не знаете, что она говорит, а отрицаете! Не она говорит, а говорят за нее синяки и следы ударов, которые моя ключница видела на молодом теле, а что касается Мартьяна, то вся дворня в Белчончке видела его приставания, а затем и его жестокость и в случае надобности готова засвидетельствовать это. У меня же находится Вильчепольский, который сегодня же отправится в Радом и доложит обо всем ксендзу Творковскому.

– Но ведь вы обещали мне возвратить девушку.

– Нет! Я говорил только, что не буду ее задерживать. Если она захочет вернуться, хорошо. Захочет остаться у меня – еще лучше. И вы не должны требовать от меня, чтобы я отказал обездоленной сироте в куске хлеба и в крове.

Челюсти старого Кржепецкого снова задвигались. Он помолчал и сказал:

– Вы и правы и неправы. Было бы недостойно отказать сироте в куске хлеба и в крове, но как человек умный и осмотрительный сами рассудите, что одно дело не отказывать в гостеприимстве, а другое – поддерживать сопротивление родительской власти. Я от души люблю свою младшую дочь, Теклю, но все-таки случается, что дам ей подзатыльник. Так как же? Если бы она, наказанная мною, убежала к вам, разве вы бы не позволили мне взять ее обратно, или предоставили бы это ее воле? Подумайте, ваша милость!.. Что бы это был за порядок на свете, если бы женщины захотели иметь свою волю? Даже и старая замужняя женщина должна подчиниться воле своего мужа, а несовершеннолетняя девушка и подавно должна слушаться своего отца или опекуна.

– Панна Сенинская – не ваша дочь и даже не родственница.

– Но мы приняли опеку над нею после пана Понговского. Если бы пан Понговский наказал девушку, вы бы, вероятно, не сказали ни слова; точно так же и по отношению ко мне и к моему сыну, которому я доверил управление Белчончкой. Ничего не поделаешь! Кто-нибудь должен распоряжаться, кто-нибудь должен иметь право наказывать. Не спорю, Мартьян, как человек молодой и порывистый, быть может, и перешел границу, в особенности, когда она ему отплатила неблагодарностью. Но это уж мое дело. Я все рассмотрю, рассужу и накажу, но девушку возьму обратно и думаю, – извините меня, – что даже и сам его величество король не имеет права воспрепятствовать мне в этом.

– Вы говорите, как на суде, – отвечал пан Циприанович, – и я не отрицаю, что с виду вы как будто действительно правы. Но предлог – это одно, а истина – другое. Я ни в чем не хочу препятствовать вам, но скажу вам откровенно, каково мнение о вас людей, с которым и вам советую считаться. Вам нет дела ни до панны Сенинской, ни до опеки над нею, но вы подозреваете, что у ксендза Творковского есть завещание в ее пользу и потому боитесь, чтобы Белчончка, вместе с девушкой, не ускользнула из ваших рук. Еще недавно я слышал, как один из соседей говорил: «Если бы не эта неуверенность, они давно бы уж выгнали сироту из дома, потому что у этих людей нет Бога в сердце!» Мне страшно неприятно говорить вам такие вещи в своем доме, но необходимо, чтобы вы это знали.

Глаза старого Кржепецкого сверкнули гневом, но он ответил спокойно, хотя и слегка прерывающимся голосом:

– Злоба человеческая! Подлая злоба и ничего больше, а вдобавок и неразумие! Как? Мы хотим выгнать из дому девушку, на которой Мартьян собирается жениться? Подумайте, сударь, ради Бога! Ведь это совершенно не вяжется одно с другим!

– Люди говорят так: «Если окажется, что Белчончка принадлежит ей, то Мартьян женится на ней, а если нет, то он только опозорит ее». Я ничего не беру на свою совесть, а повторяю только, что говорят, с тем лишь добавлением, что сын вашей милости грозил опозорить девушку. Это я знаю наверное, и вы, хорошо зная Мартьяна и его развратные стремления, не будете отрицать, что так и было...

– Я знаю и то и другое, но не понимаю, к чему вы клоните?

– К чему я клоню? Да к тому именно, что я уже сказал вам. Если панна Сенинская согласится вернуться к вам, тогда я не имею никакого права препятствовать вашей и ее воле, но если нет, то я не выгоню ее из дома, так как уже обещал ей это.

– Дело не в том, чтобы вы ее выгнали, а в том, чтобы вы позволили взять ее, точно так же, как вы позволили бы взять одну из моих дочерей. Я прошу вас только не препятствовать мне!

– Тогда я прямо скажу вам: никакого насилия я не допущу! В моем доме я хозяин, и вы, упоминая о короле, должны понимать, что даже и его величество не может пренебречь этим моим правом.

Услышав это, пан Кржепецкий сжал кулаки так, что ногти впились ему в ладони, и проговорил:

– Насилие! Именно этого я и боюсь! Если я имел что-либо против людей, а кто же не сталкивался с человеческой злобой, то всегда действовал против них законом, а не насилием. Но пословица неправильно утверждает, что яблоко недалеко от яблони падает... Иногда оно падает даже и очень далеко... Я хотел ради вашего же блага покончить это дело миром... Вы здесь совершенно беззащитны в лесу, а Мартьян... – тяжело отцу говорить так о сыне, – пошел не совсем в меня... Мне стыдно признаться, но я не ручаюсь за него!.. Весь уезд боится его вспыльчивости и совершенно справедливо, потому что он готов ни на что не обращать внимания и в его распоряжении всегда найдется штук пятьдесят сабель... А ведь вы... повторяю, совершенно беззащитны в лесу... и я советую вам считаться с этим!.. Я сам боюсь!

Но тут пан Циприанович встал и, подойдя к Кржепецкому, заглянул ему прямо в глаза.

– Вы хотите напугать меня? – спросил он.

– Я и сам боюсь!.. – повторил старый Кржепецкий.

Но дальнейший разговор был прерван внезапными возгласами со двора, со стороны кладовой и кухни. Собеседники подбежали к открытому окну и в первый момент остолбенели от изумления: мимо плетня по направлению к воротам с необычайной быстротой мчалось какое-то странное чудовище, не похожее ни на одно из виденных на земле живых существ, а за ним на разгоряченных лошадях гнались четверо Букоемских, крича и размахивая в воздухе нагайками. Чудовище первое вбежало во двор, а за ним ворвались братья и начали гоняться за ним вокруг палисадника.

– Иисус! Мария! – воскликнул пан Циприанович и выбежал на крыльцо, а за ним потащился и старый Кржепецкий.

Теперь они могли лучше рассмотреть прибывших. Чудовище было похоже не то на гигантскую птицу, не то на всадника, который как будто слился со спиной лошади и, казалось, бежал на четырех ногах. Но и всадник и лошадь были до такой степени покрыты пухом, что головы их были похожи на два перистых шара. Впрочем, ничего нельзя было хорошенько разобрать, так как чудовище, точно вихрь, носилось вокруг двора, а братья Букоемские наступали на него, не жалея ударов нагайками, от которых так и сыпался пух, точно снежные хлопья кружившийся в воздухе.

При всем этом чудовище рычало, как раненый медведь, братья вторили ему, и среди этого шума совершенно терялись голоса пана Циприановича и старого Кржепецкого, которые кричали что есть сил:

– Стойте! Ради Бога! Стойте!

Но те, как бешеные, в одно мгновение раз пять промчались вокруг двора. Между тем из кухни, со стороны сараев и гумна сбежалась многочисленная дворня и, услышав возгласы «стойте», с отчаянием повторяемые паном Серафимом, подскочили к лошадям панов Букоемских и начали останавливать их, хватая за узды и поводья. В конце концов, лошади братьев были остановлены, но с перистым конем пришлось очень трудно. Без узды, подгоняемый батогами, испуганный и замученный он поднимался на дыбы при виде людей, либо с молниеносной быстротой поворачивал в сторону, так что его удалось поймать только когда, поджав ноги, он собирался перескочить через ограду. Один из работников схватил его за ноздри, другой за челку, несколько человек за гриву. Лошадь не могла перескочить с такой тяжестью и упала на передние ноги. Правда, она сейчас же вскочила снова, но уже больше не пробовала вырваться и только дрожала всем телом.

Тогда работники сняли всадника, который, как оказалось, не упал только потому, что ноги его были крепко связаны под брюхом лошади, и очистили его лицо от пуха. Лицо всадника оказалось густо вымазанным дегтем, так что черты его никак нельзя было распознать. Он подавал слабые признаки жизни и только, когда его перенесли на крыльцо, старый Кржепецкий и пан Серафим узнали его и воскликнули с ужасом:

– Мартьян!

– Он самый и есть! – тяжело дыша, проговорил Матвей Букоемский. – Мы малость наказали его и пригнали сюда, чтобы панна Сенинская знала, что на свете есть еще добрые души.

А пан Серафим схватился за голову.

– Чтоб вам пусто было с такими добрыми душами! Разбойники вы такие!

Потом, обратившись к пани Дзвонковской, прибежавшей вместе со всеми и осенявшей себя крестным знамением, старик воскликнул:

– Налить ему водки в рот, отмыть и в постель!

Поднялась суматоха. Одни бросились готовить постель, другие – за горячей водой, третьи – за водкой; несколько человек торопливо очищали с него пух. Старый Кржепецкий помогал им, скрежеща зубами и приговаривая:

– Жив или не жив? Жив!.. Мести!.. Мести!..

Потом, сорвавшись с места, он подбежал к пану Циприановичу и, согнув пальцы наподобие когтей перед самыми его глазами, закричал:

– Ты был с ними в заговоре! Убил мне сына! Душегуб армянский!

А Циприанович сильно побледнел и схватился за саблю, но почти в тот же самый момент вспомнил, что он хозяин, а Кржепецкий гость. Тогда, выпустив из рук саблю, он поднял два пальца вверх и сказал:

– Клянусь Всевышним, что я ни о чем не знал и готов присягнуть в этом! Аминь!

– Мы свидетели! – воскликнул Марк Букоемский.

А Циприанович добавил:

– Бог наказал вас за то, что вы угрожали мне, беззащитному старику, запальчивостью своего сына. Вот вам его запальчивость!

– Злодейство! – рычал старик. – Палач для всех вас и под меч ваши головы! Мести!.. Справедливости!..

– Вот что вы наделали! – сердито проговорил пан Серафим, обращаясь к Букоемским.

– Я говорил, что лучше сразу убежать! – отозвался Лука.

Между тем прибежала пани Дзвонковская с данцигской водкой и начала лить ее прямо из фляжки в рот пану Мартьяну. Последний закашлялся и тотчас открыл глаза.

Отец припал к нему.

– Ты жив! Жив! – с дикой радостью завопил он.

Но Мартьян еще не мог отвечать и лежал, как громадный филин, который, будучи подстрелен из ружья, падает с распростертыми крыльями на спину и тяжело дышит. Однако сознание постепенно возвращалось к нему, а с ним и память. Взгляд его перешел с отца на лицо пана Серафима, а потом остановился на Букоемских и стал так страшен, что если бы в сердцах братьев было хоть маленькое местечко для страха, то дрожь охватила бы их с ног до головы. Но они только придвинулись к нему, точно быки, собирающиеся бодаться, а Матвей спросил:

– Чего? Мало тебе еще?

XXI

Спустя несколько часов старый Кржепецкий увез Мартьяна в Белчончку, хотя тот не мог еще держаться на ногах и плохо понимал, что с ним происходит. Но сначала слуги выкупали его и с величайшим трудом переодели в чистое белье. По окончании всей этой процедуры на него нашла такая слабость, что он несколько раз падал в обморок и только благодаря данцигской водке пани Дзвонковской его удалось привести в себя. Пан Серафим посоветовал уложить его в постель и подождать с отъездом, пока он совсем не поправится, но рассвирепевший старик не хотел согласиться на это, чтобы не обязать себя благодарностью по отношению к человеку, против которого он собирался затеять судебный процесс за задержку панны Сенинской. Он приказал выложить сеном телегу и, уложив Мартьяна на ковре, точно на постели, отправился в Белчончку, грозя Букоемским и самому хозяину. При этом было смешно, что, взывая постоянно о мести, ему приходилось, однако, принимать помощь Циприановича и одолжить у него платье, белье и сено; но, ослепленный гневом, он не чувствовал этого, а пану Серафиму тоже было не до смеха, так как поступок братьев сильно смутил его и обеспокоил.

Тем временем приехал специально вызванный письмом ксендз Войновский. Сильно сконфуженные, братья Букоемские сидели во флигеле, не смея показать носа, и потому пан Циприанович принужден был сам рассказать обо всем случившемся, а

ксендз слушал, слушал, от времени до времени хлопал себя по полам сутаны, но совсем не огорчился так сильно, как это предполагал пан Серафим.

– Если Мартьян умрет, – наконец сказал ксендз, – то Букоемским придется плохо, но если, как я думаю, он отлежится, тогда склонен предполагать, что он будет мстить им частным образом, не привлекая их к суду.

– Почему вы так думаете? – спросил пан Серафим.

– Потому что неприятно выставлять себя на посмешище всей Речи Посполитой. Кроме того, должна была бы обнаружиться его история с панной Сенинской, а это не прибавило бы ему славы. Непохвальный образ жизни он вел, поэтому лучше ему не подвергать себя тому, чтобы свидетели принуждены были *coram publico* рассказать все, что они знают о нем.

– Может быть, это и верно, – возразил пан Циприанович, – но нельзя же простить Букоемским такую вольность.

А ксендз только махнул рукой:

– Букоемские остаются Букоемскими.

– Что-о? – удивленно спросил пан Серафим. – Я думал, что вас это больше огорчит!

– Дорогой мой, – отвечал старик, – вы служили в войсках, но не так долго, как я. А я в своей жизни столько насмотрелся на солдатские шалости, что меня уж они не удивят. Конечно, не хорошо, что так случилось, и я распеку Букоемских, но мне приходилось видеть вещи и похуже, тем более, что дело вышло из-за сироты. Ба! Скажу откровенно, что я огорчился бы сильнее, если бы Мартьяну этот поступок сошел безнаказанно. Подумайте, ваша милость, ведь мы старики, но если бы мы были молоды, то и в нас бы закипела кровь. Вот почему я не могу сильно осуждать Букоемских.

– Правильно, правильно, но ведь Мартьян может не дожить до завтрашнего дня!

– Это в руках Божьих, но ведь вы говорили, что он не ранен!

– Нет, но он весь как один синяк и постоянно теряет сознание.

– Ну, это он отлежится, а обмороки у него от переутомления. Однако нужно пойти к Букоемским и разузнать, как все случилось!

И пошел. Братья встретили его с радостью, надеясь, что он заступится за них перед паном Циприановичем. Они сейчас же начали спорить, кто должен отдавать отчет, и перестали только тогда, когда ксендз признал первенство Матвея.

И вот последний начал так:

– Отец благодетель, Господь видел нашу невинность!.. Когда мы узнали от пани Дзвонковской, что у сиротки все тельце в синяках, то вернулись в этот флигель в таком огорчении, что, если бы не баклага вина, присланная нам хозяином, сердца наши, вероятно, разорвались бы на части! Говорю вашему преподобию, мы пили и плакали, пили и плакали! Мы помнили также, что это не какая-нибудь девчонка, а панна из сенаторского рода!.. Ведь известно, к примеру сказать, лошадь, чем

благороднее у нее кровь, тем тоньше шкура. Стегни кнутом любую клячу, она и не почувствует, а у благородного коня сейчас же шрам выскочит!.. Подумайте же, отец благодетель, какая нежная кожа и на спине и всюду должна быть у такой барышни! Разве не как облатка? Сами скажите!

– А, какое мне дело до ее кожи! – сердито отвечал ксендз Войновский. – Расскажите лучше, как вы поймали Мартьяна.

– Мы поклялись пану Циприановичу, что не изрубим его, но мы знали, что старый Кржепецкий придет сюда, и нам пришло в голову, что Мартьян выедет ему навстречу. Тогда, по предварительному уговору, двое из нас взяли у одной лесничихи бочку с ошипанными перьями и привезли ее до света в смоловарню, а двое других выбрали на месте бочку самого густого дегтя и стали ждать у избы. Смотрим, едет старый Кржепецкий. Не то! Пускай себе едет! Ждали, ждали, так что и ждать надоело! Думали, уж не ехать ли в Белчончку, как вдруг работник смоловарни дал нам знать, что Мартьян едет по большой дороге. Выехали и мы и стали поперек дороги: «Челом!» – «Челом!» – «Куда направляетесь?» – «Вперед, говорит, прямо в бор!» – «А кому во вред?» – «Во вред, говорит, или на пользу, не ваше дело. Отстаньте!» – и хватается за саблю. А мы его за шиворот! Ого! Не может быть! Вмиг стащили его с лошади, которую Ян подхватил под уздцы, и поволокли. Он начал кричать, брыкаться, кусаться, скрежетать зубами, а мы его моментально потащили к бочкам, которые стояли одна возле другой, и приговариваем: «А такой-сякой сын! Будешь обижать сирот? Будешь позорить девушек, не обращая внимания на их род? Будешь хлестать их по плечам и думать, что никто за них не заступится! Так знай же, что есть добрые сердца!» И бух его головой в самый деготь! Потом вытащили и снова: «Знай, что есть добрые души!» – и бух в перья. «Знай, рыцарское благородство!» – бух еще раз в деготь. «Знай Букоемских!» – и опять бух в перья. Хотели мы и в третий раз, да смоловар начал кричать, что он задохнется. Впрочем, он уже достаточно облепился так, что ни носа, ни глаз не было видно. Тогда мы усадили его на седло с арчаком и крепко связали ноги под брюхом лошади, чтобы он не слетел. Коня мы вымазали дегтем и обсыпали пухом, а потом хорошенько исполосовали его кнутами и, сняв узду, погнались вперед.

– И пригнали сюда?

– Мы хотели показать сиротке диковинного зверя, чтобы хоть немного потешить ее и доказать наши братские чувства.

– Хорошо вы ее потешили! Увидев все это через окно, она чуть не умерла от страха.

– Ну зато, когда она придет в себя, наверное, подумает о нас с благодарностью. Сироте всегда приятно чувствовать над собой опеку!

– Вы причинили ей больше зла, чем добра! Кто знает, не отнимут ли ее теперь Кржепецкие?

– Как это? Ради Бога! Разве мы дадим?

– А кто будет защищать девушку, когда вас посадят в тюрьму?

Услышав это, братья сильно огорчились и начали смущенно переглядываться.

Наконец Лука ударил себя по лбу и воскликнул:

– В тюрьму нас не посадят, потому что мы раньше того уедем на войну, но если так, если дело идет о безопасности панны Сенинской, то и для этого найдутся средства!

– Ой-ой-ой! – воскликнул Марк.

– Какое средство? – спросил ксендз.

– Мы пошлем Мартьяну вызов, как только он выздоровеет. Уж он не выйдет живым из наших рук.

– А если он сейчас умрет?

– Ну, тогда Божья воля.

– Но ведь вы-то поплатитесь головами!

– Пока дойдет до этого дело, мы еще нащелкаем турок, и за это Господь вознаградит нас. А вы, ваше преподобие, заступитесь только за нас перед паном Циприановичем. Ведь если бы Стах был здесь, он бы тоже купал Мартьяна вместе с нами.

– А разве Яцек – нет? – спросил Матвей.

– Ну, Яцек устроит ему еще лучшую баню! – невольно воскликнул ксендз.

Дальнейший разговор был прерван появлением пана Циприановича, пришедшего к ним с каким-то важным решением. Он заговорил с величайшей серьезностью:

– Я долго думал о том, что нам нужно делать, и знаете, ваше преподобие, что я придумал? Мы должны все вместе с панной Сенинской ехать в Краков. Не знаю, увидим ли мы там наших хлопцев, потому что неизвестно, где будут находиться наши полки и по какому предписанию они двинутся в поход; но нужно отдать девушку под покровительство короля или ее величества королевы, а если это не удастся, поместить ее временно в какой-нибудь монастырь. Я решил, как это вашему преподобию уже известно, вступить на старости лет в полк, чтобы служить вместе с сыном, или, если такова Божья воля, погибнуть вместе с ним. Во время нашего отсутствия девушке небезопасно оставаться даже в Радоме под опекой ксендза Творковского. Этим господам, – тут он указал на Букоемских, – тоже необходимо поскорее очутиться под гетманским надзором. Здесь неизвестно, что может случиться!.. У меня есть знакомые при дворе: пан Матчинский, пан Гнинский, пан Грот, и я надеюсь, что сумею заручиться их протекцией для сироты. Если же это мне не удастся, то я разузнаю о местопребывании полка Збержховского и прямо отправлюсь к сыну, где увижу также и вашего Яцека. Что вы на это скажете?

– Господи! – воскликнул ксендз. – Да ведь это архипревосходная мысль! И я с вами! И я с вами!.. К Яцеку!.. А что касается панны Сенинской, разумеется, ведь Собеские всем обязаны Сенинским. В Кракове ей будет безопаснее и ближе.. Я уверен, что и Яцек.. не забыл!.. А после войны, что Господь даст, то и будет.. Выхлопчу себе сюда заместителя из Радома, и я с вами!..

– Все вместе! – радостно завопили Букоемские. – В Краков!

– И на поле славы! – заключил ксендз.

XXII

Начались совещания о поездке, так как не только ни один голос не отозвался против нее, но даже и ксендз Войновский тотчас принялся хлопотать о другом викарии из Радома. Впрочем, ведь это решение было уже старое, и оно изменилось только намерением отвезти панну Сенинскую в Краков, чтобы обезопасить ее от преследования Кржепецких с помощью королевского или монастырского покровительства. Пан Циприанович предвидел, что с занятым войной королем нельзя будет говорить об этом деле, но оставалась королева, к которой легко было найти доступ через знакомых сановников, состоящих, по большей части, в родстве с домами Сенинских и Тачевских.

Однако возникали опасения, чтобы Кржепецкие не напали на Едлинку по выезде из нее хозяина и Букоемских и не разграбили серебро и драгоценную утварь, находившиеся в доме. Но Вильчепольский утверждал, что он сумеет защитить дом вместе с челядью и лесничими и не даст ни до чего дотронуться. Однако пан Серафим вывез все серебро в Радом и оставил на хранении в Бернардинском монастыре, где он и раньше помещал значительные суммы, не желая держать их дома, среди обширной Козенецкой пуши.

Между тем пан Серафим внимательно прислушивался к известиям из Белчончки, так как от них многое зависело. Если бы Мартьян умер, на Букоемских обрушилась бы тяжелая ответственность. В противном случае была надежда, что не будет даже и процесса, так как трудно было предположить, чтобы Кржепецкие добровольно выставили себя на посмеяние. Еще больше пан Циприанович был уверен, что и старый Кржепецкий не оставит его в покое относительно панны Сенинской, но думал, что если сирота окажется под королевской опекой, то этим самым уничтожится всякая возможность процесса.

Он узнал через ключника, что Кржепецкий-отец ездил в Радом и в Люблин, но оставался там недолго.

Что касается Мартьяна, то первую неделю после приключения он был тяжело болен, и опасались, что деготь, которого он напился в изобилии, задушит его или совершенно залепит внутренности. Но на вторую неделю ему стало лучше. Правда, он не покидал постели, так как не мог держаться на ногах, кости у него страшно болели и вообще он чувствовал себя плохо, но уже начал проклинать Букоемских и наслаждаться мыслью о мести. И действительно, по прошествии двух недель к нему начала съезжаться его «радомская компания»: различные повесы с саблями на веревочных поясах, в рваных сапогах и с подведенными животами, вечно голодные и мучимые жаждой. А он советовался с ними и что-то замышлял не только против Букоемских и пана Циприановича, но и против панны Сенинской, о которой не мог вспоминать без скрежета зубов, и так поносил ее, что даже отец предостерегал его, что это уж пахнет гетманским судом.

Отголоски этих поношений и угроз доходили до Едлинки и производили различное впечатление на ее обитателей. Пан Серафим, человек отважный, но и рассудительный, слегка беспокоился при мысли, что эта ненависть злых и опасных людей может упасть и на голову его сына. Ксендз Войновский, в жилах которого текла более горячая кровь, страшно раздражался и предсказывал, что Кржепецкие кончат плохо. В то же время, хотя и совершенно примирившись с девушкой, он от времени до времени обращался то к пану Циприановичу, то к Букоемским и говорил:

– Кто раздул Троянскую войну? – mulier. Кто всегда является причиной столкновений и ссор? – mulier. И здесь то же самое! Виновна или невинна, но mulier!

Только Букоемские совершенно игнорировали опасность, угрожавшую всем со стороны Мартьяна, и даже ожидали, что это послужит для них развлечением. Однако их предостерегали со всех сторон и весьма серьезно. Сильгостовские, Сильницкие, Кохановские и другие, все страшно возмущенные Мартьяном, приезжали по очереди в Едлинку с известиями, что тот собирает уже ватагу и даже вербует разбойников из пуши. Они предлагали также свою помощь, но братья не хотели ее, и Лука, чаще всего выступавший от имени своих братьев, ответил однажды Рафаилу Сильнипкому, заклинавшему их быть осторожными.

– Ой-ой! Не мешает перед войной вспомнить всю процедуру и поразмять руки, которые у нас уже малость одеревенели. Белчонка не какая-нибудь крепость, поэтому пусть Мартьян думает лучше о своей собственной безопасности! Кто знает, что еще может постичь его, а если он захочет отплатить нам неблагодарностью, – пожалуйста! Пусть попробует!

Пан Сильницкий взглянул с удивлением на братьев и отвечал:

– Отплатить неблагодарностью! Ну, благодарностью-то он, кажется, не обязан вам?

Но Лука искренне обиделся:

– Как не обязан? Разве мы не могли изрубить его? Кто его родил? Один раз мать, а другой раз наша снисходительность, но если он будет постоянно рассчитывать на нее, то скажите ему, что он ошибается.

– И добавьте, что не видать ему панны Сенинской, как своих ушей! – присовокупил Марк.

А Ян закончил:

– Почему бы и нет? Отрезанные уши легко увидеть!

На этом разговор и кончился. Братья повторили его панне Сенинской, чтобы успокоить ее. Впрочем, это оказалось излишним, так как девушка по природе была не труслива, а кроме того, насколько она боялась Кржепецких, а в особенности Мартьяна в Белчончке, настолько же была уверена, что в Едлинке ей уже ничего не грозит. Увидев через окно, на другой день по приезде в Едлинку, Мартьяна в перьях, в виде какого-то ужасного зверя, подгоняемого нагайками братьев Букоемских, она в первую минуту страшно испугалась, удивилась и даже прониклась жалостью, но потом преисполнилась такой верой в могущество братьев, что не могла даже себе представить, каким образом кто-либо мог не бояться их.

Ведь Мартьян считался страшным забиякой, и вот что они сделали с ним. Правда, их всех в свое время недурно поцарапал Яцек, но последний перерос теперь в ее глазах всех обыкновенных людей и вообще показался ей перед последней разлукой с совершенно новой стороны, так что она не знала, какую к нему прилагать мерку. Намеки, какие делали о нем Букоемские и пан Циприанович вместе со словами ксендза, который чаще всех упоминал о нем, только укрепляли в ней уважение к другу ее детства, который раньше был ей так близок, а теперь стал таким далеким

и чуждым. Эти же разговоры усилили в ней и тоску по нем, и то еще сладостное чувство, в котором она однажды призналась ксендзу Войновскому, а затем глубоко спрятала его в глубине сердца, как бывает жемчужина спрятана в глубине раковины.

При этом в ее душе хранилась непоколебимая уверенность, что она должна встретиться с ним и что это произойдет даже вскоре. А так как она вырвалась из дома Кржепецких и чувствовала над собой могущественное покровительство расположенных к ней людей, то уверенность эта превратилась в радость и надежду на светлое будущее. К ней вернулось здоровье, вернулось веселье, и девушка снова расцвела, как весенний цветок. Стало от нее светлее и во всем, доселе несколько мрачном едлинском доме. Она совершенно покорила пани Дзвонковскую, пана Циприановича и Букоемских. Все было полно ею, а там, где показывался ее вздернутый носик и загорались ее молодые, веселые глазки, там радость и улыбки появлялись на всех лицах. Она боялась только немного ксендза Войновского, так как ей казалось, что он держит в своих руках судьбы ее и Яцека, смотрела на него с каким-то смирением. Но и он, обладая добрым, как воск, мягким ко всему Божьему творению сердцем, искренне любил ее, а что еще важнее, узнав девушку ближе, хотя и называл ее часто сиворонкой и белкой, потому что, как он говорил: «Вот она есть, вот ее нету», – все больше ценил ее душевную чистоту.

Однако после первого признания они, точно условившись, никогда не говорили о Яцеке. Оба чувствовали, что это слишком «щекотливый вопрос». Пан Серафим тоже никогда при других не говорил с нею о нем, и наоборот, с глазу на глаз совсем не стеснялся. Когда однажды она спросила его, сейчас ли по прибытии в Краков он встретится с сыном, старик ответил ей вопросом на вопрос:

– А не желаете ли и вы там кого-нибудь встретить?

Он думал, что она отделается шуткой, но на ее светлом лице появилась тень грусти, и девушка серьезно ответила:

– Я хотела бы поскорее извиниться перед тем, кого я обидела!..

Старик взволнованно посмотрел на нее, но через мгновение, по-видимому, другая мысль пришла ему в голову, так как он потрепал ее по розовой щечке и сказал:

– Э! У тебя есть чем вознаградить его, так что и сам король не сумел бы лучше!..

А она, услышав это, опустила глаза и стояла перед ним прелестная и разрумившаяся, как утренняя заря.

XXIII

Приготовления к отъезду шли быстро. Челядь была набрана из людей сильных и трезвых. Оружие, лошади, возы и карета были готовы. Не забыли также, по старому обычаю, захватить с собой борзых, которые во время похода бежали за возами, а в часы стоянок помогали охотиться за лисицами и зайцами. Обилие приготовлений и запасов удивляло панну Сенинскую, которая не предполагала, что военная экспедиция требует стольких забот и, подозревая, что все это делается, может быть, для ее безопасности, начала расспрашивать об этом пана Серафима.

А он, как человек благоразумный и опытный, ответил на ее вопросы так:

– Конечно, мы имеем в виду также и тебя, так как я думаю, что со стороны Мартьяна не обойдется без какого-нибудь насилия. Ты слыхала, что он собирает

всяких забияк, сговаривается с ними и пьет. Ведь это был бы для нас позор, если бы позволили ему вырвать тебя из наших рук! Что будет, то будет, но хотя бы нам пришлось пасть один за другим, мы должны доставить тебя невредимой в Краков.

Девушка поцеловала ему руку, говоря, что она не стоит того, чтобы они подвергали из-за нее свою жизнь опасности, но он только махнул рукой.

– Иначе бы мы не посмели показаться людям на глаза, – проговорил он, – притом обстоятельства складываются так, что одно прекрасно согласуется с другим. Ведь мало отправиться в поход, надо еще обстоятельно подготовиться к нему. Ты удивляешься, что на каждого из нас приходится по три, по четыре лошади вместе с челядью, но ты должна знать, что лошадь на войне – это основа. Многие из них падают во время походов, при переправах через реки и болота и от разных происшествий. А потом что? Купишь второпях другую лошадь, обладающую различными недостатками, и она тебя подведет в самую критическую минуту! Хотя мой сын и Яцек Тачевский взяли с собой порядочных лошадей, но мы решили захватить и для них еще по одному коню, а ксендз Войновский, который не имеет себе равного знатока, дешево купил для Яцека такую турецкую лошадь у старого пана Подлодовского, что и сам гетман не постыдился бы на ней показаться.

– А которая же предназначена для вашего сына? – спросила девушка. Пан Циприанович посмотрел на нее, покачал головой, улыбнулся и сказал:

– Действительно, ксендз Войновский прав в том, что он говорит о женщинах. Хотя бы этот бесенок был даже самым лучшим, все-таки хитрость сидит в нем. Ты спрашиваешь, которая лошадь предназначена для моего сына? Так я тебе отвечу так: для Яцека приготовлена та темно-гнедая со стрелкой на лбу и белой паутиной на левой задней ноге.

– Вы дразните меня! – воскликнула девушка и, фыркнув на него, как котенок, повернулась на одном месте и исчезла.

Но в тот же самый день исчезли мякиш от хлеба и соль из солонки, а на другой день Лука Букоемский заметил весьма любопытную вещь. Возле колодца на дворе стоял темно-гнедой конь, уткнувшись носом в белые ручки панны Сенинской, а когда затем его уводили от колодца, он то и дело оглядывался, коротким, отрывистым ржанием выражая свою тоску по ней. Пан Лука не мог тут же спросить о причине такой дружбы, так как был сильно занят снаряжением телеги, но после полудня он подошел к девушке и, глядя на нее восторженными глазами, спросил:

– Заметили ли вы одну вещь?

– Какую? – спросила девушка.

– Что даже и скотина понимает, что такое лакомый кусочек?..

А она, забыв о том, что он видел ее утром, и, читая восторг в его глазах, изумленно подняла свои прелестные брови и спросила:

– Кого вы подразумеваете!

– Кого? – повторил Букоемский. – Да коня Яцека.

– Ах, коня...

С этими словами девушка расхохоталась и убежала к себе в комнату, а он остался, удивленный и несколько сконфуженный, не понимая, почему она убежала и откуда взялась у нее такая внезапная веселость.

Прошла еще неделя, и приготовления в путь были закончены. Но пан Циприанович не особенно торопился с отъездом. Он откладывал его со дня на день, поправлял различные мелочи, жаловался на жару и в конце концов впал даже в уныние.

Девушка с тоской ждала отъезда. Букоемские начинали терять терпение, а в конце концов и ксендз Войновский заявил, что дальнейшая задержка была бы только напрасной тратой времени.

Но пан Серафим ответил на все их поторапливания так:

– Я имею сведения, что его величества короля нет в Кракове и что он не скоро будет там. Между тем туда должны быть стянуты войска, но не все и неизвестно когда. Я велел Станиславу каждый месяц присылать мне нарочного с письмом и указанием, где находится их полк, куда направляется и под чьей командой. И вот прошло уже семь недель, как я не получаю никаких вестей. Я ожидаю каждую минуту письма и потому медлю, а кроме того, должен признаться, что я немного беспокоюсь. Вы, пожалуйста, не думайте, что мы непременно найдем их в Кракове. Ба! Вполне может случиться, что их там совсем не окажется.

– Как? – тревожно спросила панна Сенинская.

– Да потому что полки совсем не обязательно должны проходить через Краков. Где они стоят, оттуда прямо могут и отправиться, а где находится сейчас пан Збержховский – не знаю. Вдруг да его послали на силезскую границу или навстречу войскам великого гетмана, идущим со стороны Руси. Часто бывает, что полки перед войной перебрасываются с одного места на другое, хотя бы для того, чтобы приучить их к походам. В течение семи недель могли произойти различные перемены, и Станислав должен был уведомить меня о них. Но он этого не сделал, и поэтому я беспокоюсь, так как всем известно, что в обозах случаются различные приключения и поединки. Вдруг что-либо случилось. Но даже если бы и нет, ведь нужно же нам знать, где находится полк и откуда он отправится в поход.

Эти слова глубоко опечалили всех, но ксендз Войновский сказал:

– Ведь полк не булавка и не пуговица, которую трудно найти, если она оторвется от платья и упадет в траву. И вы не должны беспокоиться, ваша милость. В Кракове мы скорее узнаем о них, чем в Едлинке.

– Но мы можем разминуться с письмом.

– Так мы прикажем Вильчепольскому послать его вслед за нами. Вот и все. А тем временем мы придумаем в Кракове безопасное убежище для панны Сенинской, и, когда нужно будет тронуться в поход, наши головы будут совершенно свободны от забот.

– Правильно! Правильно!

– Тогда я советую так. Если до завтра ничего не получим, то вечером отправимся по холодку в Радом, а потом дальше на Кельцы, Енджеев и Мехов.

– А может быть, лучше поехать в Радом послезавтра на рассвете, чтобы ночью не проезжать через лес и не наткнуться на засаду со стороны Кржепецких.

– О! Не стоит. Лучше по холодку, – воскликнул Матвей Букоемский. – Если они захотят напасть, то днем ли или ночью – все равно нападут, а к тому же ночи теперь светлые.

Сказав это, он начал самодовольно потирать руки; остальные братья последовали его примеру.

Но ксендз Войновский был другого мнения. Он сомневался, чтобы Кржепецкие отважились на открытое нападение.

– Мартьян еще способен на это, – говорил он, – но старый Кржепецкий слишком умен и слишком хорошо знает, чем такое дело пахнет, и чем уже не один насильник поплатился за такое преступление. Наконец, принимая во внимание нашу силу, и Мартьян не может рассчитывать на победу, а вместо того, во всяком случае, должен ожидать мести со стороны Яцека и Станислава.

Слова ксендза значительно испортили радость Букоемским, но Вильчепольский утешил их; он принялся протестовать, трясти головой, стучать своей деревянной ногой об пол и, наконец, сказал:

– Если бы даже до Радома, до Кельц и Мехова с вами не случилось никакого приключения, советую вам сохранять осторожность до самых краковских ворот, так как дорога идет все время лесами, а я, лучше вас всех зная молодого Кржепецкого, совершенно уверен, что этот дьявол уж что-нибудь придумает.

XXIV

Наконец наступил день отъезда. Процессия, состоящая из большого количества людей и лошадей, двинулась из Едлинки на рассвете; погода была теплая и ясная. Кроме кареты, обитой жестью и кожей, предназначенной для панны Сенинской и пани Дзвонковской, а на всякий случай и для ксендза Войновского, если старая рана будет слишком беспокоить его на коне, шли три тяжело нагруженные телеги, запряженные четверкой лошадей каждая, и на каждой сидело по трое слуг, считая сюда и возницу. За паном Серафимом Циприановичем ехало шестеро дворовых в бирюзовых одеждах, которые вели запасных лошадей. У ксендза Войновского было двое слуг, у Букоемских – по двое, и только у одного лесника, наблюдавшего за телегой с вещами, один; таким образом, в дальний путь отправилось всего тридцать четыре человека, прекрасно вооруженных саблями и бандольерами. Правда, в случае какого-нибудь нападения человек десять из них не могли бы принять участие в обороне, принужденные охранять возы и лошадей, но даже и в таком случае братья Букоемские были уверены, что в таком количестве они могли бы объехать весь свет и что не поздоровилось бы тем, кто вздумал бы напасть на них, хотя бы и вчетверо большей толпой. Сердца их переполняла такая радость, что они едва могли усидеть на конях. В свое время они храбро сражались с татарами и казаками, но это были безалаберные войны; потом, когда они поселились в пуще, молодость их проходила в созерцании природы, в небрежном наблюдении за лесниками, в охоте на медведей, которых они обязаны были беречь для короля, и пьянстве в Козеницах, в Радоме и в Притыке. И только теперь, когда они прикасались друг к другу стремями, когда шли на великую войну с неизмеримой турецкой силой, они чувствовали, что это и есть их истинное предназначение, что прежняя их жизнь была жалкой и ничтожной, а теперь начинается настоящая, благородная деятельность, для которой Бог Отец создал польского шляхтича, Бог Сын искупил, а Дух Святой просветил. Они не умели

этого себе ясно представить, а тем более выразить словами, так как в этом они никогда не были сильны, но им хотелось кричать от радости. Поход казался им чересчур медленным. Вот, если пустить бы коней вихрем и мчаться вперед к великому предназначению, к великой битве поляков с неверными, к триумфу креста над полумесяцем, к почетной смерти, к вековой славе... Они чувствовали себя более возвышенными, более чистыми и честными, еще более облагороженными в своем благородстве.

Теперь они почти совсем не думали ни о Мартьяне Кржепецком и его беспутной компании, ни о столкновениях и препятствиях во время пути. Это казалось им теперь мелким, ничтожным и не стоящим внимания. Но зато, если бы даже целые легионы стали им на пути, они точно ураган пронесли бы по ним, мимоходом проехали бы по их брюхам и продолжали бы свой путь. В них проснулись врожденные львиные инстинкты, и боевая рыцарская кровь заиграла в них с такой силой, что, если бы им приказали броситься вчетвером на целую султанскую гвардию, они не колебались бы ни минуты.

Точно такие же, но вдобавок основанные на прежних воспоминаниях, чувства наполняли сердца пана Серафима и ксендза Войновского. Ксендз все лучшие годы жизни провел на поле брани с саблей или копьем в руке. Он помнил целые вереницы поражений и побед. Помнил ужасный бунт Хмельницкого, Желтые Воды, Корсунь, Плавцы, знаменитый Збараж и колоссальную битву под Берестечком. Помнил шведское нашествие с бесконечным количеством битв и нападение Ракоция. Он был в Дании, когда народ-победитель, не довольствуясь разгромом и изгнанием шведов из родной земли, послал за ними непобедимые полки Чарнецкого, вплоть до далекого моря. Принимал участие в разгроме Хованского и Долгорукого, знал величайших сановников и величайших рыцарей; был учеником бессмертного Володыевского, любил битвы, резню, штурмы и кровопролитие, но все это продолжалось до тех пор, пока душу его не сломало личное горе и пока он не стал ксендзом. С тех пор он совершенно изменился, и, когда, обращаясь к народу с алтаря, он говорил: «Мир вам», ему казалось, что он произносит величайший завет Христа и что всякая война, как противная этому завету, должна считаться неугодной Богу, грехом против милосердия и бесчестием для христианского люда. Однако для одной войны он делал исключение, это для войны с турками.

– Бог усадил на коня народ польский, – говорил он, – и, повернув его лицом к востоку, тем самым указал ему его предназначение и свою волю. Он знал, почему выбрал нас, а другие народы поместил за нашей спиной. Поэтому, если мы хотим честно исполнить нашу миссию, равно как и его веление, мы должны вечно стоять скалой у этого моря и разбивать его мерзкие волны своей грудью.

Ксендз Войновский думал, что Бог умышленно посадил на трон такого короля, который, еще будучи гетманом, пролил столько языческой крови, чтобы его рукой нанести последний удар этой силе и раз и навсегда предотвратить гибель христианского мира. Ему казалось, что именно теперь наступила великая минута исполнения Божьей воли, и потому старик смотрел на войну как на святой крестовый поход и тешился мыслью, что годы, жизненные труды и раны еще не настолько пригнули его к земле, чтобы он не мог принять в ней участие.

Он сумеет еще защитить знамя, сумеет, как старый солдат на Христовом посту, поднять коня на дыбы и с крестом в руках броситься в самую середину битвы, глубоко уверенный в душе, что вслед за ним и за крестом тысячи копий вонзятся в тела неверных и тысячи сабель заскрипят на вражьих черепах. В конце концов, ему начали приходиться в голову и другие, сходные с его прежней натурой, мысли. Ведь

крест можно держать в левой руке, а саблю – в правой. Как священник он не поднял бы ее теперь против христианского народа, но против турок – стоит. Стоит... Вот бы когда показал он молодым, как гасят турецкие свечи, как их косят и бреют, и каковы были прежние рыцари. Ба! Удивлялись ему когда-то на многих полях сражения, может быть, теперь и сам его величество король удивится. Эта мысль так разутешила его, что старик начал ошибаться в молитве:

– Богородице, Дево... бей... Убивай... Радуйся, Благодатная Мария... вали их... Господь с тобой... режь.

Наконец он опомнился.

– Тьфу, черт. Слава – дым... Оса меня, что ли, укусила. Господи, прости меня, грешного!..

И старик начал уже более внимательно перебирать четки.

Пан Серафим тоже читал утренние молитвы, от времени до времени поглядывая то на ксендза, то на девушку, то на Букоемских, ехавших рядом с нею на своих конях, то на деревья и лесные полянки, омытые утренней росой. Наконец, окончив последнюю молитву, он глубоко вздохнул и, обратившись к старику, проговорил:

– Ваше преподобие, вы, кажется, в хорошем настроении.

– И вы также, – ответил ксендз.

– Верно. Пока человек не тронется в путь, он суетится, хлопочет и заботится; только когда ветер обвеет его в поле, ему становится легко на душе. Помню, когда десять лет тому назад мы шли под Хотин, все люди были как-то так странно веселы, что, хотя на дворе был ноябрь и страшная непогода, многие снимали с себя епанчи, вследствие той теплоты, которая исходила из их сердец. Но и Господь Бог, пославший в то время такую великую победу, пошлет ее и теперь, так как вождь тот же самый, да и отвага и мужество не меньшие. Я знаю, многие хвалят то шведские, то французские, то даже немецкие войска, но против турок нет лучше нашего солдата.

– Я слышал, как его величество король говорил однажды то же самое, – отвечал ксендз. – «Немцы, – говорил он, – терпеливо стоят под огнем, но, атакуя, моргают глазами, а моих, – говорит, – стоит только свести носом к носу, и я уже спокоен, что они выбреют их так, как ни одна кавалерия не выбреет». И совершенно правильно. Щедро наградил нас Господь удалью и не одну только шляхту, но и крестьян. А, например, наша полевая пехота. Как плюнет на руку да как двинется с мушкетами вперед, так перед ней даже и самые сильные янычары не устоят. Мы оба это видели не раз.

– Только бы Господь сохранил Стаха и Яцека здоровыми, а я буду очень рад, что они выступят в первом бою против турок. Ну, а как вы, ваше преподобие, думаете, против кого турки двинут свои главные силы?

– По моему мнению, против австрийского императора, потому что они уже воюют с ним, поддерживая венгерских мятежников; но у турок найдутся две или три армии, и потому неизвестно, где нам придется, в конце концов, встретиться с ними.

– Вероятно, по этой причине у нас еще до сих пор нет главного обоза, а войска,

судя по доходящим вестям, постоянно переходят с места на место. Стоят полки с паном Яблоновским под Трёмбовлей; другие направляются к Кракову, третьи – кому куда вздумается. Не знаю, где находится сейчас воевода Вольшский и где полк Збержховского. Иногда я думаю, что Стах не пишет так давно потому, что его полк приближается в нашу сторону.

– Если им приказано идти в Краков, тогда они, конечно, должны пройти поблизости; зависит только, где они стояли раньше и откуда тронутся. Может быть, в Радоме мы получим какие-нибудь вести. Во всяком случае в Радоме мы устроим первый ночлег.

– Да. Я хотел бы также, чтобы прелат Творковский увидел девушку и что-нибудь посоветовал. Он должен нам дать письма по этому делу в Краков.

Разговор на минуту оборвался, после чего пан Циприанович снова поднял глаза на ксендза Войновского и спросил:

– А как вы думаете, ваше преподобие, что будет, если они встретятся с Яцеком в Кракове.

– Не знаю. Может быть, встретятся, а может быть, и не встретятся... Как Бог захочет, так и будет. Яцек мог бы со временем посредством брака восстановить свое родовое состояние, а она гола, как турецкая святая... Богатство само по себе ничто, но здесь дело идет о сохранении рода...

– Но ведь и она высокого происхождения, и, не говоря уже о том, что девушка золото, ведь известное дело, что они до смерти любят друг друга.

– Ох! Сейчас уж и до смерти!..

По-видимому, он не особенно охотно говорил на эту тему, так как заговорил о другом:

– Лучше не будем забывать о том, что на это золото зарится разбойник! Помните, ваша милость, что говорил Вильчепольский?

Пан Серафим оглянулся во все стороны, заглянул в лесную глубину и сказал:

– Не посмеют Кржепецкие, не посмеют! Нас порядочная толпа, и посмотрите, ваше преподобие, как все спокойно вокруг! Я хотел бы, чтобы девушка для большей безопасности села в карету, но она так просила... Ничего не боится!..

– Ну, ведь кровь-то в ней добрая! – пробормотал ксендз. – Но я замечаю, что вас-то она уже совсем покорила.

– Э! И вас тоже малость, – отвечал Циприанович, – но что касается меня, то я признаюсь прямо. Когда она начинает о чем-нибудь просить, то так умеет моргать глазками, что ни за что ей не откажешь. У женщин есть разные повадки, а заметили ли вы, что она пользуется именно этим морганием, при котором она складывает руки? Ближе к Белчончке я непременно прикажу ей сесть в карету, а пока ей очень хотелось ехать верхом, потому что это, – говорит она, – здоровее.

– И в такое время, действительно, здоровее!

– Смотрите, ваше преподобие, какая она сейчас красная, точно волчья ягода!

– Что мне до ее красноты! – проговорил ксендз. – А вот, что сегодня денек хорош, это верно!

Действительно, погода была чудная, а утро свежее, росистое. Отдельные капли на иглах сосен блестели точно брильянты. Внутренность леса просвечивала сквозь кусты орешника, пронизанные лучами утреннего солнца. В глубине весело посвистывали иволги. Кругом распространялся запах сосновых игл, и вся земля, казалось, радовалась солнцу и небесной лазури, не омраченной ни одной тучкой.

Так, медленно подвигаясь вперед, они добрались, наконец, до той смоларни, возле которой Букоемские поймали недавно Мартьяна Кржепецкого. Однако опасения, что в этом месте будет устроена засада, оказались напрасными. Возле колодца стояли две деревенские телеги, нагруженные дегтем и запряженные тощими клячками, уткнувшими головы в мешки с овсом. Возницы стояли возле лошадей и ели хлеб с сыром. Увидев приближающийся обоз, они попрятали пищу и на вопрос, не видали ли они вооруженных людей, отвечали, что утром был здесь какой-то всадник, и только что заметил издали приближающуюся процессию, пустился что есть духу в противоположную сторону. Это известие встревожило пана Серафима, который подумал, что это был человек, посланный на разведку Кржепецким. Он приказал двум слугам отъехать в сторону, чтобы осмотреть лес, тянувшийся по обеим сторонам дороги, двух других он послал вперед, приказав им в случае появления какой-нибудь вооруженной группы выстрелить из ружей и как можно скорее возвращаться к возам.

Однако прошел час безо всякого переполоха. Обоз медленно подвигался вперед, люди внимательно озирались по сторонам, но в лесу было тихо. Только постоянно посвистывали иволги, да тут и там деловито постукивали трудолюбивые дятлы. Наконец путешественники выехали на обширную поляну, перед которой пан Циприанович и ксендз Войновский заставили девушку сойти с лошади и сесть в карету, так как они должны были скоро проезжать мимо Белчончки, деревня которой и даже скрывающийся между ними дом можно было разглядеть простым глазом. Панна Сенинская взволнованно смотрела на этот дом, в котором прошло столько печальных и счастливых лет ее жизни. Больше всего ей хотелось посмотреть на Выромбки, но их заслоняли белчончские липы так, что из кареты нельзя было ничего рассмотреть. Но девушке пришло в голову, что она, может быть, никогда уже не увидит этих мест, и она тяжело вздохнула и опечалилась.

Братья Букоемские начали вызывающе поглядывать на дом, на деревню и околицу, но всюду царил полнейшее спокойствие. На просторных, утопающих в солнечном свете полянах паслись коровы и овцы, за которыми наблюдали дети и собаки; кое-где белели стаи гусей, которых, если бы не летняя жара, можно бы принять за клочки снега, лежащего на склонах холмов. В общем, окрестность казалась совершенно пустой.

Пан Циприанович, не лишенный рыцарской отваги, желая показать Кржепецким, что он не обращает на них внимания, нарочно приказал устроить первую стоянку, чтобы дать передохнуть лошадям. Обоз остановился среди слегка шелестевших, наклоняемых ветром, колосьев ржи, тишина полей нарушилась только фырканием лошадей.

– На здоровье! На здоровье! – говорили им конюхи.

Однако Яну Букоемскому не понравилось это спокойствие. Повернувшись лицом к дому, он начал грозить кулаком, призывая отсутствующих Кржепецких.

– Ну-ка, подите-ка сюда, такие-сякие! Покажи-ка, Чурбан, свою собачью морду, мы ее живо саблями искромсаем!

Потом он наклонился к карете.

– Видите, – проговорил он, – никому не охота нападать на нас, ни Мартьяну, ни лесным разбойникам.

– Разве и разбойники нападают? – спросила девушка.

– Ой-ой! Но только не на нас! Мало ли их в Козенецкой пуще и в лесах возле Кракова! Если бы его величество король объявил амнистию, одних здешних хватило бы на два полка пехотных.

– Я предпочла бы встретиться с разбойниками, чем с компанией пана Мартьяна Кржепецкого, о которой дворня в Белчончке рассказывала массу страшных вещей. Но я никогда не слыхала, чтобы разбойники напали на какой-нибудь дом.

– Потому что у разбойника столько же разума, как и у волка. Заметьте, что волк никогда не загрызет овцу из той деревни, возле которой он живет.

– Правильно! Он хорошо говорит! – воскликнули остальные братья. А Ян, довольный похвалой, продолжал:

– Разбойник тоже никогда не нападет на деревни и усадьбы в той пуще, в которой он живет. Он понимает, что если бы местное население взялось за него, то, зная хорошо лес и все укромные местечки в нем, выследило бы его. Поэтому разбойники совершают свои нападения где-нибудь на стороне или нападают на проезжающих, не обращая внимания на количество людей.

– И они не боятся?

– Когда они Бога не боятся, где же им бояться людей?

Но панна Сенинская думала уже о другом, и, когда пан Серафим приблизился к карете, она заморгала по-своему глазками и начала умолять его:

– Зачем мне ехать в карете, когда нам не грозит ни малейшая опасность. Можно мне сесть на лошадь? Можно?

– Зачем? – отвечал пан Серафим. – Солнце уже взошло высоко и будет печь твое личико. А вдруг это кому-то не понравится?

Услышав это, девушка порывисто спряталась в глубь кареты, а пан Циприанович обратился к братьям:

– Разве я неправ?

Но они, не обладая слишком большой сообразительностью, не поняли в чем дело и начали спрашивать:

– Кто? Кто?

А пан Циприанович пожал плечами и ответил:

– Епископ краковский, император немецкий и король французский. Потом он дал знак, и путешественники тронулись дальше.

Они миновали Белчончку и снова ехали среди возделанных полей, ложбин и лугов, окаймленных на горизонте синей лентой леса. В Едльне они сделали вторую остановку, во время которой местные пивовары, мещане и крестьяне здоровались с ксендзом Войновским, и, наконец, перед вечером они расположились на ночлег в Радоме.

Мартьян Кржепецкий не подавал ни малейшего признака жизни. Они узнали, что накануне он был в Радоме и пил там со своей компанией, но на ночь вернулся домой. Услышав это, ксендз и пан Циприанович облегченно вздохнули, полагая, что им уже не грозит никакая опасность в пути.

Прелат Творковский снабдил их письмами к ксендзу Рацкому, к подканцлеру Гнинскому, который, как ему было известно, организовал для предстоящей войны целый полк на свой собственный счет, и к пану Матчинскому. Он очень обрадовался и панне Сенинской и ксендзу Войновскому, к которому чувствовал большое расположение, и пану Циприановичу, в котором он ценил прекрасного латиниста, понимающего всякие цитаты и сентенции. Он тоже слышал об угрозах Мартьяна Кржепецкого, но мало обращал на них внимания, предполагая, что, если бы он хотел действительно напасть на обоз, то сделал бы это в Козенецкой пуще, которая больше подходила для такого рода предприятий, чем леса, находящиеся между Радомом и Кельцами.

– Молодой не нападет на вас, – говорил он пану Циприановичу, – а старик не привлечет вас к суду, так как ему пришлось бы иметь дело со мной, а ведь он знает, что кроме духовного порицания у меня есть и другие средства для борьбы с ним.

Он продержал их у себя целый день и только перед вечером отпустил. Так как всякая опасность, казалось, была совершенно устранена, то пан Циприанович согласился на ночное путешествие, тем более что начались сильные жары.

Однако первую милю они проехали еще засветло. По берегу реки Оронки, местами образующей болота, тянулись в те времена огромные сосновые леса, окружающие Оронск, Сухую, Крогульчу и доходившие до самого Шидловца и далее до Мрочкова и Бзина, даже до... Кельц. Обоз подвигался медленно, так как старая дорога проходила местами среди песков, а местами, значительно понижаясь, превращалась в трясины, через которые ни воз, ни всадник не могли проехать, а пешком можно было пройти только в сухое время. Кроме того, эти места пользовались дурной славой, но наши путешественники, чувствуя свою силу, нисколько не заботились об этом, радуясь вечерней прохладе, когда жара не беспокоит людей, а слепни не кусают лошадей.

Вскоре наступила теплая, ясная ночь. Было полнолуние. Над лесом поднялся огромный красный месяц, постепенно уменьшавшийся и бледневший по мере того, как поднимался кверху, и, наконец, совершенно побледневший, поплыл точно серебряный лебедь по синей глади ночного неба. Ветер утих. Неподвижный лес стоял в полной тишине, нарушаемой только жужжанием насекомых, доносившимся с отдаленных прудов, и голосами коростелей, игравших в траве на ближайших лугах.

Ксендз Войновский запел:

Привет Тебе,
Премудрая Дева,
Дом Богу милый...

Четыре баса Букоемских и голос пана Циприановича тотчас подхватили:

Краса престола и семи колонн...

К хору присоединился тоненький голосок панны Сенинской, а за нею начала подтягивать и вся челядь, и скоро весь бор наполнился молитвенным пением. Но, когда путешественники пропели «часы» и все нужные молитвы, в лесу снова воцарилась глубокая тишина. Ксендз, братья Букоемские и пан Серафим еще некоторое время разговаривали вполголоса, потом и они начали дремать и, наконец, заснули.

Все спали так крепко, что не слышали ни заглушённых голосов возниц, понукавших лошадей, ни фырканья последних, ни хлюпанья воды под копытами при прохождении по длинной плотине, проложенной через вязкую, поросшую камышом и касатиком трясины, на которую они въехали перед полночью. Их разбудил только крик работника, ехавшего впереди:

– Стой! Стой!

Все открыли глаза. Братья Букоемские выпрямились на седлах и поспешно бросились вперед.

– Что там такое?

– Дорога загорожена! Поперек ров, а за ним засека.

Сабли братьев заскрипели в ножнах и заблестели при свете луны.

Пан Циприанович в одно мгновение очутился перед препятствием и понял все: нельзя было себя обманывать. Плотина была перерезана поперек широким рвом, а за ним лежали огромные сосны вместе с ветками, образуя высокую стену. Люди, завалившие таким образом дорогу, намеривались, по-видимому, впустить обоз на плотину, с которой нельзя было сойти в сторону, и напасть на него с тыла.

– За ружья! За бандольеры! – воскликнул ксендз Войновский. – Идут!

Действительно, в ста шагах за ними начали появляться какие-то темные квадратные фигуры, совершенно не похожие на человеческие, которые быстро направлялись к возам.

– Огонь! – скомандовал ксендз.

Раздался залп, и сверкающие снопы огня разорвали ночной мрак. Только одна фигура рухнула на землю, а остальные еще быстрее помчались к обозу, а за ними показывались все новые и новые группы.

Умудренный опытом долголетних войн, ксендз Войновский тотчас догадался, что эти люди держат перед собой, как шит, огромные охапки камыша или соломы, и потому первый залп дал такие ничтожные результаты.

– Огонь! Пли! По череду! По четверо! На колени! – командовал он.

У двух работников были бандольеры, набитые рубанцами. Поравнявшись с остальными, они выстрелили по ногам нападающих. Раздался крик боли, и на это раз весь первый ряд бандитов свалился прямо в болото, но зато следующий, перепрыгнув через упавших, еще больше приблизился к возам.

– Огонь! – в третий раз прозвучала команда.

И снова грянули выстрелы, на этот раз еще более успешные, так как атака на минуту приостановилась, и в толпе нападающих произошло замешательство.

Ксендз слегка приободрился, поняв, что разбойники сами себя перехитрили в выборе места. Правда, в случае их победы, ни одна живая душа не ускользнула бы из западни, и это, главным образом, они имели в виду, но зато, не имея возможности окружить обоз со всех сторон, они принуждены были атаковать его только с плотины и притом узкими рядами, что весьма облегчало оборону. При таких условиях пять или шесть храбрых людей могли обороняться от нападения хотя бы целую ночь.

Нападающие тоже начали стрелять, но благодаря, по-видимому, плохим ружьям, не причинили большого вреда. После первого залпа они подстрелили только одну лошадь и ранили одного работника в бедро. Тогда братья Букоемские начали просить, чтобы им позволили броситься на неприятеля, ругаясь, что они разгонят их направо и налево в болота, а кого не сумеют, того втопчут в трясины. Но, приберегая этот способ на крайний случай, ксендз не соглашался на это, приказав им, как лучшим стрелкам, стрелять в нападающих издали, а пану Циприановичу наблюдать хорошенько за рвом и засекой.

– Если с той стороны на нас не нападут, – проговорил он, – то они с нами ничего не сделают. Положим, они и так дешево нас не купят.

Потом он торопливо подошел к карете, в которой сидели панна Сенинская и пани Дзвонковская. Обе женщины громко молились, но делали это безо всякого страха.

– Ничего, – проговорил он, – не бойтесь!

– Мы не боимся, – отвечала девушка. – Я хотела бы только пересесть...

Выстрелы заглушили ее дальнейшие слова. Смешавшиеся было на момент разбойники снова начали наступать на обоз с какой-то удивительной, прямо слепой отвагой, так как было очевидно, что с этой стороны они ничего не добьются.

– Гм! – прошептал ксендз. – Если бы не женщины, мы могли бы напасть на них.

И он начал размышлять: не пустить ли четырех братьев Букоемских с таким же количеством людей вперед, как вдруг он взглянул в сторону и задрожал от ненависти.

С обеих сторон трясины появились толпы людей и, перепрыгивая с кочки на кочку, побежали к обозу по заранее разбросанным по всему болоту вязанкам тростника.

Ксендз поспешно обратил против них два ряда работников, но в тот же самый момент понял всю величину опасности. Хотя челядь была отборная, состоящая из людей, не раз бывавших во всяких переделках, но она была слишком немногочисленна, тем более что часть должна была наблюдать за запасными лошадьми. Итак, было очевидно, что после первого, принимая во внимание количество разбойников,

недостаточного для них залпа, прежде чем ружья будут снова заряжены, придется вступить с ними в рукопашную, в которой погибнут более слабые.

Итак, оставалось только одно: очистить себе обратный путь через плотину, то есть бросить обоз, приказав Букоемским уничтожить преграду и прорваться вслед за ними, поместив женщин в середину между всадниками. В виду этого, пока люди еще стреляли по обеим сторонам трясины, ксендз приказал женщинам пересесть на лошадей и поставил людей в боевом порядке. В первом ряду стали братья Букоемские, за ними шесть работников, потом панна Сенинская и пани Дзвонковская, а по бокам ксендз и пан Серафим; за ними же еще восемь работников, по четверо в ряд. Пробившись через неприятеля и выбравшись за плотину, ксендз рассчитывал добраться до первой попавшейся деревни и, собрав там всех крестьян, вернуться за возами.

Однако он еще немного колебался, и только, когда нападающие были уже в нескольких шагах по обеим сторонам плотины и когда неожиданно раздались дикие крики с засеки, он воскликнул:

– Бей!

– Бей! – рывкнули братья Букоемские и помчались вперед, точно ураган, который все сметает со своего пути. Достигнув противников, они подняли своих лошадей на дыбы и обрушились на плотную толпу разбойников, топча людей, сталкивая их в болото, валя целые ряды и рубя саблями без милосердия и отдыха. Поднялся крик. Тяжелые тела звучно шлепались в лужи возле плотины, а братья мчались вперед, размахивая руками, точно крыльями ветряной мельницы, которые ветер заставляет вертеться все сильнее. Некоторые из нападающих сами соскакивали в болото, чтобы спрятаться от страшных всадников; другие заслонялись вилами и шестами. Палки и копья поднимались против Букоемских, но они снова вздымали лошадей на дыбы и, сметая все на своем пути, подвигались вперед, как вихрь несется по молодому лесу.

И если бы не узкая дорога, если бы не то обстоятельство, что людям, которых рубили саблями, некуда было разбежаться, и если бы стоявшие сзади не толкали передних, то Букоемские прошли бы через плотину. Но разбойники предпочитали лучше драться, чем утонуть в болоте, и потому сопротивление продолжалось долго и становилось все ожесточеннее. Разгорелись сердца и у нападающих. Они продолжали драться уже не ради добычи и не для похищения кого бы то ни было, а просто из бешенства. Когда возгласы на момент умолкали, слышалось скрежетание зубов и проклятия. Наконец разбойникам удалось остановить Букоемских. Братьям пришлось даже в голову, что, может быть, настал их последний час.

А когда перед ними раздался лошадиный топот и громкие крики огласили заросли, окружающие трясины, они были совершенно уверены, что этот момент наступил, и начали еще отчаяннее бороться, чтобы хоть дорого продать свою жизнь.

Но вдруг случилось нечто непонятное. Сзади разбойников послышались многочисленные голоса: «Бей», и сабли засверкали в лучах лунного света. Какие-то всадники напали с противоположной стороны на разбойников, которых эта неожиданная атака привела в ужас. Задний выход с плотины был заперт, и потому им не оставалось ничего иного, как рассыпаться по сторонам. Только несколько человек продолжали еще отчаянно сопротивляться, большинство же, точно утки, попрыгали в болото, которое тотчас проваливалось под их тяжестью. Они хватались за тростник, осоку и камыш, удерживались за кочки или ложились навзничь, чтобы

не утонуть сразу. Только одна маленькая кучка, вооруженная косами, неистово защищалась еще некоторое время, в результате чего было ранено несколько всадников, но, в конце концов, и эти последние разбойники, видя, что для них нет спасения, побросали оружие и упали на колени, прося пощады. Их взяли живыми для дознания.

Наконец всадники с обеих сторон очутились лицом к лицу и тотчас посыпались вопросы:

– Стой! Стой! Что за люди?

– А вы кто?

– Циприанович из Едлинки.

– Господи! Да ведь это наши!

И двое всадников тотчас выдвинулись из рядов. Один из них наклонился к пану Циприановичу и, схватив его руку, начал покрывать ее поцелуями, другой упал в объятия ксендза.

– Станислав! – воскликнул пан Циприанович.

– Яцек! – вырвалось из уст ксендза.

После обоюдных приветствий и объятий пан Серафим первый приобрел дар слова:

– Господи, откуда вы очутились здесь?

– Наш полк направляется в Краков. Мы с Яцеком получили разрешение ехать в Едлинку, но в Радоме на стоянке мы узнали, что вы все час тому назад отправились по большой дороге в Кельцы..

– Вам сказал это ксендз Творковский?

– Нет. Евреи в Радоме. Ксендза мы не видали. Когда нам это сказали, мы уже не поехали в Едлинку, а отправились дальше вместе с полком, уверенные, что не разойдемся с вами. И вдруг, после полуночи, слышим выстрелы.. Мы все бросились на помощь, думая, что разбойники напали на каких-нибудь путников. Нам даже не пришло в голову, что это вы. Слава Богу, слава Богу, что мы не опоздали!

– На нас напали не разбойники, а Кржепецкие. Они хотели отбить Сенинскую, которая едет с нами.

– Господи! – воскликнул Станислав. – Ведь у Яцека душа от радости выскочит!..

– Я писал тебе о ней, но, по-видимому, письмо пропало.

– Мы уже три недели находимся в походе. Последнее время я не писал писем, потому что знал, что скоро приеду сам..

Радостные крики панов Букоемских, челяди и солдат прервали дальнейший их разговор. В тот же самый момент прибежали работники с зажженными факелами, которых пан Циприанович приказал взять целый воз, чтобы освещать ими путь в

темные ночи. На плотине стало светло как днем. Среди этих ярких огней Тачевский увидел серую лошадь, а на ней панну Сенинскую.

При виде ее Яцек онемел, а ксендз Войновский, видя его изумление, проговорил:

– Да, она тоже с нами.

Тогда Яцек тронул коня и, остановившись перед девушкой, снял шапку и стоял так безмолвный, с белым, как мел, лицом.

Но через мгновение шапка выпала у него из рук, глаза закрылись, и голова склонилась к гриве коня.

– Да ведь он ранен! – воскликнул Лука Букоемский.

XXV

Яцек был действительно ранен. Один из ожесточенно защищавшихся разбойников ранил его концом косы в левое плечо, а так как солдаты в походе были без панцирей и наплечников, то острый конец довольно глубоко разрезал ему руку от плеча до локтя. Рана была не опасна, но кровь текла из нее очень сильно, вследствие чего молодой человек лишился чувств. Опытный ксендз Войновский приказал уложить его на телегу и, перевязав рану, поручил его уходу женщин. Яцек вскоре открыл глаза и увидел склоненное над ним лицо панны Сенинской.

Между тем челядь моментально засыпала ров и разобрала преграду. Обоз и полк перешли через плотину на сухую дорогу, где все остановились на отдых, с целью привести в порядок обоз и допросить пленных. Покончив с Тачевским, ксендз пошел посмотреть, не пострадали ли Букоемские. Но нет. Лошади их, правда, были исколоты и исцарапаны вилами, но не опасно, сами же они были не только невредимы, но и прекрасно настроены, так как все окружающие поражались их мужеству, говоря, что «они еще перед войной перебили столько людей, сколько другой солдат не перебьет в течение нескольких лет войны».

– А не хотите ли вы вступить в полк пана Збержховского? – предлагали им некоторые воины. – Давно всем известно, а Бог даст, и снова окажется, что наш полк считается первым даже и между гусарскими, поэтому пан Збержховский не всякого и не легко принимает в него, но таких достойных рыцарей и он примет охотно, а мы будем от души рады вам.

Братья Букоемские знали, что это невозможно, так как у них не было средств для соответствующей экипировки и свиты, совершенно необходимых для такого важного полка. Однако они с удовольствием выслушивали эти предложения, а когда чарки начали переходить из рук в руки, братья и в этом деле никому не дали опередить себя.

Тем временем солдаты вытаскивали за вихры из болота разбойников и отводили их к панам Збержховскому, Циприановичу и ксендзу Войновскому. Ни один из них не ушел, так как в сильном полку, насчитывающем, кроме трехсот дружинников, девятьсот человек их свиты, было достаточно людей, чтобы окружить всю трясины и оба выхода с плотины.

Вид пленников сильно удивил пана Серафима. Он ожидал найти среди них, как он говорил сыну, Мартьяна Кржепецкого и его радомскую компанию, состоящую из шляхтичей, а между тем перед ним стояла выпачканная в грязи и пропахшая торфом

оборванная толпа разбойников, состоящая из беглых солдат, выгнанных слуг и других подонков общества, – словом, из всякого рода диких и зловещих тунеядцев, занимающихся разбоями в лесах и пущах. В те времена таких шаек было много, в особенности в лесистом Сандомирском воеводстве, а так как в них вступали люди, готовые на все, которым вдобавок, в случае ареста, грозили страшные наказания, то их нападения были необыкновенно дерзки и битвы с ними особенно ожесточенны.

Еще некоторое время продолжался розыск разбойников по болоту, после чего пан Циприанович обратился к Збержховскому со словами:

– Господин полковник, мы предполагали, что это другие люди, а оказывается, это простые разбойники, совершившие самое заурядное нападение на нас. Тем не менее мы от всей души благодарны вам и всей дружине вашей за столь значительную помощь, без которой нам бы, вероятно, не видать сегодня восхода солнца.

А пан Збержховский, улыбаясь, ответил:

– Вот, что значит ночные походы. И жара не мешает, и можно оказать людям помощь. Не желаете ли вы сейчас же допросить этих людей?

– Приглядевшись к ним, я нахожу это излишним. Суд их и так допросит в городе, а палач – просветит.

При этих словах из толпы пленников выступил высокий мужик с мрачным лицом и белокурой, кудлатой головой и, поклонившись пану Циприановичу в ноги, сказал:

– Вельможный пан, если вы даруете нам жизнь, то мы расскажем вам всю правду. Мы обыкновенные разбойники, но нападение наше было необыкновенным.

Услышав это, ксендз Войновский и пан Серафим с любопытством переглянулись.

– Кто ты такой? – спросил ксендз.

– Атаман. Нас было двое, потому что соединились две шайки, но второй убит. Если вы помилуете нас, то я расскажу все.

Ксендз на минуту задумался и ответил:

– Мы не можем освободить вас от суда, но все-таки лучше, если вы сами признаетесь во всем добровольно, чем заставите вырывать у вас истину пытками. Может быть, в таком случае и божеский и человеческий суд будет к вам милостивее.

Атаман начал неуверенно поглядывать на своих, не зная, должен ли он молчать или говорить правду, а между тем ксендз продолжал:

– Если вы искренне признаетесь во всем, то мы можем походатайствовать за вас у короля и выхлопотать для вас высочайшее помилование. Король теперь нуждается в людях для пехоты и потому часто прощает подсудимых.

– Коли так, то я расскажу все, – ответил мужик. – Меня зовут Обух, а атаманом второй шайки был Кос, и обоих нас нанял какой-то шляхтич, чтобы мы напали на вас.

– А не знаете ли вы, как зовут этого шляхтича?

– Я его раньше не знал, потому что я дальний, но Кос знал и говорил, что его зовут Выш.

Ксендз и пан Циприанович снова изумленно переглянулись.

– Ты говоришь, Выш?

– Да.

– А не было ли с ним еще кого-нибудь?

– Был еще один, худой, тощий, молодой. Пан Серафим обратился к ксендзу и шепнул:

– Это не они...

– Но, может быть, это компания Мартьяна? – так же тихо ответил ксендз. И снова громко обратился к мужику: – Что же они приказали вам сделать?

– Они сказали нам так: «Что вы сделаете с людьми, это ваше дело, возы и добыча ваша, но в обозе есть девушка, которую вы должны схватить и доставить окольными путями между Радомом и Зволеньем в Поличную. За По-личной на вас нападет наша компания и отобьет у вас девушку. Вы ее защищайте для виду, но так, чтобы не причинить нам никакого вреда. За это вы получите по талеру на человека, кроме того, что найдется в обозе».

– Теперь все как на ладони, – проговорил ксендз. Но через минуту спросил снова:

– С вами разговаривали только эти двое?

– Потом приехал с ними ночью третий и дал нам по злотому в задаток. Хотя в это время было темно, как в погребе, один из моих людей узнал его, так как был раньше его крепостным, и говорил, что это пан Кржепецкий.

– Ага! Вот и он! – воскликнул пан Циприанович.

– А этот человек здесь или убит? – спросил ксендз.

– Здесь! – отозвался чей-то голос вдали.

– Подойди-ка сюда, поближе. Это ты узнал пана Кржепецкого? Каким же это образом, коли было так темно, что хоть глаз выколи?

– Да я его с малолетства знаю. Я узнал его и по кривым ногам, и по голове, которая сидит у него точно между двумя горбами, и по голосу.

– Так он разговаривал с вами?

– Разговаривал и с нами, а потом я слышал, как он говорил с теми, что приехали с ним.

– Что же он сказал им?

– Сказал, что «если бы дело шло о деньгах, то я бы не приехал сюда, хотя бы ночь

была еще темнее...».

– И ты подтвердишь это перед бургомистром или старостой в городе?

– Подтвержу.

Услышав это, пан Збержховский обратился к свите:

– За этим человеком учредить специальный надзор.

XXVI

Потом все принялись совещаться. Букоемские предлагали переодеть в платье девушки какую-нибудь бабу, посадить ее на лошадь, окружить челядью и слугами, переодетыми разбойниками, и отправиться на условленное с Мартьяном место. Когда последний сделает на них нападение, то окружить его и тут же на месте расправиться с ним или отвезти его в Краков и предать суду. Сами они охотно соглашались привести этот план в исполнение и клялись, что бросят связанного Мартьяна к ногам панны Сенинской.

Эта идея в первый момент очень понравилась, но когда начали подробнее обсуждать, исполнение ее оказалось трудным, а результаты сомнительными. Пан Збержховский мог и имел право спасать людей от опасности, встретив их случайно, во время похода, но он не имел права и не хотел посылать солдат в частные экспедиции. С другой стороны, раз среди нападавших нашелся человек, который знал и готов был указать суду главного руководителя нападения, то этого руководителя можно было в любой момент привлечь к ответственности и добиться позорящего его приговора. В виду этого пан Серафим и ксендз Войновский решили, что они успеют сделать это и после войны, так как нельзя было предполагать, чтобы Кржепецкие, обладающие крупным состоянием, покинули его и бежали.

Это решение не понравилось только панам Букоемским, которым очень хотелось покончить с этим делом теперь же. Они даже заявили, что в таком случае они сами разделаются с Мартьяном, но пан Циприанович не позволил им этого, а Яцек окончательно удержал их, заклиная их всеми святыми предоставить Кржепецкого исключительно ему.

– Судом я не буду действовать против него, – говорил он, – но после всего слышанного мною от вас, если меня не убьют на войне, то, как Бог свят, я отыщу его и тогда только будет видно, чей приговор окажется для него приятнее и легче.

При этом его «девичьи» глаза засверкали так страшно, что у Букоемских, хотя они были и не из пугливых, дрожь пробежала по всему телу. Они знали, как странно переплетаются в душе Яцека мягкость со вспыльчивостью и страшной злопамятностью.

А он повторил еще несколько раз:

– Горе ему! Горе ему! – и снова побледнел от потери крови.

Тем временем совершенно рассвело. Утренняя заря окрасила небо в розовато-зеленый цвет и заискрилась на каплях росы, висевших на траве и на листьях деревьев, а также и на иглах низкорослых сосен, росших тут и там по краям болота.

Пан Збержховский приказал пленникам похоронить тела убитых, что оказалось очень легким, так как торф сразу расступался под лопатами, и когда на плотине не

осталось никаких следов битвы, полк двинулся дальше, по пути к Шидловцу.

Пан Циприанович посоветовал панне Сенинской снова пересесть в карету, в которой она могла бы заснуть перед стоянкой, но девушка так решительно заявила, что не оставит Яцека, что даже ксендз Войновский не стал уговаривать ее изменить это решение. Таким образом они ехали вместе, и, кроме возницы, в телеге с ними никого не было, так как пани Дзвонковской страшно хотелось спать, и она вскоре перешла в карету.

Яцек лежал на спине на вязанках сена, уложенных с одной стороны вдоль телеги, а она сидела по другую сторону, наклоняясь ежеминутно к его раненой руке и следя, чтобы кровь не просочилась через повязку. От времени до времени она прикладывала к губам раненого бутылку со старым вином, которое, по-видимому, действовало на него прекрасно. Через некоторое время ему надоело лежать, и он приказал вознице вытащить сено из-под его ног.

– Лучше я поеду сидя, – проговорил он. – Теперь я себя совсем хорошо чувствую.

– А рана? Не будет ли она вас сильнее беспокоить?

Яцек перевел глаза на ее розовое личико и заговорил тихим, печальным голосом:

– Я отвечу вам так, как (давно, давно это было!!) ответил один рыцарь, когда король Локетек увидел его на поле битвы раненого мечом крестоносцев и спросил, сильно ли он страдает. Показав на свои раны, рыцарь ответил: «Это меньше болит».

Панна Сенинская опустила глаза.

– А что болит сильнее? – прошептала она.

– Сильнее болит тоскующее сердце, и разлука, и память о причиненных обидах.

Воцарилось непродолжительное молчание, только сердца обоих забились сильнее, так как оба поняли, что наступил момент, когда они могут и должны высказать все, что они имеют друг против друга.

– Правда, – говорила девушка, – я обидела вас тогда, когда приняла вас после того поединка с гневом и не по-человечески... Но это было только один раз, и сам Бог знает, как я потом жалела об этом. Да, я сознаюсь, это была моя вина, и от всей души прошу у вас прощения.

А Яцек приложил здоровую руку ко лбу.

– Не это ранило мое сердце, не это причинило ему жестокую боль.

– Я знаю. Это было письмо пана Понговского... Как? И вы могли подозревать меня, что я знала о нем или участвовала в его составлении?

И девушка начала прерывающимся голосом рассказывать, как все было; как она умоляла пана Понговского сделать шаг к примирению; как он обещал ей написать отеческое и сердечное письмо к нему, и написал совершенно противоположное, о котором она узнала после от ксендза Войновского и которое показало, что пан Понговский, имея другие намерения, хотел раз и навсегда разлучить их.

Так как ее слова были в некотором роде признанием и в то же время воскрешали неприятные и горькие воспоминания, стыдливый румянец то и дело заливал ее щеки, а глаза заволакивались слезами.

– А разве ксендз Войновский, – спросила она, наконец, – не писал вам, что я ни о чем не знала и не могла понять, почему я получила такое возмездие за свою искренность?

– Ксендз Войновский, – отвечал Яцек, – сообщил мне только, что вы выходите замуж за пана Понговского.

– И не сообщил о том, что я согласилась на это с горя, благодаря своему сиротству и одиночеству и из благодарности к пану Понговскому?.. Ведь в то время я еще не знала, как он поступил с вами, и знала только, что мной пренебрегли и меня забыли...

Услышав это, Яцек закрыл глаза и ответил с глубокой печалью в голосе:

– Что вас забыли?.. Пусть так!.. Я был в Варшаве, был в королевском дворце, разъезжал с полком по всей стране, но, чтобы я ни делал, где бы ни был, вы ни на минуту не выходили из моего сердца и памяти... Вы шли за мной, как тень идет за человеком... И не раз в отчаянии, в муках я призывал вас в бессонные ночи: «Сжался! Утоли боль! Дай забыть о себе!» Но вы никогда не оставляли меня: ни днем, ни ночью, ни в поле, ни дома... Наконец я понял, что тогда лишь смогу вырвать вас из своего сердца, когда вырву самое сердце из груди...

Тут он замолчал, так как волнение сжало ему горло, но через минуту продолжал:

– ...Потом я часто просил Бога в молитвах: «Господи, дай мне погибнуть в бою, ибо ты сам видишь, что я не могу ни пойти к ней, ни жить без нее!..» И не ожидал я, что увижу вас когда-нибудь в своей жизни... Единственная моя!.. любимая!..

С этими словами он склонился к ней и положил голову на ее плечо.

– Ты, точно кровь, которая дает жизнь! – шептал он, – точно солнце на небе!.. Бог милосерд ко мне, что позволил мне еще раз увидеть тебя!.. Милая!.. любимая!..

А ей казалось, что Яцек поет какую-то дивную песню... Глаза ее налились волнами слез, а сердце – волнами счастья. Снова между ними воцарилось молчание, только девушка долго плакала сладостными слезами, какими никогда еще не плакала в жизни.

– Яцек, – произнесла она, наконец, – зачем же мы так долго страдали?

– Зато теперь Господь вознаградил нас...

И в третий раз воцарилась между ними тишина, только телега скрипела, медленно подвигаясь по песку большой дороги. Миновав бор, они выехали в залитое солнцем поле, шумящее колосьями и усеянное красным маком и синими васильками. Кругом царила глубокая тишина. Над сжатыми кое-где полосками неподвижно реяли в воздухе распеваящие жаворонки, вдали, по краям полей, сверкали серпы, с далеких зеленых лугов доносились крики и песни пастухов. А им казалось, что для них только шумит эта нива, для них мелькают маки и васильки, для них заливаются жаворонки и поют

пастухи, и что весь этот солнечный покой и все эти голоса вторят только их счастью и упоению.

Ксендз Войновский вывел их из забытья. Приблизившись неожиданно к возу, он спросил:

– Ну, как ты себя чувствуешь, Яцек!

Яцек вздрогнул и, взглянув на него сияющими глазами, точно пробудился от сна:

– Что, благодетель?

– Как ты себя чувствуешь?

– Э! И в раю не будет лучше!

Ксендз внимательно посмотрел сначала на него, а затем на девушку.

– Да... – проговорил он.

И поскакал обратно к остальной компании.

А ими снова овладела радостная действительность. Устремив друг на друга глаза, они не замечали ничего, что происходило вокруг них.

– Ты... ненаглядная!.. – проговорил Яцек.

Опустив глаза, девушка улыбнулась уголками губ, так что на ее розовых щечках появились ямочки.

– Разве панна Збержховская не лучше меня? – тихо спросила она. Яцек изумленно взглянул на нее:

– Какая панна Збержховская?..

А она ничего не ответила и засмеялась звучным, как серебряный колокольчик, голосом.

Между тем, когда ксендз вернулся к компании, искренне любившие Яцека товарищи начали расспрашивать о нем:

– Ну, что там? Как поживает наш раненый?

– Его уже нет на свете, – ответил ксендз.

– Ради Бога! Что случилось? Как это, его нет?

– Он говорит, что он уже в раю! Mulier!..

Братья Букоемские, не привыкшие быстро соображать, продолжали с ужасом смотреть на ксендза и, сняв шапки, уже собирались затянуть «вечную память», как вдруг громкий взрыв смеха нарушил их набожные мысли и намерения. Но в этом всеобщем смехе звучало искреннее расположение и искреннее сочувствие Яцеку. Многие уже знали от Станислава Циприановича, какой «чувствительный был это кавалер», и все

догадывались, как жестоко должен был он страдать, а потому слова ксендза несказанно обрадовали всех. В тот же момент раздались голоса:

– Господи! Да ведь мы все видели, как он боролся со своим чувством, как отвечал невпопад на вопросы, как забывал застегивать пряжки на своем вооружении, как забывался во время еды или питья и как по ночам заглядывался на луну: все это были неопровержимые признаки несчастной любви.

А другие говорили:

– Можно ему поверить, что он сейчас, как в раю. Ведь если ни одни раны не болят так, как причиненные стрелами Амура, то зато нет более приятного лекарства, как взаимность.

Так рассуждали товарищи Яцека. Некоторые из них, узнав, какие страдания пережила девушка и как низко обошелся с нею Кржепецкий, загремели саблями, восклицая: «Подайте его сюда!»

Другие горевали над судьбой девушки и, узнав, что Букоемские устроили с Мартьяном, превозносили до небес их остроумие и храбрость.

Но вскоре общее внимание снова сосредоточилось на влюбленной парочке.

– Давайте, – предлагали некоторые, – поздравим их... – и всей толпой с шумом направились к телеге.

В одно мгновение весь полк окружил Яцека и панну Сенинскую. Загремели громкие голоса: «Vivant! Floreant!», а другие еще некоторое время продолжали восклицать:

– Crescite et multiplikamini!

Была ли панна Сенинская, действительно, испугана этими криками или только, как *mulier insidiosa*, притворялась таковой, этого не мог бы угадать даже и ксендз Войновский; довольно того, что она склонила свою белокурую головку на здоровое плечо Яцека и начала смущенно спрашивать:

– Что это значит, Яцек? Что здесь творится?

А он обнял ее и ответил:

– Люди мне отдадут тебя, а я возьму тебя, цветок мой ненаглядный.

– После войны?..

– Нет, перед войной!

– Ради Бога, почему так скоро?

Но Яцек, по-видимому, не расслышал вопроса, так как вместо ответа он произнес:

– Поклонимся же и поблагодарим милых товарищей за поздравления.

И они начали раскланиваться на обе стороны, что вызвало еще больший восторг среди рыцарей. Увидев разгоревшееся и прелестное, как утренняя заря, личико

девушки, солдаты от восторга начали хлопать себя по бедрам.

– Господи Боже мой! – восклицали они. – Да ведь она может ослепить!

– Ангел бы влюбился, а не то что грешный человек!

– Неудивительно, что он сох от тоски по ней! И снова сотни голосов загремели еще громче:

– Vivant! Cresceant! Floreant!..

Среди этих криков и в облаках золотистой пыли полк въехал в Шидловец. В первый момент жители его испугались и, побросав стоявшие перед домами верстаки, на которых они вытачивали брусья, попрятались в избы. Но, узнав вскоре, что это крики радости, а не гнева, они толпой высыпали на улицу и присоединились к солдатам. Образовалась толпа людей и лошадей. Загремели гусарские трубы, литавры и рожки. Веселье стало всеобщим.

А Тачевский говорил, обращаясь к панне Сенинской:

– Непременно перед войной! Перед войной, хотя бы потом пришлось через час умереть!..

XXVII

– Как? – говорил ксендз Войновский на пиру, устроенном товарищами в честь Яцека.

– Через пять или шесть дней мы отправляемся в поход, ты можешь погибнуть на войне. Стоит ли жениться перед походом, вместо того чтобы дожидаться счастливого конца и тогда только сделать это спокойно?

Услышав эти благоразумные слова, товарищи Яцека разразились смехом. Одни из них хватались за бока, другие хором кричали:

– Ой, стоит, ваше преподобие! Именно потому и стоит, что он может погибнуть, тем более стоит!

Ксендз немного рассердился, но когда триста дружинников, не исключая и пана Циприановича, начали настаивать, а Яцек даже и слышать не хотел об отсрочке, он должен был покориться. Возобновленные связи с двором и милость короля и королевы сильно облегчили все дело. Королева заявила, что будущая пани Тачевская останется во все время войны под ее покровительством и будет жить возле нее, а сам король обещал присутствовать со своей свитой на свадьбе и подумать на досуге о приличном приданом. Он помнил, сколько богатства Сенинских перешло в свое время к Собеским, и что предки его возвысились таким образом, и потому чувствовал себя обязанным по отношению к сироте; кроме того, девушка покорила его своей красотой и возбудила в нем сочувствие пережитыми ею страданиями и горем.

Пан Матчинский, старый друг ксендза Войновского, и в то же время и короля, обещал часто напоминать последнему о девушке, но только после войны, так как теперь, когда на плечах Яна III покоилась судьба всей Европы и всего христианства, нельзя было отвлекать его никакими частными делами. Однако эти обещания так обрадовали ксендза Войновского, точно Яцек уже был назначен «старостой», так как всем было известно, что на каждое слово пана Матчинского можно полагаться, как на слово Завиши.

Собственно говоря, пан Матчинский действительно был причиной всех тех благ, которые встретили девушку в Кракове: он напомнил королевской чете о ксендзе Войновском, он же расположил к девушке королеву. Несколько капризная и непостоянная по характеру, она с первого момента начала оказывать ей исключительную, даже, пожалуй, слишком внезапную дружбу и милость.

Разрешение на оглашение брака было получено очень легко, благодаря протекции двора и расположению епископа краковского. Еще раньше пан Серафим снял для будущих молодых прекрасную квартиру у одного краковского купца, деда которого торговали в свое время с Циприановичами, когда последние жили еще во Львове, и привозили шелковые материи с Востока. Это была прелестная квартира, какой не имел даже ни один воевода при всей той сутолоке и наплыве военных и гражданских сановников, какие царили в городе.

Станислав Циприанович, желая, чтобы его друг провел эти несколько дней перед походом, как в настоящем раю, богато разукрасил ее коврами и живыми цветами. Другие товарищи усердно помогали ему в этом, одолживая все, что они имели лучшего из ковров и тому подобных дорогих вещей, которые богатые гусары брали, обыкновенно, с собой в поход.

Словом, все оказывали молодой чете большое расположение и помогали ей, как кто мог, за исключением только четырех панов Букоемских. В первые дни по приезде в Краков они по два раза в день заходили к Циприановичам, к Яцеку и под вехи к купцам, где пили водку дружинники из полка королевича Александра, но потом точно в воду канули.

Ксендз Войновский думал, что они пьянствуют по предместьям, где их, действительно, видела челядь однажды вечером и где вина и мед были дешевле, чем в самом городе, но потом о них не стало ни слуху, ни духу. Ксендза и пана Циприановича страшно сердило их поведение, так как они обязаны были благодарностью пану Серафиму, о которой они не должны были забывать.

– Солдаты из них могут выйти хорошие, – говорил ксендз, – но это легкомысленные люди, на постоянство которых никак нельзя рассчитывать. Они нашли, наверно, какую-нибудь компанию тунеядцев, с которой им лучше, чем с нами.

Однако это подозрение оказалось несправедливым. Накануне свадьбы Яцека, когда квартира его была полна знакомыми, приходившими поздравлять и приносящими свадебные подарки, в ней появились четыре брата, одетые в свои лучшие костюмы, торжественные и спокойные, но преисполненные какой-то таинственности.

– Где же это вы пропадали? – спросил пан Серафим.

– Преследовали зверя, – ответил Лука.

Но Матвей ткнул его в бок, говоря:

– Тише! Не рассказывай раньше времени!

Он взглянул на ксендза, на обоих Циприановичей и, обернувшись к Яцеку, начал откашливаться, точно собираясь держать длинную речь.

– Ну! Начинай же! – поощряли его братья.

Но он взглянул на них осоловелыми глазами и спросил:

– Как же это должно было начинаться?..

– Что же ты, уже забыл?..

– Спуталось у меня...

– Подожди, я знаю! – воскликнул Ян. – Начиналось так: «Наш благороднейший»... Ну, продолжай!

– Наш благороднейший Пилат... – начал Матвей.

– Почему «Пилат»? – прервал его ксендз. – Может быть, «Пилад»?

– Вы попали как раз в точку! – воскликнул Ян. – Так там и стояло!..

– Наш благороднейший Пилад! – снова начал приободрившийся Матвей. – Хотя бы не железный Борисфен, но сам золотосный Тагус переплывал через наши родные земли, то и тогда, как после нашествия варваров, мы ничего не могли бы преподнести тебе, кроме наших сердец, пылающих дружбой, ни почтить сегодняшний день каким-нибудь достойным подарком...

– Говорит, точно орехи грызет! – с воодушевлением воскликнул Лука.

Но Матвей повторил еще несколько раз: «подарком... подарком... подарком...» и запнулся; начал тревожно поглядывать на братьев, умоляя их глазами о спасении, но и они сразу забыли, что следовало дальше.

Гости начали смеяться, а братья Букоемские хмуриться. Заметив это, пан Циприанович решил прийти им на помощь.

– Кто составил вам эту речь? – спросил он.

– Пан Громыка из полка пана Шумлянського, – ответил Матвей.

– Вот то-то и дело! Чужой конь всегда легко встает на дыбы и останавливается на месте. Обнимите Яцек и просто скажите ему, что вы хотели сказать.

– Конечно, так будет лучше!

И братья начали по очереди обнимать Тачевского, после чего Матвей снова заговорил:

– Яцек! Нам известно, что ты никакой не Пилад, а тебе известно, что после отнятия Киевщины мы остались бедняками и притом еще гольшами. Так вот тебе! Мы приносим тебе, что имеем, а ты прими это с благодарностью.

С этими словами он подал ему какой-то предмет, завернутый в красный атласный лоскут, а остальные братья тем временем повторяли:

– Прими, Яцек! Прими! Прими!

– Принимаю и благодарю вас! – отвечал Яцек.

С этими словами он положил подарок на стол и начал разворачивать атлас. Но вдруг отскочил, воскликнув:

– Господи! Да ведь это человеческое ухо!

– А знаешь, чье? Мартьяна Кржепецкого! – закричали братья.

Все присутствующие были так изумлены, что на момент воцарилось молчание.

– Тьфу! – воскликнул, наконец, ксендз Войновский.

И, смерив братьев одного за другим суровым взглядом, он строго обратился к ним:

– Да что вы, турки, что ли, чтобы дарить уши убитых врагов? Вы позорите этим все христианское войско и всю шляхту. Если бы даже Кржепецкий сто раз заслужил смерти, если бы он был даже еретиком или вовсе язычником, то и тогда ваш поступок был бы невыразимым позором! Вот как вы разодолжили Яцека, что он даже сплюнул ту слюну, которая выступила у него во рту при виде вашего подарка. Но я вам скажу, что за такой поступок вы заслуживаете не благодарности, а презрения и срама! И нет такого полка во всей кавалерии и даже в пехоте, который принял бы в свои ряды таких варваров.

Но тут Матвей выступил вперед и, пылая гневом, заговорил так:

– Вот благодарность, вот отплата, вот справедливость и суд человеческий! Если бы это сказал кто-либо из светских людей, то и второе ухо очутилось бы в паре с первым, но когда так говорит духовное лицо, то пусть Господь Сам судит его и заступится за нашу невинность! Вы спрашиваете, ваше преподобие: «Не турки ли мы?», а я спрошу вас: «Неужели вы думаете, что мы отрезали это ухо у трупа?..» Братья родные! Сироты вы невинные! Вот до чего вы дожили, что вас называют турками, врагами веры!.. А? Каково?..

Но тут его голос задрожал, так как жалость пересилила гнев, а остальные братья, взволнованные несправедливым подозрением, тоже начали жалобно восклицать:

– Турками нас назвали!

– Врагами веры!

– Нечестивыми еретиками!..

– Так рассказывайте же, как было дело! – проговорил ксендз.

– Лука отрезал Кржепецкому ухо на поединке.

– Как же очутился здесь Кржепецкий?

– Приехал еще пять дней тому назад.. За нами приехал...

– Пусть один говорит! Говори ты, только толком! Тут ксендз указал на Яна.

– Один наш знакомый, – начал Ян, – служащий в полку сандомирского епископа,

случайно рассказал нам дня три тому назад, что видел в винной торговле в Казимире какое-то диво: «Шляхтич, говорит, точно чурбан, с огромной головой, так вросшей в туловище, что плечи доходят у него до ушей; на коротких, говорит, кривых ногах, а пьет, как дракон. Более отвратительной обезьяны, говорит, я не видал в своей жизни». А мы, ведь Господь нас от рождения наградил сообразительностью, сейчас же переглянулись: «Не Кржепецкий ли это?» Я и говорю знакомому: «Вы сведете нас в этот винный склад?» – «Сведу». И свел. Было уже совсем темно, однако мы смотрим: что-то чернеется в углу за столом. Лука подошел ближе и высек кремнем огонь перед самыми зенками того, кто там прятался. «Кржепецкий!» – воскликнул он и цап его за шиворот. Мы схватились за сабли, но он вырвался и, видя, что ему нет спасения, так как мы стояли у дверей, начал скакать перед нами, точно петух. «Что же, говорит, нахалы? Вы думаете, что я вас боюсь? Выходите поодиночке на поединок со мной, если вы не разбойники, а шляхтичи!»

– Шельма! – прервал его ксендз. – А сам-то он лучше хотел поступить с нами на дороге!

– Лука так и ответил ему: «Ах ты, собачий сын, а кто целую ватагу разбойников напустил на нас? Палачу бы, говорит, надо отдать тебя, но так будет скорее!..» С этими словами он начал наступать на него, и сабли их скрестились. После трех или четырех скрещиваний Лука как заедет ему за ухо. Смотрим, а ухо валяется на земле. Матвей сейчас же подхватил его и кричит: «Не отрезай другого, оставь нам! Это, говорит, будет для Яцека, а второе для панны Сенинской!» Но Мартьян опустил саблю, потому что у него сильно хлынула кровь, и упал в обморок. Мы окатили ему голову водой, а в рот налили водки, в надежде, что он очнется и будет продолжать драться, но не тут-то было. Правда, он очнулся и говорит: «Если вы сами учинили расправу, то другой вам искать не следует» – и снова потерял сознание. Мы и ушли ни с чем, жалея о другом ухе. Лука говорит, что он мог бы его убить, но не сделал этого умышленно, чтобы и нам, а потом и Яцеку что-нибудь досталось... И не знаю, кто мог бы поступить политичнее, ибо никому не грешно убить такую гадину, но, видно, политика теперь не в почете, если из-за нее мы должны еще страдать.

– Правда! Он правильно говорит! – восклицали остальные братья.

– Ну, – проговорил ксендз, – если так, то дело другое, но все-таки это невкусное блюдо.

Братья начали изумленно переглядываться.

– Как невкусное? – спросил Марк. – Ведь мы не для еды принесли это ухо Яцеку!

– От души благодарю вас за ваше расположение, – отвечал Тачевский, – но я предполагаю, что вы принесли его не для сохранения.

– Правда, оно уже слегка позеленело. Разве закоптить его в дыму?

– Пусть работник сейчас же закопает его в землю, – сурово вмешался ксендз. – Ведь это во всяком случае христианское ухо.

– Мы кое-что получше видали в Киевщине! – проворчал Матвей.

– Кржепецкий, наверное, приехал сюда, чтобы устроить новое покушение на Анулю, – проговорил Яцек.

– Ведь он не похитит ее из дворца ее величества королевы, – отвечал благоразумный пан Серафим. – Да я и не думаю, чтобы он за этим приехал сюда. Нападение не удалось ему, и вот он хочет только убедиться, знаем ли мы, что он был его инициатором, и донесли мы на него или нет. Старый Кржепецкий, может быть, и не знал о сыновней проделке, а может быть, и знал. Но если так, то они оба, должно быть, сильно беспокоятся теперь, и не удивительно, что Мартьян приехал сюда на разведку.

Станислав Циприанович засмеялся.

– Ну, – проговорил он, – не везет ему с Букоемскими, так не везет!

– Бог с ним! – воскликнул Тачевский. – Сегодня я готов ему все простить!

Зная злопамятность молодого рыцаря, Букоемские и Станислав Циприанович удивленно взглянули на него, а он, как будто в ответ на их взгляды, добавил:

– Сегодня Ануля будет моей, а завтра я буду христианским рыцарем и защитником веры, сердце которого должно быть свободно от всякой ненависти и всяких личных интересов.

– И за это Господь благословит тебя! – воскликнул ксендз.

XXVIII

Наконец наступил для Яцека давно желанный день счастья. В Кракове уже давно распространилась весть, с удивлением повторяемая мещанами, что в полку находится некий рыцарь, который сегодня женится, а на завтра садится на коня. А когда распространился слух, что король и королева должны присутствовать на венчании, толпы людей с утра уже начали собираться в костеле и возле него. Дошло, наконец, до того, что королевские телохранители должны были поддерживать порядок, чтобы сделать свободным проезд для свадебных гостей.

Товарищи Тачевского собрались как один человек и сделали это как из доброжелательства и дружбы к нему, так и ради удовольствия участвовать в процессии, в которой присутствовал сам король, и принадлежать как бы к его частной компании. Приехало также и много сановников, которые даже никогда не слышали о Яцеке Тачевском, так как было известно, что королева протезирует молодой паре, а при дворе много зависело от ее расположения и милости.

Однако многим казалось не менее удивительным, чем мещанам, что король, на плечах которого покоилась в данный момент судьба почти всего света и к которому ежедневно приезжали на взмыленных лошадях заграничные курьеры, находит время, чтобы присутствовать на свадьбе простого дружинника. Одни объясняли это себе добротой короля и желанием расположить к себе войско, другие строили предположения, что между королем и Тачевским существуют какие-то близкие, родственные отношения, о которых нельзя говорить; наконец, третьи смеялись над этими предположениями, совершенно справедливо замечая, что в таком случае королева, столь мало снисходительная, что король часто должен был оправдываться перед нею даже и за грехи молодости, не занялась бы с таким усердием судьбою влюбленных.

Люди уже несколько забыли о Сенинских, и потому, желая предупредить всякие сплетни и злословия, король нарочно напомнил всем, что Собеские были многим

обязаны этому роду. Тогда все заинтересовались панной Сенинской и, как это обыкновенно бывает при дворе, начали жалеть ее, растроганно говорить о ее приключениях и восхвалять ее красоту и добродетель. Слухи о ее красоте широко распространились среди городского населения, и когда все, наконец, увидели ее, то никто не разочаровался в ней.

Она приехала в костел вместе с королевой, и потому в первый момент все глаза устремились на последнюю, красота которой сияла еще во всем блеске заходящего солнца. Однако когда взоры перешли на невесту, со всех сторон – из уст сановников, воинов, шляхтичей и мещан – послышались громкие и тихие замечания:

– Прелестна! Прелестна! Счастлив тот, кто хоть раз видел ее.

И это была правда.

В те времена не всегда девушку одевали к венцу в белое, но ее королевские фрейлины одели именно в белое, потому что это было ее лучшее платье и так пожелала она сама. В белом платье, с зеленым венком на золотых волосах, со смущенным и несколько побледневшим лицом и опущенными глазами, тихая и стройная, она напоминала белоснежного лебедя или белую лилию.

Ее вид поразил даже самого Тачевского, которому она показалась совсем иной.

«Господи, – подумал он. – Как я могу подойти к ней? Ведь это настоящая королева или ангел, с которым грешно разговаривать иначе, как на коленях».

И душой его овладело смущение. Но, когда, наконец, он стал с нею на колени перед алтарем, когда услышал взволнованный голос ксендза Войновского: «Я знал вас обоих еще детьми», когда эпитрахиль связала их руки и тихий голос проговорил: «Я называю тебя супругом моим», а вслед затем раздалась песнь: «Veni Creator», только тогда Яцек понял, что его грудь может разорваться от счастья, тем более что он был без панциря. Он давно любил ее, любил с самого детства и знал, что любит, но только теперь понял, как безгранична и безмерна его любовь. И снова ему пришло в голову:

«Я, вероятно, умру от радости. Если человек при жизни может быть так счастлив, то что же будет на небе?..»

Но в то же время Яцек подумал, что прежде, чем погибнуть, он должен еще отблагодарить Бога, и вдруг перед его духовными глазами пронеслись толпы турок, бороды, тюрбаны, чалмы, кривые сабли, знамена и бунчуки. И из его сердца вырвался крик:

– Я отблагодарю Тебя, Господи! Отблагодарю!

И Яцек почувствовал, что он станет львом-истребителем всех этих врагов креста и веры. Это видение продолжалось только одно мгновение, после чего волна счастья и любви снова переполнила его грудь.

Между тем церемония была окончена; процессия направилась в квартиру, приготовленную для новобрачных паном Циприановичем и украшенную товарищами по полку. Только на одно мгновение Яцек успел прижать к сердцу молодую пани Тачевскую, так как они должны были выбежать навстречу королевской чете, прибывшей к ним из костела. За столом были приготовлены два высоких кресла для

их величеств, а потому после благословения, которое новобрачные приняли, стоя на коленях перед их величествами, Яцек пригласил их принять участие в свадебном пиру, но король отказал:

– Милый друг, я рад бы побеседовать с тобой и с тобой, моя милая родственница, – тут он обратился к пани Тачевской, – о будущем приданом, но никак не могу. Я останусь на минутку и выпью за ваше здоровье, но сесть за стол не могу, так как мне дорога каждая минута.

– Правильно! – воскликнуло несколько голосов сразу.

Тачевский поклонился королю в ноги, а тот взял со стола налитый бокал.

– Господа! – воскликнул он. – Пью за здоровье молодых!

Кругом раздались голоса: «Vivant! Crescant! Floreant!», после чего король снова заговорил:

– Наслаждайся счастьем, пока еще есть время, так как оно долго продолжаться не может. Ты можешь остаться на несколько дней, но потом должен поскорее догнать нас, потому что мы не будем ждать тебя.

– Скорее жена ваша выдержит без вас, чем Вена без нас! – смеясь, проговорил Марк Матчинский.

– А ведь пан Любомирский уже щелкает там турок, – заметил один из гусар.

– Я имею хорошие вести о наших войсках, – проговорил король, – которые приказал Матчинскому захватить с собой, чтобы прочесть их вам, на радость вашим солдатским сердцам, Вот что пишет мне о битве под Пресбургом князь Лотарингский, императорский генералиссимус.

И король начал читать вслух несколько медленно, так как он читал для шляхты по-польски, а письмо было написано по-французски.

«Имперская кавалерия боролась храбро и с воодушевлением, но верх одержали только поляки, которые не оставили немцам никакого дела. Не нахожу слов для похвалы силы, храбрости и выдержки пана Любомирского, офицеров и солдат, которыми он командует...»

– Вот что мне пишет князь Любомирский. Битва была большая, да и слава наших немалая!

– Отличимся и мы не хуже! – воскликнули солдаты.

– Верю и надеюсь, но необходимо спешить, так как следующие письма не предвещают ничего хорошего. Вена едва уже дышит, и весь христианский мир смотрит на нас: поспеем или не поспеем?

– Ну, здесь осталось немного войска, а главные силы, как я слышал уже, ожидают нас с гетманами в Тарновских горах, – проговорил ксендз Воиновский. – Конечно, Вена нуждается в наших руках, но не настолько, насколько требуется присутствие такого вождя, как ваше королевское величество. Король улыбнулся и сказал:

– Слово в слово пишет мне то же самое и князь Карл. Итак, господа, держите поводья в руках, ибо каждую минуту я могу приказать выступить в поход.

– Когда же, милостивейший король? – спросило несколько голосов. А король вдруг сделался серьезным:

– Завтра я отправляю те полки, которые еще остались у меня.

Потом, быстро взглянув на Тачевского, точно желая его испытать, прибавил:

– Но так как ее величество королева будет сопровождать нас до Тарновских гор, где произойдет смотр войскам, то, если ты не будешь просить нас о чем-нибудь совершенно ином, можешь остаться здесь, с условием, что ты скоро догонишь нас.

А Яцек обнял рукой жену, вместе с нею приблизился к королю и сказал:

– Ваше королевское величество! Если бы мне предложили за нее немецкое или даже французское государство, видит Бог, что я не отдал бы ее ни за какую корону, ни за какие сокровища в мире. Но, чтобы я ради личного счастья пренебрег своей службой, не пошел сражаться за веру и отступил от своего вождя, этого не дай Бог, ибо в таком случае я презирал бы самого себя, и она, насколько я ее знаю, также презирала бы меня. Если бы, всемилостивейший король наш, со мной случилось какое-нибудь приключение или несчастье, которое преградило бы мне путь, я сгорел бы со стыда и горя...

Тут глаза его затуманились, на щеках выступил румянец, и молодой человек продолжал дрожащим от волнения голосом:

– Я скошунствовал сегодня перед алтарем, говоря Богу: «Я отблагодарю Тебя!» Но чем? Разве жизнью своей и кровью можно отблагодарить за такое счастье, которое досталось мне?.. Но именно поэтому я не буду просить ни о каком другом назначении, и, когда вы, всемилостивейший король мой и вождь, отправитесь в поход, я не останусь здесь ни на один день и пойду за вами, хотя бы мне завтра пришлось умереть.

И Яцек упал к ногам короля, а тот наклонился и, обняв его голову, произнес:

– Побольше бы мне таких воинов, и имя польское загремело бы по всему миру!

Глаза ксендза Войновского наполнились слезами, Букоемские плакали навзрыд; воодушевление овладело всеми присутствующими.

– На врагов! За веру! – загремели многочисленные голоса.

И комната огласилась бряцанием сабель.

Когда кругом несколько стихло, пани Тачевская наклонилась к уху мужа и прошептала побелевшими губами:

– Не удивляйся моим слезам, Яцек. Когда ты уйдешь, может быть, я уже никогда не увижу тебя больше, но все-таки – иди.

XXIX

Однако новобрачные остались еще на два дня вместе. Правда, королевский двор

отправился на другой же день, но так как королева со всей свитой, фрейлинами и множеством сановников духовных и светских сопровождали короля до обоза, до Тарновских гор, где предполагался большой смотр войскам, то громадный кортеж по необходимости должен был двигаться очень медленно и его легко было догнать. Дальнейший поход одного войска во главе с королем от границы до самой Вены, должен был удивить весь свет своей быстротой, тем более, что король шел впереди главной армии, но до Тарновских гор королева с своей свитой ехала целых шестеро суток.

Молодые Тачевские догнали кортеж на следующий же день, после чего Ануля пересела в королевскую карету, а Яцек отправился на ночь в обоз, чтобы присоединиться там к своему полку. Момент разлуки приближался. Двадцать второго августа король попрощался со своей возлюбленной «Марысей» и ранним утром сел на коня, чтобы перед ее глазами осмотреть войска и затем тронуться во главе их в Гливицы.

Все знали, что король всегда очень неохотно расставался с нею, так как любил ее больше всего на свете и страдал даже при коротких разлуках, но на этот раз лицо его сияло от восторга. В виду этого, светские и духовные сановники, знавшие, как страшна война с этим врагом, который к тому же никогда еще не выступал с такой силой, сразу приободрились.

– Правда, – говорили они себе, – турки подняли на ноги три части света, но если король наш, самый ярый их враг и истребитель, с такой радостью идет на эту войну, то и нам не о чем беспокоиться.

И надежда преисполнила их сердца, а вид войск еще больше увеличивал ее и превращал в глубокую уверенность в победе.

Войска, вместе с обозом, переполненным челядью, казались очень значительными. Насколько можно было окинуть взглядом, всюду сверкали отблески солнечных лучей на шлемах, на панцирях и саблях, на дулах мушкетов и пушек. Этот блеск был так силен, что глаза жмурились от его ослепительного света. Над войском в голубом воздухе точно радуга, переливались многочисленные знамена и флаги. Грохот барабанов в пешеходных полках смешивался с звуками труб, литавров и рожков, с адским шумом анчарских музыкантов и ржанием лошадей.

В начале смотра весь обоз прошел стороной, чтобы не мешать движению войск, и тогда только начался настоящий смотр. Королевские экипажи стояли на небольшом возвышении, немного вправо от дороги, по которой должны были проходить войска. В первом экипаже сидела королева, разодетая в бархат, кружева и перья, сверкающая драгоценностями, прекрасная и величественная, с царственным лицом женщины, которая обладает всем, чего она могла только пожелать в самых смелых мечтах, то есть короной и безграничной любовью славнейшего из современных монархов. Она тоже, как и окружавшие ее сановники, была уверена, что как только король – ее супруг – сядет на коня, вслед за ним пойдут, как это было и раньше, победа и истребление врага. И чувствовала, что в этот момент глаза всего света, начиная от Царьграда и кончая Римом, Мадридом и Парижем, обращены на него, что все христианство протягивает к нему руки и только в нем и его железных войсках видит спасение. И сердце ее преисполнялось женской гордостью.

«Наше могущество возрастет, а слава вознесет нас над всеми другими королями», – говорила она себе в душе, – и потому, хотя супруг ее вел, может быть, всего только двадцать тысяч воинов против неисчислимых полчищ турецких, грудь ее переполнялась радостью, и ни одно облачко беспокойства и опасения не омрачало ее

белого лба.

– Смотрите на победителя, смотрите на короля-отца, – говорила она детям, так переполнившим экипаж, как птенчики переполняют птичье гнездо. – Когда он вернется, то весь мир преклонится перед ним в благодарности.

В экипажах виднелись то красивые лица придворных дам, то епископские митры, то серьезные и суровые лица сановников, которые оставались дома, чтобы управлять страной в отсутствие короля. Сам король находился уже возле своего войска, но он был хорошо виден на холме, среди гетманов и генералов, между которыми он производил впечатление великана, сидящего на коне. Войска должны были проходить внизу, как бы у его ног.

Прежде всех промчалась с глухим грохотом и лязгом цепей артиллерия пана Мартина Концкого, за нею шли пехотные полки с мушкетами на плечах, предводительствуемые офицерами, вооруженными саблями, бандольерами и длинными шестами, которыми они приводили в порядок расстроенные ряды. Эти полки шли квадратами, похожими на движущиеся крепости, размеренными, ровными и гулкими шагами. Проходя мимо экипажа королевы, они приветствовали ее громкими кликами и склоняли знамя в знак чести. Некоторые из них были одеты лучше других и выглядели довольно красиво, но шикарнее всех оказался кашубский полк в голубых мундирах с желтыми сумками для патронов, состоящий из крупных, здоровых солдат, так прекрасно подобранных друг к другу, что они казались братьями, а тяжелые мушкеты шевелились в их руках, точно тростинки. При звуках труб они как один человек остановились перед королем и отдали ему честь оружием так ловко, что король улыбнулся от удовольствия, а сановники начали переговариваться между собой: «Э! Даже султанской гвардии не поздоровится встретиться с ними. Прямо львы, а не люди».

Но вслед за ними потянулись полки легкой кавалерии польской. Это были настоящие гиппоцентавры, – так сливались в них человек и конь в одно целое. Они состояли из сыновей тех наездников, которые в свое время разбили всю Германию, изрубили саблями и растоптали копытами целые полки, даже и всю армию последователей Лютера. Самая тяжелая неприятельская кавалерия не могла сравниться с ними по силе, самая легкая – ускакать от них. Именно о них после Хотина говорил сам король: «Только бы довести их, а они уже выкосят все, как косари траву». И хотя в этот момент они медленно проходили перед экипажами, каждый, даже совершенно не знакомый с военным искусством человек, тотчас угадывал, что только ураган мог бы быстрее мчаться, поворачиваться и обрушиваться, чем они. Трубы и барабаны гремели впереди их, а они шли, знамя за знаменем, с обнаженными саблями, в колеблющемся блеске солнечных лучей казавшимися огненными мечами.

Миновав экипажи придворных, они заколыхались вдруг, как волна, и сначала помчались рысью, а затем пустились в карьер и, сделав огромный круг, снова пронеслись, но на этот раз точно ураган, мимо королевы с пронзительными возгласами: «Бей! Режь!», с саблями, протянутыми вперед, точно для атаки, на ошалелых конях с раздувающимися ноздрями и развевающимися гривами. Так продефилировали они два раза, и только при третьем повороте остановились как вкопанные, не нарушая порядка в рядах, так ровно и стройно, что иностранцы, которых много было при дворе, начали изумленно переглядываться, точно не веря собственным глазам.

Потом все поле замелькало и точно расцвело, усеянное драгунами. Некоторые полки прошли под командой пана Яблоновского из-под Трембовли, другие были выставлены магнатами, а один составлен самим королем на его собственные средства, и

командовал им брат королевы, де Малин. В драгунах служили по большей части люди простые, но с детства привыкшие к лошадям, искушенные в боях и неустрашимые под огнем, хотя и менее страшные, чем шляхта, но необыкновенно дисциплинированные и выносливые.

Но самое большое наслаждение душе и глазам доставили гусарские полки. Они подвигались спокойно, как это и подобало таким благородным рыцарям. Поднятые вверх копья, точно лес возвышались над ними, а еще выше, колеблемое легким ветерком, трепетало радужное облако знамен. Лошади их были крупнее, чем в других полках, стальные брони украшены золотом, по плечам развевались крылья, перья которых даже при спокойном движении производили такой шум, какой можно услышать между ветвями густого леса. Веявшая от них серьезность и даже гордость производили такое сильное впечатление, что королева, придворные дамы, сановники и в особенности заграничные гости привстали со своих мест, чтобы лучше видеть. Что-то грозное чувствовалось в этом шествии, так как каждому невольно приходило в голову, что, ринувшись вперед, такая железная лавина все разнесет, разрушит перед собой, все сотрет с лица земли, и нет такой человеческой силы, которая могла бы противостоять ей.

Не так далеки те времена, когда три тысячи такой конницы истребили в пух и прах в пять раз большие шведские полчища; еще меньше прошло времени с тех пор, когда один такой полк, точно дух разрушения, прошел через всю армию Карла-Густава, и совсем уж недавно, под Хотином, те же самые гусары, под предводительством этого же самого короля так же легко уничтожили янычарскую гвардию, как хлебную ниву. Многие из тех, кто участвовал в Хотинском погроме, и до сих пор служили под прежними знаменами и шли теперь к стенам чужой столицы, спокойные, гордые, самоуверенные – на новую жатву.

Казалось, сила и гроза были душой этих полков. Вдруг сзади них подул южный ветер, зашелестел знаменами, отбросил вперед завитые конские гривы и поднял такой шум гусарскими крыльями, что даже запряженные в экипажи андалузские лошади присели на задние ноги. Полки приблизились шагов на двадцать к экипажам, потом повернули в сторону и продефилировали отдельными эскадронами мимо них.

В этот момент пани Тачевская в последний раз увидела своего мужа перед походом. Он ехал с краю, во втором ряду, весь закованный в сталь, с крыльями за спиной и в шлеме, наушники которого совершенно закрывали его щеки.

Рослый, золотисто-гнедой анатолийский конь нес его легко, несмотря на тяжесть доспехов, качая головой, звеня удилами и громко фыркая, точно предсказывая рыцарю благополучный исход.

Яцек повернул свою закованную в железо голову в сторону жены и пошевелил губами, точно шепча ей что-то; хотя ни одно слово не долетело до ее ушей, она поняла, что он посылает ей последнее «прости», и вдруг такой порыв любви и тоски овладел ее сердцем, что, если бы она могла, хотя бы ценой собственной жизни, превратиться сейчас в ласточку, сесть ему на плечо или сопутствовать ему, она не колебалась бы ни минуты.

– Будь здоров, Яцек! Храни тебя Господь!.. – воскликнула она, протягивая к нему руки.

Глаза ее оросились слезами, а он проехал мимо, сверкая на солнце, торжественный и точно освященный предстоящей ему службой.

* * *

Вслед за полком королевича Александра потянулись другие, столь же великолепные и столь же страшные; потом, вместе с другими полками, сделав огромный круг, они остановились на поле, почти на тех же самых местах, на которых стояли до смотра, но уже в походном порядке.

* * *

Из экипажей, стоявших на возвышении, взгляд мог окинуть почти все войско. Всюду виднелись блестящие доспехи, красные мундиры, сверкающие мечи, торчащие леса копий, облака знамен, а над ними огромные хоругви, напоминающие собой гигантские цветы. От стоящих поближе полков ветерок приносил запах конского пота и доносились возгласы командиров, глухие звуки литавров и свист пищалок. И во всех этих звуках и возгласах, в этой радости и боевой готовности было что-то победное. Полная уверенность в победе креста над полумесяцем овладела всеми сердцами.

* * *

Король задержался еще на одно мгновение у экипажа королевы и тотчас поскакал к войскам, епископ Краковский в это время благословлял его крестом. Еще через мгновение пронзительный визг труб потряс воздух, и массы людей и лошадей заколыхались и начали медленно вытягиваться, направляясь длинными вереницами к западу. Впереди виднелись знамена легкой кавалерии, за ними шли гусары, и, наконец, шествие замыкали драгуны.

* * *

Епископ Краковский обеими руками высоко поднял крест над головой:

– Бог Авраама, Исаака и Иакова, смилуйся над народом твоим! В этот момент из двадцати тысяч грудей вырвалась песня, специально сочиненная поэтом Кохановским для этого похода:

Для Тебя, Непорочная Дева,
Для Тебя, Мать Пречистая,
Идем мы защищать Христа
Нашего Господина,
Для тебя, дорогая отчизна,
Для тебя, Белый Орел наш,
Идем мы громить врага
На поле славы.

Примечания

1 По необходимости (лат).

2 Человек новый (лат).

3 Кромер.

4 Игра слов: съешь блин, не хочешь ли пощечину и т. д. – Примеч. перев.

5 Частным образом (лат.).

6 Публично (лат.).

- 7 Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое... (лат.).
- 8 Да придет Царствие Твое... (лат.).
- 9 Охотно уничтожает ближнего (лат.).
- 10 Да будет воля Твоя... и на земле... как на небе (лат.).
- 11 И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она – есть, и сердце ее силки, руки ее оковы (лат.).
- 12 Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею (лат.).
- 13 Моя вина (лат.).
- 14 Защитник веры (лат.).
- 15 Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел (лат.).
- 16 Животные (лат.).
- 17 В день святого Стефана народ осыпал зернами ксендза у алтаря, в память избиения камнями этого святого.
- 18 В противоположность (лат.).
- 19 Затраты (лат.).
- 20 Точно (лат.).
- 21 Мне лично (лат.).
- 22 Любовь всегда одерживает верх (лат.).
- 23 ...изменяет (лат.) (прим. верстальщика).
- 24 Веха служила признаком, что в этом месте продается вино.